

ДАНИЛО  
МОРДОВЕЦ

БАГАЙДАЧНЫЙ

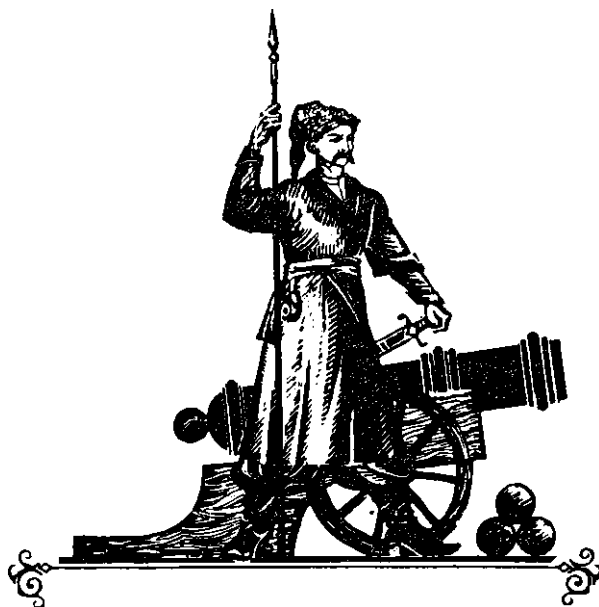
КРЫМСКАЯ  
НЕВОЛЯ



ДАНИЛО  
**МОРДОВЕЦ**

---

**БАГАЙДАЧНЫЙ**  
РОМАН  
**КРЫМСКАЯ  
НЕВОЛЯ**  
ИСТОРИЧЕСКАЯ  
ПОВЕСТЬ



КИЕВ  
Издательство художественной литературы  
«ДНІ ПРО»  
1987

ББК 84 Ук 1 — 44  
М 79

В книгу русского и украинского писателя, историка, этнографа, публициста Даниила Мордовца (Д. Л. Мордовцева, 1830 — 1905) вошли лучшие исторические произведения о прошлом Украины, написанные на русском языке, — «Сагайдачный» и «Крымская неволя».

В романе «Сагайдачный» показана деятельность украинского гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, описаны картины жизни запорожского казачества — их быт, обычаи, героизм и мужество в борьбе за свободу.

«Крымская неволя» повествует о трагической судьбе простого народа в те тяжелые времена, когда иноземные захватчики рвали на части украинские земли, брали в рабство украинское население.

Вступительная статья, подготовка текстов,  
примечания В. Г. Беляева

#### ДАНИЛО МОРДОВЕЦ (Д. Л. МОРДОВЦЕВ)

Огромное по объему наследие талантливого писателя, страстного публициста, историка народных движений, этнографа, общественного деятеля демократического — в основном — направления Д. Л. Мордовцева и на сегодня не получило еще непредвзято объективной, всесторонне обоснованной оценки, не нашло достойного отражения в исследовании русской и украинской литературы второй половины XIX столетия.

Литературный процесс есть результат постоянного многосложного взаимодействия разномасштабных творческих величин, где наряду с выдающимися художниками выступают активно и так называемые писатели второго плана. Вне учета реального вклада каждого наше представление о движущих силах этого процесса, его подлинном многообразии неизбежно будет обедненным и неполным. Одним из таких, ныне полузабытых, но заслуживающих серьезного внимания к себе авторов является Данило Мордовец (Д. Л. Мордовцев).

Будущий писатель родился 7 (19) декабря 1830 года в слободе Даниловке, Усть-Медведицкого округа, области войска Донского. Отец его, Лука Андреевич, происходил из старинного украинского казачьего рода, да и слобода вся была заселена переселенцами с Украины, бежавшими сюда от притеснений и кабалы. Отсюда берет начало сохранившаяся на всю жизнь любовь к родной украинской речи (до девяти лет, по его воспоминаниям, не слышал он русского языка), к героическим традициям запорожцев, увлечение народнопоэтическим творчеством — песнями, сказками, думами, поверьями. Первые уроки грамоты маленький Данилка получил от сельского дьячка, пяти лет обучившего его церковной грамоте. Круг чтения его включает книги старинной библиотеки отца — «Прологи», «Четьи-Миней», а вместе с тем «Ключ разумения» И. Галятовского, «Путешествие к святым местам» В. Барского; «Потерянный рай» Д. Мильтона в русском переводе выучил он наизусть, и с тех пор русский язык «перестал быть чужим» для него.

После окончания четырехклассного окружного училища в Усть-Медведицкой станице Даниил Мордовцев был определен в 1844 г. в Саратовскую губернскую гимназию. Здесь он познакомился и подружился на всю жизнь с А. Пыпиным, двоюродным братом Н. Чернышевского, впоследствии — академиком, знаменитым ученым-славистом, с П. Ровинским, учеником и последователем Н. Чернышевского, одним из активных деятелей «Земли и воли», писателем, этнографом. К этому периоду относятся его первые литературные опыты — переводы и стихи на русском, украинском и латинском языках. В 1850 г., закончив с отличием гимназию,

Д. Мордовцев поступает,— страстно увлеченный в эти годы астрономией,— на физико-математический факультет Казанского университета. Тогда же, по настоянию А. Пыпина, поступившего годом раньше в Петербургский университет, Д. Мордовцев для профессора И. Срезневского переводит стихами с чешского на украинский язык известную «Краледворскую рукопись». Уже через год, по совету того же А. Пыпина, Д. Мордовцев перешел на историко-филологический факультет Петербургского университета и закончил его в 1854 г. с золотой медалью за сочинение «О языке «Русской правды».

Д. Мордовцев после окончания университета возвращается в Саратов, здесь он женился на А. Пасхаловой, урожденной Залетаевой, активной собирательнице народных песен, издавшей совместно с Н. Костомаровым два сборника былин и песен, поэтессе, широко образованной женщине.

Здесь же Д. Мордовцев близко познакомился и подружился с Н. Костомаровым, известным историком, поэтом, писателем, отбывавшем здесь десятилетнюю ссылку по делу Кирилло-Мефодиевского общества. Знакомство их, укрепившееся в период совместной работы в губернском статистическом комитете, переросло в многолетнюю дружбу, что имело, в этот период особенно, немаловажное значение для определения научных интересов, общественной ориентации, характера литературной деятельности Д. Мордовцева.

Вместе подготовили они сборник литературно-этнографического характера, куда вошли поэма Д. Мордовцева «Козаки і море» (с подзаголовком — «Стихотворные отрывки из истории морских походов запорожского козачества в начале XVII века»), четыре украинские сказки, записанные в родной Даниловке, его перевод на украинский язык «Вечера накануне Ивана Купала» и предисловия Гоголя к «Вечерам на хуторе близ Диканьки», а также четыре украинских стихотворения Н. Костомарова и 202 песни, записанные им на Волыни. Чтобы провести рукопись через цензурные рогатки в условиях николаевской реакции, Д. Мордовцев осенью 1854 г. специально едет в Петербург, однако разрешение на издание сборника было получено лишь через пять лет (1859), когда «Малорусский литературный сборник» и увидел свет.

Одной из главных причин запрета было то обстоятельство, что, по словам цензора, «изобразив козачество и Украину прежнего времени как страну независимую и самостоятельную, автор является везде малороссийским местным патриотом»<sup>1</sup>. В программной вступительной статье к поэме Д. Мордовцев горячо выступает в защиту украинского языка, его права на самостоятельное развитие, указывает на необходимость научного изучения его «в системе других языков славянских», говорит об успешном развитии новой украинской литературы. И в то же время здесь уже проявляется характерная для Д. Мордовцева непоследовательность, стремле-

<sup>1</sup> Литературний архів.— 1931.— Кн. I—II.— С. 131.

ние сгладить противоречия, «примирить» противоположные точки зрения о будущем украинского языка, который якобы «еще не подготовлен к литературе... остается покуда прстонародным» (эти мотивы прозвучат у Д. Мордовцева, к сожалению, и позднее).

Поэма разрабатывает типичный для украинских романтиков 30—40-х годов сюжет, детально, нередко многословно излагая историю морского похода запорожцев на турок, непосредственно вводя в текст думы, исторические и бытовые песни, последовательно стилизуя формы украинского фольклора. Можно отметить и явное наследование, почти текстуальную зависимость ряда картин, образов, отдельных деталей от «Івана Підкови», «Гамали», «Гайдамаків». Однако это наследование не шло далее использования отдельных тематических и формальных признаков, что, несомненно, снижает ценность первого большого произведения писателя.

В условиях общественного подъема накануне отмены крепостного права передовая украинская литература переживает период активного утверждения на позициях реализма и народности<sup>1</sup>; высшим достижением прогрессивного революционно-демократического направления было творчество Т. Г. Шевченко и Марко Вовчок. Демократические, реалистические тенденции характерны и для творчества тех украинских прозаиков, которые стремились отразить картины жизни и борьбы трудового народа в условиях крепостничества. К этому направлению следует отнести и украинские рассказы Д. Мордовцева конца 50-х годов.

Наиболее ранний из них датирован 1855 годом (опубликован же лишь в 1885 г. во львовском журнале «Зоря»). Рассказ этот — «Нищие» («Старць»), бесхитростная, поражающая своей искренностью, такая обычная для крепостного села история о безрадостном детстве, голоде, социальной несправедливости, беспросветной нужде. Характеризуя стилистические особенности прозы Д. Мордовцева, И. Франко подчеркивал, что «тут автор не изображает той жизни во всей ее полноте, не дает нам реалистических студий о всех злых и добрых сторонах его, лишь слегка освещает некоторые моменты, которые наиболее соответствуют его индивидуальному вкусу и характеру его таланта»<sup>2</sup>.

С нескрываемой симпатией к своему герою излагает он эту трагическую по своему содержанию историю. Правда о социальном бесправии народа, тяжком горе и нищете, элементы социального разоблачения несправедливости существующего общественного строя проступают в рассказе как бы вне видимой тенденции — в ряде характерных деталей, отдельных замечаний героя, психологически емких ремарок: «Из всей скотины остал-

<sup>1</sup> См.: Бернштейн М. Д. Українська літературна критика 50—70-х років ХІХ ст.— К., 1959.

<sup>2</sup> Франко І. Я. Д. Л. Мордовець. Оповідання.//Ватра, Стрий, 1887.—С. 150.

ся у нас старый пес Брорко,— пожалел пан, не взял его за подушное»; «...каждый по бедности своей (а все больше панские люди были) и вынесет кусок хлеба или ишена горстку».

В рассказе ощутима тенденция преодоления сентиментально-идиллической традиции изображения народной жизни. Но автор все же ударение делает не на осознанном протесте против «неправды и неволи», а на первый план выдвигает мотивы христианского всепрощения, примирения с жизнью. И все же, несмотря на эти слабости, И. Франко с полным правом назвал «Нищих» «наиболее оригинальным и глубже всех задуманным рассказом» Д. Мордовцева.

Столь же непритязательно простым является содержание другого рассказа «Звонарь» (опубликованного в «Основе» 1861 г.). Старый сельский звонарь с грустью вспоминает о своей безрадостной жизни: сиротском детстве, «науке» отставного солдата Позихайлика, шившего на уроках сапоги, бурсацкого «обучения» — «красной лозою да гибкой вербою»...

Д. Мордовцев обращается здесь к остро звучавшим тогда вопросам воспитания, школы, образования. «Звонарь» занимает место среди произведений, обличавших уродливые явления старой системы воспитания с ее схоластикой, бессмысленной зубрежкой, жестокостью, унижением человеческого достоинства. Этим вопросам много внимания уделяла передовая литература той эпохи — вспомним пламенные выступления Чернышевского, Добролюбова, Писарева, публикации в «Основе» Номиса, Линейкина. Несколько позже появятся «Очерки бурсы» Н. Помяловского, «Любодраки» А. Свидницкого. Рассказ Д. Мордовцева, несомненно, близок этим произведениям общностью проблематики, демократическим подходом, протестом против бездушия казенно-казарменной системы воспитания.

Демократическая тенденция характерна и для изображения жизни народной в рассказе «Солдатка» (1859, опубликован также в «Основе» 1861 г.); Трагическая история молодого крестьянина Семена Товкаченко, которого забрили в солдаты, его жены Катри, что «так до смерти и осталась солдаткою», объективно звучит как утверждение права простого человека на жизнь, на счастье. Этим героям контрастно противопоставляются образы жестокого, развращенного офицера, «мерзкого человечка с медными пуговицами», из тех, «что по судам ишут да людей до смерти записывают».

Д. Мордовцев находится здесь в кругу проблем и образов шевченковской поэзии. Отсюда — стремление отразить черты социальной действительности, подчеркнуть социальное неравенство героев, утвердить духовное превосходство Семена и Катри над панами и подпайками. Любовная коллизия в рассказе, как и в произведениях Шевченко, является одним из средств раскрытия социального конфликта. «Солдатка» Катря три года, до самой смерти Семена, не вынесшего «муштры», проводит с ним, терпеливо снося лишения, нищету, унижение своего человеческого достоинства.

Шевченко неоднократно обращался («Катерина», «Сова», «Відьма»,

«Слепая», «Наймичка», «Капитанша») к показу трагической судьбы, мук и страданий, безграничного горя жены и матери солдатской, обличая несправедливость, антигуманность всего рабского строя, призывая к свержению крепостничества. Д. Мордовцев не смог в прозе подняться до такой идейной высоты, он останавливается на полпути, ограничиваясь горьким сочувствием своим героям, осуждением жизненных условий, калечащих человеческие судьбы.

Рассказы Д. Мордовцева, рисуя горькие картины крепостнической действительности, продолжали и развивали демократические, реалистические традиции. В центре внимания автора находится жизнь и быт простого труженика, судьба закабаленного крестьянина, его заботы, боли. Отстаивая право простого труженика на человеческое счастье, на свободную жизнь, писатель самой логикой художественных образов подводил читателей к выводу, что главной причиной тяжкого положения народа является крепостное право.

Своей идейной направленностью, освещением отдельных сторон народной жизни украинские рассказы Д. Мордовцева близки к тому направлению в прозе, которое характеризуется творчеством Марко Вовчок. Речь идет не о прямом наследовании, а — как теперь мы говорим — о типологической общности становления реалистического метода в передовой украинской литературе, общности, которая определяет близость содержательно-идейных моментов, общность тематики, родственность ряда моментов художественной выразительности. Проза двух художников отличается простотой, искренностью тона, лиризмом, мелодичностью речи, задушевностью повествования. Монологическая манера повествования от лица героя — представителя народной массы — способствует обоснованию народной оценки изображаемого, непосредственного раскрытия крепостнической действительности, способствует тем самым дальнейшей демократизации литературы, укреплению реализма, усиливает эмоциональное звучание произведения.

Однако в условиях усиления реакции Д. Мордовцев отходит на долгое время от непосредственной деятельности в сфере украинской прозы. На первый план выступает деятельность Д. Мордовцева — активнейшего, пользовавшегося широкой известностью журналиста, деятельного, стоявшего на демократической платформе редактора. Кроме работы в губернской канцелярии, которая, в частности, давала ему возможность знакомиться с ценнейшими архивными материалами, что благотворно сказалось на его исторических изысканиях, экономических, статистических, географических трудах, с 1856 года Д. Мордовцев становится редактором «Саратовских губернских ведомостей», выступает как публицист, фельетонист, критик, обозреватель.

На характере его выступлений в газете ощутимо сказалась общая атмосфера общественного подъема в стране, близость к лагерю Н. Г. Чернышевского и Т. Г. Шевченко. В своих воспоминаниях «Из минувшего и



пережитого» (1902) Д. Мордовцев так говорит об этом периоде и своей идейной позиции: «Пятидесятые годы... точнее — конец пятидесятых годов — это было время всяческих «обличений». Герцен громко звонил в свой речистый «Колокол» в Лондоне... Щедрин-Салтыков «обличал» всех... Батько Тарас и бичом, и кнутовищем казнил всяческую «неправду», что «весь сеит була зажерла»... А уж как говорится: куда иголка, туда и нитка. Я и был тогда такой же ниткой: куда Герцен и батько Тарас, туда и я».

Следует иметь в виду, что в то время газета была единственным печатным органом в губерниях, становясь естественно центром культурной жизни, барометром общественного настроения, а нередко — легальным каналом для проведения идей революционной демократии. Несмотря на цензурные ограничения и запреты, в газетах все же печатались материалы о тяжком положении крестьян, рабочих, угнетении народов национальных окраин. «Иногда редакторы ведомостей,— подчеркивает современный исследователь,— отличались особенным умением обходить цензурные ограничения. Наиболее это характерно для Д. Л. Мордовцева... Детальное знакомство с материалами «Саратовских губернских ведомостей» убеждает, что Мордовцев умел обходить цензурные препоны, нередко выходя при этом за рамки официальной программы»<sup>1</sup>.

По своей направленности газетная и журнально-публицистическая деятельность Д. Мордовцева 50—70-х годов примыкала к демократическому крылу. Он внимательно прислушивался к Н. Чернышевскому, Н. Добролюбову, был объективно близок к людям этого круга, хотя, очевидно, и не сумел встать в один ряд с теми, кто готовил крестьянскую революцию<sup>2</sup>. Заметки, газетные очерки Д. Мордовцева привлекали внимание, в частности, «Современника» как своим фактическим материалом, общей тональностью, так и живой манерой изложения; в журнале неоднократно приводились выдержки из статей газеты, пересказывались материалы, некоторые даже перепечатывались, Г. Благосветлов, став в 1860 г. редактором «Русского слова», настойчиво предлагал Д. Мордовцеву стать штатным сотрудником журнала, где работали тогда Д. Писарев, Н. Шелгунов, А. Шапов. Несколько позднее с предложением сотрудничества в «Отечественных записках» выступал Н. Некрасов<sup>3</sup>.

Получивший широкую известность, Д. Мордовцев выступает активно в столичных газетах и журналах («Отечественные записки», «Русское слово», «Дело», «Неделя», «Голос»). Он вырабатывает здесь свой особый стиль, который сказался затем и на его прозаических произведениях. Фельетоны, полемические выступления его полны актуальных политиче-

<sup>1</sup> Б у р м и с т р о в а Л. П. Провинциальная газета в эпоху русских просветителей (Губернские ведомости Поволжья и Урала 1840—1850 гг.) — Казань, 1985. — С. 130—131.

<sup>2</sup> Т а м ж е. — С. 25—29.

<sup>3</sup> См.: Е м е л ь я н о в Н. «Отечественные записки» Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина (1868—1884). — Л., 1986.

ских и литературных намеков, ассоциаций, сопоставлений, нередко — с открытыми полемическими выпадами. Он широко использует простонародную лексику, выражения, почерпнутые из старинных памятников, украинские фразеологизмы; в этом сказывалась последовательная установка на демократического читателя, стремление к популяризации знаний в среде читателей из народной массы. В то же время ощущаются нередко стилевые чрезмерности — многословие, склонность к балагурству, невнимание к точности и «обработке» деталей.

Наибольший интерес вызывали исторические его исследования, написанные на основе широкого привлечения архивных материалов, посвященные прежде всего истории народных движений, различным, исторически обусловленным формам антикрепостнических выступлений народных масс — «понизовая вольница», бунтарство, «бродяжничество», деятельность самозванцев, раскольников, движение Пугачева, Коливицина и др. Д. Мордовцев с демократических позиций одним из первых в нашей науке важные этапы истории России рассматривал не как деяния царей, полководцев и законодателей, а как «народное движение», уделяя «всегда предпочтительное внимание голытьбе, забытой историей». Это было принципиальным убеждением историка, который с полным основанием утверждал: «Задача русского народа в будущем, его роль в истории человечества и его взаимодействие на другие народности мира уразумеются только тогда, когда русский народ будет иметь свою историю, то есть обстоятельную, беспристрастно и умно-художественно нарисованную картину того, как пахал землю, вносил подать, отбывал рекрутчину, благоденствовал<sup>1</sup> и страдал русский народ, как он коснел или развивался, как подчас он бунтовал и разбойничал целыми массами, «воровал» и «бегал» тоже массами в то время, когда для счастья его работали генералы, полководцы и законодатели».

Такая сознательная ориентация на изучение роли народных масс, демократический, так сказать, угол зрения на историческое прошлое страны получил достойную оценку передовой русской общественности. Так, на страницах «Колокола» (1868) Д. Мордовцев, наряду с Н. Костомаровым и А. Щаповым, назван в числе первых исследователей «истории народных элементов», авторов «замечательных монографий, касающихся наиболее интересных сторон и моментов нашей национальной жизни, доселе совершенно неизвестных»<sup>2</sup>.

В 1866 году было опубликовано исследование Д. Мордовцева о Пугачеве. Он подчеркивал, что «сила самозванца опиралась на вековом гнете народа, который рвался сбросить с себя все давящее и опутывающее

<sup>1</sup> Чрезвычайно показательным является использование в таком контексте сатирической образной формулировки из «Кавказа» Т. Г. Шевченко («На Всіх языках все мовчить, бо благоденствує!..»).

<sup>2</sup> «Колокол». Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева: Переводы. Комментарии. Указатели. — М., 1978. — С. 63.

его» (Политические движения русского народа. СПб. 1871, т. I, с. 301). Ученый считал восстание под руководством Пугачева неизбежным, закономерным порождением крепостнического гнета, который всегда мог «вызвать если не пугачевщину, то что-нибудь подобное этому, или даже худшее, страшнейшее, именно «крестьянщину», поголовное восстание народных масс» (там же, с. 401).

Разоблачая крепостников и крепостничество, «ненормальное состояние всего тогдашнего строя», исследователь ничтожеству «генералов и графов» противопоставляет фигуры Пугачева и его сподвижников, создает выразительный, исторически правдивый образ руководителя народной войны, в котором «было много обаяния, много притягательной силы... Он был и полководцем и тактиком. Он умел с помощью ума и такта руководить огромными массами беспокойного и полудикого народа. ...Он умел быть и вовремя строгим, и вовремя милостивым, и по натуре своей не был таким изувером, каким его изображали» (там же, с. 241—242).

Исторические монографии и циклы были собраны исследователем в нескольких книгах — «Самозванцы и понизовая вольница» (СПб., М., 1867, т. 1—2), «Гайдамаччина» (1870), «Политические движения русского народа» (1871, т. 1—2), «Исторические прописки» (1889, т. 1—2). Представляется в высшей степени знаменательным, что, изучая в конце 70-х — начале 80-х годов проблемы социально-экономического развития России, ее истории, культуры, революционного движения, Карл Маркс внимательно изучает работы русских и украинских историков (Н. Чернышевского, А. Герцена, В. Берви-Флеровского, М. Драгоманова, С. Степняка-Кравчинского, Н. Костомарова, С. Подолинского)<sup>1</sup>. Одним из источников, по которым К. Маркс ознакомился с историей освободительного движения в России, были сочинения Д. Мордовцева. В русской библиотеке<sup>2</sup> К. Маркса были, в частности, книги «Самозванцы и понизовая вольница» и «Политические движения русского народа». Об использовании этих публикаций сохранились материалы переписки Ф. Энгельса, занимавшегося разбором книг этой библиотеки после смерти К. Маркса, с Густавом Броше, который прожил ряд лет в России, состоял затем в дружеских отношениях с представителями русской эмиграции в Лондоне, поддерживал контакты с Марксом и Энгельсом. В январе 1884 г. он писал Ф. Энгельсу: «Дорогой гражданин! Название работы, которую Вы так любезно обещали мне поискать: Мордовцев «Самозванцы». Она представляет собой несколько монографий, одна из которых о Пугачеве...» В письме через месяц Г. Броше выражает благодарность за присылку

<sup>1</sup> Колюшая Р. П. Карл Маркс и революционная Россия. — М., 1985.

<sup>2</sup> Ф. Энгельс в письме П. Лаврову 28 января 1884 г. подчеркивал, что эта библиотека «содержит очень важные материалы о современном социальном положении в России», что это собрание книг должно послужить «ядром для создания библиотеки русской революционной эмиграции» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. — Т. 36. — С. 83).

книги Мордовцева: «...Я примусь за него в начале моих каникул. Что касается Костомарова, то этот том намного меньше, чем том Мордовцева. Я его возвратил К. Марксу одновременно с Мордовцевым»

Демократически-просветительскую точку зрения на созидательную роль народных масс проводит Д. Мордовцев, полемизируя с катковским «Русским вестником»: «Надо оставить в покое героев, а заняться простыми смертными и показать, почему эти смертные голодали или страдали, почему медленно продвигалось их развитие и почему они иногда, как, например, в пугачевщину, причиняли большие беспокойства генералам и графам, и без сомнения будут причинять таковые, пока история будет заниматься не их судьбами, а судьбою генералов и графов» («Отечественные записки», 1869, 11, ч. 2, с. 92). Особое внимание исследователя привлекают массовые народные движения, разнообразные формы народного протеста — от «бродажничества» и «разбоя» до массовых крестьянских восстаний.

В большой монографии «Гайдамаччина» (1870) Д. Мордовцев настойчиво подчеркивает обусловленность «народной смуты» конкретными условиями, «экономическими и общественными неправдами», видит в народной войне под руководством Пугачева и восстании 1768 года на Правобережной Украине «аналогические движения»: «Движение народа в Поволжье и в Поднепровье вызывались одними и теми же... условиями жизни». «И там, и здесь народ, поставленный в тяжкие условия зависимости, заявил о своих страданиях кровавым протестом против тех, от кого он зависел и кого считал виновником своих страданий». Вопреки стремлениям представителей консервативно-охранительного лагеря «объяснить» характер восстания «зверской кровожадностью... черни», в отличие от тех украинских историков, которые не желали видеть социального расслоения и остроты классовых противоречий в жизни Украины XVIII ст., Д. Мордовцев утверждает, что народное восстание было закономерным ответом трудящихся масс на закабаление и рост крепостнического гнета, когда «самое свободное государство почти незаметно преобразовывалось в крепостническое», когда народ испытывал двойной гнет, «не все давил лях, но и свой собственный брат, возвысившийся и разжившийся на счет другого, меньшего брата».

Следует, однако, сказать и о том, что в работе отрицательно сказалась ограниченность источниковедческой базы, некритическое использование ряда источников, сугубо неверным было утверждение о якобы «большей гуманности» польских помещиков по сравнению с единоверными «панами-братьями». В этом отношении концептуально цельным, исполненным антикрепостнического звучания является большое исследование «Накануне воли». Д. Мордовцев подчеркивал документальную точность книги,

<sup>1</sup> Русские книги в библиотеках К. Маркса и Ф. Энгельса. — М., 1979. — С. 116, 95, XIV.

усиливающую ее общественное звучание, обличительную силу: «Я собрал богатейшие материалы, особенно по злоупотреблениям помещичьей властью, и составил обширное исследование, все построенное на подлинных бумагах архивов...» (из письма С. Н. Шубинскому, редактору журнала «Древняя и Новая Россия», 1876).

Начало публикации очерков в журнале «Дело» (1872) было цензурой «прекращено», автор, признанный «неблагонамеренным», был отправлен в отставку. Через много лет, дополнив, доработав книгу, Д. Мордовцев издает «Накануне воли. Архивные силуэты» (в конце 1889 г.). Однако и сейчас звучание приведенных там материалов о крепостническом произволе, бесчеловечных истязаниях («засечение крестьян помещиками является не единичными и не исключительными примерами разнузданного самовластья, а представляется явлением рядовым, обыкновенным») было столь же сильным. «До малейших подробностей, прибегая к самым мрачным краскам, изображает он случаи притеснений, которым подвергались крестьяне, с явной целью вызвать враждебное чувство к дворянскому сословию», — так было сформулировано обвинение министра внутренних дел в представлении Комитету министров. Особым постановлением от 5 июня 1890 г. книга была запрещена, тираж ее в количестве 1244 экземпляра сожжен.

А. Н. Пыпин с полным основанием писал в своих воспоминаниях («Мои заметки», 1905) о том, что «Накануне воли» Д. Мордовцева — «это был исторический материал величайшего интереса, материал в своем роде единственный... Сборник чисто документальный, иногда даже сухой, но по существу дела это одна из самых страшных книг, какие являлись в нашей литературе»<sup>2</sup>. Лучшие социологические и исторические работы Д. Мордовцева 60—70-х годов пользовались большой популярностью, шли в русле прогрессивной, передовой общероссийской публицистики и науки. Революционные народники 70-х годов в своем пропагандистском «книжном деле» популяризировали и распространяли, наряду с трудами Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Щапова, Берви-Флеровского, и работы Мордовцева, которые входили в круг обязательного чтения большинства кружков народолюбцев<sup>3</sup>.

Для творчества Мордовцева характерно стремление отразить дух времени, коснуться наиболее актуальных проблем эпохи. Шестидесятые годы выдвинули на первый план проблему революционного преобразования общества. Передовые русские писатели обращаются в этих условиях

<sup>1</sup> Добровольский Л. М. Запрещенная книга в России. 1825—1904. Архивно-библиографические разыскания.— М., 1962.— С. 177.

<sup>2</sup> Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников.— М., 1982.— С. 108.

<sup>3</sup> См.: Попов Р. М. Записки землевольца.— М., 1933; Лойко Л. П. От «Земли и воли» к ВКП(б). Воспоминания.— М.— Л., 1929, и др.

к образу положительного героя, «нового человека», порожденного развитием страны, началом нового подъема освободительного движения. Этот герой выступает как защитник и выразитель интересов угнетенных, борец за лучшее будущее. Высшим достижением революционно-демократического направления в русском реализме XIX века стал роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?».

В период усиления реакции, временного спада общественно-политического движения после 1859 — 1861 годов демократическая литература ведет решительную борьбу против попыток сил реакции обесценить притягательную силу революционных идеалов. Литература характеризуется напряженными идейными и художественными поисками, стремлением наглядно воплотить черты жизненной практики и социальной психологии «новых людей» из разночинной среды в новых условиях (романы В. Слепцова, И. Омулевского, Н. Благовещенского, Н. Бажина, И. Кушевского, Д. Гирса, Марко Вовчок). Эти поиски по-своему отразились в произведении Д. Мордовцева «Новые русские люди (Повесть из жизни шестидесятых годов)», опубликованном в журнале «Всемирный труд» (1867). Попытка оказалась неудачной, М. Салтыков-Щедрин в своей рецензии («Отечественные записки», 1870, № 7) отмечал, что автору «тип нового человека был еще неясен», его герои подменили живое дело рассуждениями о борьбе и труде, «неустанно предаются самооплевыванию и самоизнурению». М. Салтыков-Щедрин оговорился специально, что автор «виноват без предумышления», писателя, «относящегося так симпатично к предмету своего исследования, невозможно заподозрить в злоумышлении против него». Об этом нужно напомнить, ибо критика недостатков замысла и художественного решения «Новых русских людей» без необходимой аргументации беспредельно распространяется и на роман «Знаменья времени», и все творчество писателя<sup>1</sup>.

Роман «Знаменья времени» («Всемирный труд», 1869) отразил настроения и поиски определенной части демократической интеллигенции в условиях спада общественной волны, показал условия и формы зарождения народнического движения. В романе — в системе притяжений и отталкиваний — постоянно ощутимо влияние Чернышевского<sup>2</sup>. Уже само на-

<sup>1</sup> Об этом верно говорит автор единственной на сегодня книги о писателях-ученом — В. С. Момот (Даниил Лукич Мордовцев. Очерк жизни и творчества. — Ростов, 1978).

<sup>2</sup> Следует исправить допущенную Ф. Я. Приймой (а за ним В. Момотом) неточность в датировке личного знакомства Мордовцева и Чернышевского («Д. Л. Мордовцев познакомился с Чернышевским не в Саратове, а в Петербурге; приблизительно в 1853—1855 гг...» — пишет Ф. Прийма: Шевченко в отзывах Д. Л. Мордовцева, в кн.: Страницы истории русской литературы. — М., 1971. — С. 339). Но ведь сам Чернышевский просит А. Пыпина в письме от 25 октября 1846 г. «передать поклон» нескольким гимназистам, а среди них — Мордовцеву; сам же писатель отмечал: «...Кстати замечу, что Чернышевского, который тоже был кан-

звание романа, можно считать, навечно романом Чернышевского. Говоря о «гордых и скромных, суровых и добрых» новых людях, Чернышевский в романе «Что делать?» писал: «Недавно родился этот тип и быстро расплодится. Он рожден временем, он знамение времени...» Воздействие романа Чернышевского прослеживается и в общем замысле показать «героев времени», и в обусловленной им структуре произведения, конкретной проблематике, и в отдельных деталях. Много общего (не без полемики) можно увидеть и в раскрытии взаимоотношений главных героев двух романов. Герои Мордовцева ощущают свою связь с персонажами романа «Что делать?». Некоторые — учились «жить и мыслить» по «Что делать?». Многие по разным поводам вспоминают и комментируют роман и его героев, пребывая, впрочем, в наивной уверенности, что сами они пошли далеко вперед... Впрочем, тут делается многозначительная оговорка: «...Мы дожили до иных понятий. Может быть, Чернышевский тоже дожил до них теперь; может быть, он ушел еще дальше нас — мы не знаем... Он об этом молчит и, может быть, будет несчастнее даже Бонивара, шильонского узника, и не оставит своих записок...»

Не принимая идеи революционного преобразования действительно-сти, герои Мордовцева отказываются от рахметовского пути, снижают, обедняют революционную суть наследия Чернышевского. Мордовцев непосредственно отразил идейный перелом в сознании части радикальной интеллигенции, которая в условиях отсутствия революционной ситуации видит свою цель не в подготовке немедленного переворота, а в отказе от «политики», в воспитании «новых людей» из гуши народной, мирном слиянии с нею: «Мы идем в народ не с прокламациями, как делали наши юные и неопытные предшественники в шестидесятых годах... Мы идем не бунты затевать, не волновать народ и не учить его, а учиться у него терпению, молотбе и косьбе... Мы не верим ни в благотворность французских и испанских революций, ни в благодетельность удобрения земли человеческой кровью... Мы просто идем слиться с народом; мы бросаем себя в землю, как бросают зерно, чтоб зерно это взшло и уродило от сам-пят до сам-сто...»

Придя на смену революционерам-шестидесятиникам, народники на определенном этапе отказываются от прежних форм политической борьбы, видя свою цель в мирной социалистической пропаганде, организации школ, артелей, укреплении крестьянской общины, которая представлялась им антагонистом капиталистического и сердцевинной будущего социалистического строя. Но глубокую революционность духа лучшей части народников, присущую для семидесятников, писатель увидеть и показать не сумел.

дидатом Петербургского университета, я уже не застал студентом, а знал его раньше, когда он воспитывался еще в Саратовской семинарии в одно время с Г. Е. Благосветловым. Чернышевский шел в семинарии блистательно» — Отдел рукописей Института литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР. Архив А. Конисского. — Ф. 77. — № 124. — С. 104 (оборот).

В центре романа — образ Стожарова, сильной, «критически мыслящей личности», в котором воплощаются черты борца за «прочное человеческое счастье и человеческую свободу». Как отмечалось исследователями, во времена интенсивных поисков новых форм общественной борьбы литературные персонажи, претендующие на роль революционных деятелей, часто выглядят противоречивыми, ходульными, декларативными. Это в полной мере относится к Стожарову с его декларациями, колебаниями от материализма Чернышевского к позитивизму Конта, от обличения новых «хозяев жизни», которые «сосут из народа соки еще злобнее, чем это делали прежде помещики», — до призывов к «совести» кровососов-«сундучников»...

Правдиво в целом воссоздавая картины «опрошения» народнической интеллигенции, ее попытки «слиться с народом», Мордовцев как писатель-реалист показывает, что с самого начала эта затея была обречена. Народники остаются чужими и непонятными для крестьян.

В романе «Знаменья времени», написанном на остро актуальном материале, правдиво отражены настроения, идейные поиски части народнической интеллигенции. Однако их взгляды, нередко страдающие иллюзиями проповеди «теории малых дел», неправомерно выдаются за общую тенденцию. При этом осталось незамеченным растущее стремление народнической молодежи активизировать борьбу революционными методами. Надуманными представляются многие сентенции славянофильского характера, немало в произведении и просто слабостей художественного плана.

И несмотря на все это, «Знаменья времени» явились живым, остро прозвучавшим откликом на запросы эпохи, в них был поставлен целый ряд насущных проблем идейной жизни молодого поколения. В «Истории моего современника» В. Г. Короленко отмечал широчайшую популярность романа Мордовцева: «Роман имел в то время огромный успех. Его зачитывали, комментировали, разгадывали намеки, которые, наверное, оставались загадкой для самого автора... Слово, которое герои Мордовцева закутывали эзоповскими намеками и шарадами... было, конечно, «революция». Это оно стояло впереди, как туча, издали поблескивая своими молниями, на горизонте общества, вышедшего из крепостного строя и остановленного на пути к всестороннему раскрепощению...»<sup>1</sup>

Популярности романа, особенно среди молодежи, не могло помешать противодействие царской цензуры. Возможно даже, что запрещение отдельного издания «Знаменей времени», конфискация номеров журнала, где был опубликован роман впервые, изъятие их из общественных библиотек — все это лишь подогревало интерес к «крамольному» произведению. Роман Д. Мордовцева занимает место среди тех произведений, в которых с прогрессивных позиций изображены представители демократической раз-

<sup>1</sup> Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т. — М., 1954. — Т. 5. — С. 316–317.



ночинной интеллигенции шестидесятых годов. Закономерно М. Горький в статье «Разложение личности» (1909), уже в новых исторических условиях, столь же четко относит героя «Знаменей времени» Стожарова, вместе с героями Чернышевского, Омулевского, Гаршина, к тому типу, который решительно противостоял консервативно-охранительной, «антиинициативной» литературе: «...Мы увидим в этих книгах совершенно открытое, пылкое и сильное чувство ненависти к тому типу, который другая литературная группа пыталась очертить в образах Рахметова, Рябинина, Стожарова, Светлова и т. п.»

Публикация романа вызвала целую волну обсуждений, дискуссий. Характерно при этом, что выход в свет «Знаменей времени» в 1900 г. после снятия цензурного запрета вновь вызвал горячую полемику между А. Богдановичем (статья «Воскресшая книга») и Н. Михайловским, критически оценивавшим роман.

Для многих произведений Д. Мордовцева характерен прием использования актуального политического события, своего рода политизации повествования. Такова, например, сцена казни в прологе «Знаменей времени», прямо, до деталей, напоминающая о расправе с народником-революционером Каракозовым после неудачного покушения на Александра II. Обратившись к новому для себя жанру, Д. Мордовцев (после написания исторической драмы «Степан Малый» по мотивам своего же очерка о правителе Черногории, боровшемся против владычества турок под именем российского императора Петра I II) работает над новой драмой, отразившей новое оживление т. н. «славянского вопроса» в конце 60-х — начале 70-х годов. В драме «Гавличек», впоследствии названной «Пražский погром 1848 г.», представлены — прямо или косвенно — Карел Гавличек-Боровский, чешский поэт и публицист, живший в 1843—1844 гг. в Москве, и другие деятели чешского возрождения, а также Герцен, Бакунин, Белинский. Эта драма вместе с двумя другими — «Степан Малый» и «Добровольцы» — составили книгу «Славянские драмы» (1877). Однако сборник был запрещен как имеющий «вредное влияние». В представлении министра внутренних дел подчеркивалось: «В трех драмах Д. Мордовцева обнаруживается страстное возбуждение к борьбе против тирании... притеснителей свободы мысли и печати, отягчающих народ непосильными податями и трудом, одним словом, — к борьбе против всякого проявления правительственной власти.

...Главными пропагандистами и деятелями политического народного движения являются студенты, к гражданской доблести которых автор относится с видимым сочувствием.

...В пьесах, написанных страстным поэтическим языком, выведены под весьма прозрачным замаскированием русские политические эмигран-

Горький М. Собр. соч.: В 30 т. — М., 1953. — Т. 24. — С. 61—62.

ты — Герцен и Бакунин, — имена и мнение которых производят обаятельное впечатление на некоторых читателей»<sup>1</sup>. Тираж запрещенной книги в количестве 1175 экземпляров был уничтожен.

Можно, к сожалению, сказать, что царская цензура относилась к работам Д. Мордовцева на протяжении многих лет с большим вниманием и пониманием подлинного их содержания, нежели многие их официальные критики на страницах печати, как это ни парадоксально.

На основе биографических данных близких автору людей создавался роман «Профессор Ратмиров» (разделы публиковались в «Книжках недели», 1889). По своему жанру — это прообраз «романизованных биографий», где речь идет об аресте героя накануне его свадьбы, о следствии, допросах, ссылке в Саратов, жизни ссылке профессора и его окружении. Под прозрачными псевдонимами были выведены реальные исторические лица: Ратмиров — Костомаров, Елена Врубельская — Алина Крагельская, Лемиш — Кулиш, Змиевич — Юзефович, поэт и художник Опанас Тарасович Кравченко, «сосланный за Арал», — Шевченко, Николай Гаврилович — Чернышевский и т. д. Публикация романа была прекращена после вмешательства и возражений вдовы Костомарова<sup>2</sup>.

Широко известны были в свое время путевые очерки писателя, внесшего активный вклад в развитие и этого жанра нашей прозы: «Поездка к пирамидам», «Поездка в Иерусалим», «На Арарат», «Из прекрасного далека», «По Италии. Дорожные арабески», «По Испании. Дорожные арабески». Впечатления от поездки на Украину в 1883 г. отражены в полных лиризма автобиографических очерках, составивших сборник «Под небом Украины» (1884), поэтизирующих природу Украины, жизнь, быт народа, его песни, задумчивые думы<sup>3</sup>.

Д. Мордовцев обладал характером полемиста, горячего журнального бойца, зачинателя обсуждения таких проблем, как задачи провинциальной печати, судьбы раскольников, роль и характер внешней торговли и др. Особое место среди полемически-публицистических его выступлений принадлежит ответу на публикацию П. Кулиша «Крашанка русинам і полякам на великдень 1882 року» (Львів, 1882). В своей остро прозвучавшей брошюре «За крашанку—писанка. П. Ол. Кул'шовЪ» (СПб., 1882) Д. Мордовцев рассматривает эволюцию Кулиша до написания им «панского», «аристократического» по своему духу «послания», в котором Кулиш, заигрывая и пресмыкаясь перед польским панством, фактически клеветает на героическое прошлое украинского народа, называя борцов за его свободу «запорожской голотой», «нашими пиратами», «разгульным пьянством и дурным мужицьем». Опираясь на фактический материал, Мор-

<sup>1</sup> Добролюбовский Л. М. Запрещенная книга в России. 1825 — 1904. Архивно-библиографические разыскания. — М., 1962. — С. 124—125.

<sup>2</sup> Укр. перевод — «Правда» (1889, т. III—IV), отд. изд. — 1892.

<sup>3</sup> Укр. перевод — «Зоря», 1893, № 2—8.

довцев говорит об издании «Основы», деятельности Шевченко, Костомарова, Белозерского, что имеет несомненное значение для понимания ряда явлений развития украинской культуры.

Решительно разоблачает он недостойные попытки Кулиша в ряде его сочинений принизить Шевченко, извратить образ поэта-революционера, исказить значение его творчества. Мордовцев резко отрицательно оценивает «Крашанку» Кулиша, справедливо отмечая, что она повредит развитию украинской культуры. Именно эти положительные, сильные стороны выступления дали основание И. Франко характеризовать «прекрасный и с глубоким лиризмом написанный ответ» Кулишу как «несомненно самый лучший публицистический труд Мордовца»<sup>1</sup>.

Следует, однако, сказать о том, что Мордовцеву не удалось до конца показать подлинную суть концепций Кулиша в целом. В его ответе серьезная и аргументированная критика причудливо соседствует с восхвалениями того же Кулиша. Не менее характерна и тенденция к примирению непримиримого, сглаживанию противоречий, призыв «не ссориться», наивное убеждение, что обе стороны «поймут и поверят искренности» автора. Это не может не снижать объективно ценности памфлета Мордовцева.

Противоречия, подчас — открытые отступления от прогрессивных, демократических позиций проявляются в публицистике и художественном творчестве Мордовцева особенно последних десятилетий. Особенно наглядно проявилось это в развернутой самим публицистом (статья «Печать в провинции» — «Дело», 1875, №№ 9 и 10) шумной полемике о роли «провинциальной прессы» в культурном развитии страны, где он проповедовал «теорию» централизации всех культурных сил, закрывая тем самым перспективы развития национальных культур как якобы «провинциальных».

Справедливо отметил эту «неустойчивость» взглядов Мордовцева Короленко: «Он приводил в восхищение «областников» и «украинофилов» и мог внезапно разразиться яркой и эффектной статьей, в которой доказывал, что «централизация» — закон жизни, а областная литература обречена на вымирание»<sup>2</sup>.

Справедливости ради отметим, что в ответ на резкую критику со стороны значительной части русской, а также и украинской печати Д. Мордовцев признает свою ошибку (статья «Quos ego! — «Дело», 1876, № 5) и в оправдание напоминает о своей многолетней работе в провинциальной прессе, о том, что он выставил «свое знамя во имя развития украинского народа». И тем не менее, что тоже характерно, это, безусловно, искреннее покаяние не помешало Мордовцеву затем вновь опубликовать злосчастную статью в своих «Исторических прописях».

<sup>1</sup> Франко І. Зібр. творів: У 50 т.—К., 1984.—Т. 41.—С. 385.

<sup>2</sup> Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т.—М., 1954.—Т. 5.—С. 316.

Негативно следует охарактеризовать и проявленное в ряде случаев преувеличение значения «силы государственной» в истории России, что связано было и с неверными идейными ударениями (например, в «Предисловии» к «Палию», 1902 и др.). Такое переплетение во взглядах и творчестве Мордовцева, особенно 80—900-х годов, взаимопротиворечащих — демократических и либеральных (подчас — консервативных) — тенденций не дает возможности однозначно отнести его всецело к демократическому направлению.

Отчетливо сознавая это, необходимо принимать во внимание и принципиальной важности факт, а именно то, что постоянным центром идейно-творческих ориентации Д. Мордовцева была личность и творчество Т. Г. Шевченко, глубокое уважение и любовь к которому были характерны для Д. Мордовцева на протяжении всей его жизни. Творчество Шевченко, некоторые существенные черты его мировоззрения во многом повлияли на характер научных работ, публицистическую и художественную деятельность исследователя и писателя, самым различным образом проявляясь в его произведениях.

Тут и ссылки на авторитет Т. Г. Шевченко (предисловие к «Малорусскому литературному сборнику», «Гайдамаччина», «За крашанку — писанку» и др.), и постановка вопроса об исторической роли народных масс, навеянная, вне сомнения, творчеством Шевченко, и непосредственное выведение его образа как одного из действующих лиц («Профессор Ратмиров», «Сон — не сон»), и многочисленные случаи цитации, включения отрывков из поэзии Кобзаря в собственный текст («Палий», «За крашанку — писанку», «Под ибом Украины» и др.). Тут и попытки прямого наследования поэтической манеры Шевченко («Козаки і море», стихотворение «Петербург» из неопубликованного сборника «Торба старчака»), развитие тем и мотивов его поэзии — в раскрытии трагедии матери, «що під тиню з сином почувала» («Солдатка»), в использовании приема «видений», вольного полета над землей и возможности видеть и слышать все, что делается в разных концах земли («Сон», «Кавказ» — и разоблачения Мити Канадеева в «Знамениях времени»).

Моментом принципиального значения, и не только в биографии самого писателя, стала публикация Д. Мордовцевым рецензии на «Кобзарь» 1860 года («Русское слово», 1860, № 6). Известно, что А. Мордовцевой принадлежал рукописный список «Поэзия Тараса Григорьевича Шевченко», включавший переписанные ею почти все поэтические произведения, написанные поэтом до 1859 г. Мордовцевы не раз встречались с Т. Г. Шевченко в Петербурге. Он отправил новое издание «Кобзаря» с дарственной надписью А. Мордовцевой в Саратов. На этот дар она ответила стихотворными строками и словами благодарности: «...Если бы вы видели радость, какую сделала присланная вами книга, вы утешились бы моею радостью, как своим добрым делом. Живите счастливо, наш дорогой Соловушка.. 5 марта 1860 года. Анна Мордовцева». И тут же приписка: «Прошу

принять и мой сердечный привет, многоуважаемый Тарас Григорьевич. Д. Мордовцев»

Можно с уверенностью утверждать, что Д. Мордовцев хорошо знал не только опубликованные, но и остававшиеся ненапечатанными революционные произведения великого поэта (об этом имеется прямой намек в рецензии, где разделяется то, что «напечатал» и «написал» Шевченко). Следует учитывать также, что в «Русском слове» (1860, № 4) уже была напечатана рецензия на «Кобзарь» и также автора, близкого кругу Н. Г. Чернышевского, — поэта и переводчика М. Л. Михайлова. Однако возглавивший журнал (именно с № 6) Г. Благовестлов нашел необходимым напечатать еще один отклик на издание стихов Т. Г. Шевченко.

Несомненно, причиной этого была постановка в новой рецензии ряда существенных идейно-эстетических проблем, решение их с точки зрения, близкой взглядам Н. Чернышевского и Н. Добролюбова (рецензия которого на «Кобзарь» была опубликована в «Современнике», 1860, № 3). Принципиально новым представляется освещение проблемы народности и связанное с этим раскрытие сущности новаторства Шевченко: «Тон, которым заговорил Шевченко, был нов... и не привычен... Шевченко был в числе первых умов, начавших вводить в поэзию стихию народности, но не в том узком значении, какою она является у Квитки и у великорусских писателей той эпохи, а он заглядывал вперед... Шевченко затронул такие струны народности, о существовании которых Кольцов едва ли и знал. Идея первого обнимала предмет и шире, и глубже. После уже, у Некрасова разве, мы находим то, что в первый раз приковало наше внимание, затронуло... в произведениях Шевченко».

Выражение «истинной идеи народности», глубокая, органическая связь с «почвой, питающей этот корень», определяли, по мысли рецензента, особенности его связей с действительностью, активность его жизненной позиции. Поэтому «поэт-историк», даже обращаясь к исторической проблематике (в сравнении с Н. Костомаровым и П. Кулишом), не становится безраздельно певцом казачьей старины, ибо «не в прошедшем искал он идею, а искал ее в настоящем, в жизни, в людях, в их взаимных отношениях, в их радостях и надеждах».

Поэтому — решительный протест, его «социальное значение» пронизано оптимизмом, верой в будущее народа: «Вообще он смотрел далеко вперед... Отсюда проистекала сознательная вера в идею каких-то новых, лучших отношений между людьми, и эта-то вера в возможность иных отношений лежит в основе лучших произведений Шевченко». Утверждая глубокий гуманизм Шевченко, его призыв к единению народов, против националистической замкнутости и отчуждения, Мордовцев в русле идей

<sup>1</sup> Прийма Ф. Я. Т. Г. Шевченко в отзывах Д. Л. Мордовцева. Страницы истории русской литературы. — М., 1971. — С. 340. См. также. — Ш а б л о в с к и й Е. С. Чернышевский и Украина. — К., 1978.

Чернышевского и Добролюбова ставит вопрос о мировом значении великого поэта: «Думы Шевченко нашли себе славу не в одной Украине, но и в целой России, да может быть, и дальше».

С глубоким пиететом относился Д. Мордовцев к памяти Т. Г. Шевченко, о чем свидетельствует и перевод на русский язык (с исправлением отдельных неточностей) воспоминаний Варфоломея Шевченко, и статья «Роковини Шевченка в Петербург!» («Зоря», 1886, № 6), и предисловие к «Иллюстрированному «Кобзарю» Т. Г. Шевченко» (1896), и организация — на протяжении четверти века, 1880—1904 — Шевченковских вечеров в Петербурге, и учреждение «Общества имени Т. Г. Шевченко для вспомоществования нуждающимся уроженцам Южной России, учащимся в высших учебных учреждениях С.-Петербурга» (1898), которое возглавлял он вместе с известным русским скульптором М. И. Микешиним. Ценнейшим документальным свидетельством очевидца о дружбе, идейной близости Шевченко с вождем русской революционной демократии Чернышевским, о близких отношениях с деятелями русской культуры — А. Жемчужниковым, А. Толстым, И. Горбуновым, Д. Кожанчиковым, П. Мельниковым-Печерским — являются воспоминания Д. Мордовцева «3 минулого та пережитого (Про батька Тараса та ще про дещо)».

После многолетнего перерыва Д. Мордовцев в 1882 г. вновь обращается к творчеству на украинском языке. Одновременно с брошюрой-памфлетом он пишет своеобразный лирико-биографический очерк «Сон — не сон», который с двумя аналогичными произведениями («Скажи, Місяченьку!», «Із уст младенців») был затем включен в книжку «Оповідання» (СПб., 1885). Внимательный рецензент этого сборника И. Франко отметил разительные отличия очерков и по проблематике, и по манере изложения от созданных ранее рассказов, также помещенных в это издание. «Чистый лирик», автор рисует здесь не картины жизни и быта народного, а «свои собственные думы, чувства и мечты», перед читателем предстают не рассказы, а «скорее свободные арабески пестрых и часто слабо связанных меж собою рефлексий и картин... Передать содержание этих очерков — очень трудно.

Самые дикие скачки фантазии служат тут не раз для маскировки, а вместе с тем и для выражения главной мысли автора. Я назвал бы эти очерки своего рода «невольничьими думами», хотя бы уже из-за их затемненного, мистического, аллегорического, подлинно невольничьего выражения»

Обращение к форме очерков-арабесок было обусловлено многолетним отрывом автора от украинской почвы, недостаточностью непосредственного знания реальных особенностей социальной жизни на Украине. В гнетущей атмосфере 80-х годов Д. Мордовцев в стилистике новых очерков перед-

<sup>1</sup> Франко І. Я. Д. Л. Мордовець. Оповідання.//Ватра, Стрий, 1887.—С. 151.

ко злоупотребляет импрессионистически-отрывочной манерой изложения, глухими намеками, обращаясь к отдельным моментам истории Украины («Сон — не сон»), автобиографическим мотивам («Сорока на лозѣ»), выступая против гнета «драконовской цензуры», душившей развитие украинской национальной культуры («Скажи, місяченьку!», «Сорока на лозі», «Не дайте на поругу»). Выступая в основном во львовских изданиях, Д. Мордовец не всегда удерживался от искушения «поддобриться» определенным кругам, превознося даже подчас цесарские порядки в Галиции того времени.

В наследии писателя последних лет<sup>1</sup> следует выделить воспоминания о Костомарове («Николай Иванович Костомаров в последние десять лет его жизни. 1875—1885»), Драгоманове («Про незабутнє», 1903), а также выдержанные в духе простых, неприязнительных «народных рассказов» — новеллы «А все пречиста» (1886; она, по оценке И. Франко, «производит сильное впечатление») и «Луна з «Ново!» Україш» (1904), печальная история о тяжелой доле переселенцев, вынужденных покинуть родные места.

Нельзя забывать и о том, что в нелегкие 80—90-е годы Мордовцев играл весьма заметную роль представителя украинской общественности в столице России. Человек гуманный, отзывчивый, доброжелательный, он внимательно и тщательно стремился исполнить просьбы тех, кто обращался за помощью к «діду Мордовцю». Так, он деятельно и эффективно помогает М. Старицкому выиграть известный судебный процесс; дочери забытого современниками Я. Щоголева помогает отметить память отца; способствует прохождению через цензуру рукописей А. Конисского и его поездке за границу для лечения и т. д.

Мордовцев способствовал организации издания в Петербурге произведений Панаса Мирного, И. Нечуя-Левицкого. Он выступает в защиту украинского театра от нападков реакционной прессы, приветствует приезд на гастроли трупп Кропивницкого, Саксаганского, публикует рецензии на спектакли украинского театра. Мордовцев на протяжении многих лет содействовал многим украинским авторам в «проталкивании» через цензуру их произведений, обращается с «Запиской» в Главное управление по делам печати, добиваясь отмены цензурных запретов в развитии украинского языка и литературы.

Однако в условиях подъема освободительной борьбы в начале нового, пролетарского этапа революционного движения в России роль представителя украинской литературы и культуры, выразителя интересов их становится для Мордовцева, — с его расстроенным здоровьем, живущего в

<sup>1</sup> Подробнее «украинская часть» наследия писателя рассмотрена нами во вступительной статье изд.: Мордовець Д. — Твори: В 2 т. — К 1958. — Т. 1. — С. 5-38.

последние десятилетия зачастую у брата в Ростове, — уже непосильной. Постепенно отходит он на второй план, хотя и продолжает свою общественно-литературную и собственно творческую деятельность до конца дней. Умер Д. Мордовцев 10 (23) июня 1905 г. в Кисловодске, похоронен, согласно его желанию, в Ростове-на-Дону.

Жанром, в котором наиболее активно выступал Д. Мордовцев на протяжении трех последних десятилетий своей деятельности (смерть прервала работу над романом о русском ученом и публицисте XVIII в. И. Т. Посошкове), был исторический роман. Хотя первый опыт в этом направлении — рассказ «Медведицкий бурлак» (1859), ставший хрестоматийным произведением, относится к началу творческой биографии, окончательно облюбовал Д. Мордовцев жанр исторической прозы после написания романа из эпохи Петра I «Идеалисты и реалисты» («Новое время», 1876).

Деятельность Мордовцева — исторического романиста относится в целом к периоду определенного упадка жанра, отступления его в литературной таблице о рангах на второй и третий план, что было обусловлено отходом создателей его в этот период от прогрессивных движений, непониманием основных закономерностей развития общества, решающей роли народа в истории. К тому же, в субъективном плане, писатель, не имея иных источников существования, в стесненных материальных условиях вынужден был трудиться сверхинтенсивно, а с предложением о публикации новых и новых плодов творчества обращаться в «темные издания с темными издателями» (Г. Успенский), — имея в виду прежде всего сотрудничество с А. Сувориным.

Автор около 40 романов и крупных повестей, большого числа прозаических произведений различных малых форм — таков объем исторической прозы писателя. Произведения его пользовались большой популярностью у массового, говоря сегодняшним языком, читателя, хотя многие из них не представляли подлинной ценности даже в масштабе того времени. «Нельзя отказать Мордовцеву в таланте, — писал известный историк литературы А. Скабичевский, — в основательном знании истории и добросовестном отношении к историческим фактам; к сожалению, плодовитость сильно вредит качеству его произведений»<sup>1</sup>.

Тематически историческая проза писателя охватывает широкий круг тем и эпох. Это романы на темы истории древнего мира: «Замурованная царица», «Жертвы Вулкана», «Месть жрецов», «Богиня Изиды-сваха», «Ирод», «Последние дни Иерусалима», «Иосиф в стране фараона», «За всемирное владычество». Среди большой группы романов из русской истории

<sup>1</sup> Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы. 1848—1906 гг. — М., 1906. — С. 363.



(«Мамаево побоище», «Господин Великий Новгород», «Наносная беда, чума в Москве», «Наш Одиссей», «Двенадцатый год», «Соловецкое сидение», «Великий раскол», «Авантюристы», «Свету больше!», «Державный плотник», «Посаженная мать (Екатерина II)») — можно выделить произведения из истории Кавказа («Царь без царства», «Прометеево потомство», «Железом и кровью»).

К исторической прозе Мордовцев пришел закономерно, на основе достигнутых обобщений, опыта работы профессионального историка (о признании сделанного им в этой области свидетельствует, в частности, двукратное приглашение в 60-х годах занять кафедру русской истории в Петербургском университете), обладающего собственной концепцией, совпадающей со взглядами передовой науки того времени, исторического процесса как результата движения народных масс. Поэтому-то, как представляется нам, наиболее удачными в его историческом наследии стали те произведения, где наиболее четко проведен демократический угол зрения на прошлое страны и народа, где непосредственно показано движение народных масс, активно выявляет себя мысль и дело народное: «Идеалисты и реалисты», «Соловецкое сидение», «За чьи грехи?», «Великий раскол», «Сагайдачный».

В огромной массе исторических произведений Мордовцева выделяют романы и повести, в которых освещается проблематика исторического прошлого Украины, развитие сюжетных линий, системы образов непосредственно (пусть и разною мерою) связаны с Украиной. Это количественно весьма представительная группа: «Сагайдачный», «Царь и гетман», «Лжедмитрий», «Идеалисты и реалисты», «Царь Петр и правительница Софья», «Великий раскол», «Крымская неволя», «Тимош», «Между Сциллой и Харибдой», «Булава и бунчук», «Архимандрит-гетман», «Вельможная панна». Написанные в разное время, различаются они и по своему художественному уровню, идейной и общественной значимости. Но характерной чертой этой группы произведений является чувство патриотической гордости за славное прошлое Украины, подвиги ее сынов в борьбе за социальное и национальное освобождение. Дочь писателя писала в своих воспоминаниях: «Отец любил Великороссию, где жил много лет, любил богатый, звучный русский язык, любил широкое раздолье Волги-матушки и великорусские песни с их сердечной тоской и молодецким привольем, но Украину и все украинское любил он особой, ни с чем несравнимой любовью, как любят свое родное»<sup>1</sup>.

В лучших своих произведениях на темы исторического прошлого Украины Д. Мордовцев выступает активным поборником украинско-русского единения. Написанные на русском языке (на украинском языке были

<sup>1</sup> Александрова В. Данило Лукич Мордовцев. Спогади його доньки.— Ужража.— 1930, січ.— лют.— С. 130.

опубликованы повести «Палій», «Дві долі», рассказы-сентенции «Келих Карла XI», «3 хрестом навкол ішках»), эти романы объективно раскрывают единство интересов и общность исторических деяний русского и украинского народов на протяжении веков; в них сохранен и во многом удачно передан украинский национально-исторический колорит. Черты национальной украинской специфики русскоязычных произведений романиста зримо выступают и в особенностях авторской речи, и в языковых партиях героев-украинцев, щедро насыщенных колоритными украинскими оборотами, и в широком, последовательном использовании народнопоэтических источников — народных дум, исторических песен, заговоров, при сказок, и в специфическом национальном юморе.

Особое значение приобретает изображение героических характеров, борцов за дело народа, что сближает их с традициями «Гайдамаков» и «Тараса Бульбы», которые остаются, впрочем, недостижимыми образцами.

К числу лучших исторических произведений Д. Мордовцева принадлежит роман «Сагайдачний» (1882), в отдельном издании имеющий подзаголовок — «Из времен вольного казачества и разграбления Кафы, нынешней Феодосии, в Крыму». В романе отражены картины деятельности выдающегося исторического деятеля и полководца Петра Конашевича-Сагайдачного последнего периода его жизни, яркими красками обрисованы характерные сцены жизни запорожского казачества, его быт, обычаи, нормы поведения в мирной жизни, мужество и героизм в походах и боях с врагами. Достоинством романа является динамичное развитие действия, острота сюжета в чередовании колоритных бытовых и батальных эпизодов — среди них особо выделяются переправа через диспровские пороги, морской поход казачьих чаек, буря на море, невольничий рынок в Кафе, штурм крепости. Прямое сюжетное движение перебивается отдельными вкраплениями «крупных планов», где высвечиваются черты характеров героев.

Зафиксированные историей моменты и типизированные социально-бытовые картины воссоздают жизнь Запорожской Сечи, шире — Украины начала XVIII столетия. Знаменательно, что роман, имеющий немало общего в сюжетной основе с ранней поэмой «Козаки і море», принципиально от нее отличается акцентированием ряда важных социальных характеристик. Мордовцев показывает начальный процесс закабаления украинского народа польской шляхтой, попытки окатоличения его и насильственной колонизации, в контрастно сдвинутых сценах гнет и нужда трудящихся масс противопоставляются роскоши, безумным прихотям польского панства.

Иначе представлены и картины взятия невольничьего центра татарского ханства — Кафы. В центре внимания — не описание кровавых подробностей штурма (хотя автор и не отворачивается совсем от этих деталей), а главная цель похода — освобождение тысяч украинских и русских

невольников. Для поэтики Мордовцева-романиста характерно обращение к широкому мазку, ярким, нередко — кричащим, краскам. Тут возникает осязаемая опасность натуралистических перекосов, мелодраматических преувеличений. К их числу следует отнести данный в пересказе эпизод убийства освобожденным из рабства донским казаком ребенка, рожденного его женой в татарской неволе (этот антиреалистический эпизод перекочевал в роман из костомаровского «Кудеяра»). По закону поэтики контраста таким эпизодам противопоставлены детально разработанные, с теплым юмором, подлинным гуманизмом обрисованные сцены спасения казаками маленькой татарочки, оставшейся без родителей; в заботах о ребенке выявляется подлинная человечность, чувство справедливости, доброта души огрубевших в кровавых походах и боях простых казаков.

Кроме Сагайдачного, в романе выступает еще ряд исторических персонажей — Петр Могила, Мелетий Смотрицкий, Кисель, Жолкевский, Мазепа. Однако удачей автора является как раз раскрытие образа народа в целом, воссоздание в ряде массовых сцен, динамичных эпизодов (от выборов кошевого до поилогов на борту чаек) цельного образа свободолюбивого, мужественного, нередко — сурового, в бою жестокого, а по натуре — доброго, искреннего, временами наивного, народа, простых казаков-запорожцев, среди которых более детально выделены автором старый, опытный Нсбаба, хитрец Карпо Колокузни, простодушный силач Хома, мужественный Олеський Попович...

В облике простых казаков-запорожцев элементы реалистической типизации сочетаются с характерными для романтической стилизованной манеры тенденциями героизации, поэтизации образов. Этому активно способствует опора на поэтику народно-исторических песен, дум, казачьих летописей. В композиционном построении целого и ведущих сюжетных центров важную роль играют ситуации, эпизоды и характеристики, почерпнутые из народных дум — «Про козака нетягу Ганджу Андигера», «Про Саміла Юшку», «Про Олексія Поповича і бурю на Чорному Морі», «Про Хведора Безрідного». Очевидно, писатель широко использует народно-поэтические источники не только для воссоздания исторического и локального колорита, атмосферы народного деяния — эта задача успешно в целом решена в романе (хотя представляется несколько прямолинейной, а потому — анахронической, откровенная персонификация таких героев дум, как Ганджа Андигер, Настя Горовая), — этот материал привлекается еще и потому, что собственно историческая, фактическая основа была недостаточно разработана, эпоха в целом освещена тогдашней исторической наукой явно неполно.

Романист-историк во многом зависит от исторической науки, достигнутого ею уровня; достижения ее и обобщения питают писателя конкретным материалом, дают возможность более верно, глубоко и полно осветить эпоху и ее характерных представителей. В то же время недостаток, а то и полное отсутствие подлинно научных данных у художника, равно как

односторонность, тенденциозная предвзятость используемых материалов отрицательно сказывается на художественно-историческом полотне, приводят к неизбежным нарушениям исторической правды, а следовательно — и правды художественной. И если нарушения исторической правды деталей, на что указывала критика (см., напр., — «Киевская старина», 1882, т. IV, октябрь, с. 134—142), следует отнести на счет недосмотров самого автора, то некоторые серьезные отступления от правды истории объясняются прежде всего зависимостью Мордовцева, который как историк сам не занимался данной эпохой, от исторических концепций позднего Н. Костомарова. Именно эти воззрения определили отдельные неверные ударения в характеристике роли Речи Посполитой, идеализации ее политики на землях Украины, отношении Сагайдачного к Польской державе. Только этим можно объяснить сугубо предвзятую оценку, безосновательно критическое отношение к деятельности Б. Хмельницкого в двух эпизодах романа, где чрезмерная идеализация Сагайдачного (проводившего на деле на протяжении целого ряда лет соглашательскую по отношению к польскому королю политику) напрямую служит предвзятому «обличению» грядущих дел Богдана Хмельницкого.

В свое время в предисловии к первому изданию «Гайдамачины» (1870) Мордовцев, обосновывая свою позицию в оценке народного движения, утверждал, что «нередко народная память освещает известные исторические события и лица вернее, ближе к истине, чем официальные документы, не всегда искренние, а часто — с умыслом лживые». В этом отношении демократические симпатии Мордовцева с наибольшей силой выявились в созданных им в романе образах рядовых запорожцев, героических борцов за свободу, воссозданных в духе народнопоэтической традиции. Вместе с тем односторонняя абсолютизация такого подхода в освещении сложных исторических фигур оборачивается идеализацией, апологией вместо необходимого социального анализа. Отказавшись от самостоятельной критической оценки эпохи и героев, приняв на веру тенденциозно предвзятые построения, писатель тем самым отступил от исторической и художественной правды. Показательно, что в украинской переработке произведения («с дополнениями и отличиями») М. Загирной (Марии Гринченко) все эти «исторические» сентенции сняты<sup>1</sup>.

По своей проблематике, идейно-художественной ценности, демократической направленности в одном ряду с «Сагайдачным» стоит небольшая по объему повесть «Крымская неволя» (1885). Сюжет ее несложен: в

<sup>1</sup> Б. Д. Гринченко считал необходимым включить «Сагайдачного» в круг народного чтения (см. раздел «Історичт книжки» его книги «Перед широким світом») и сам работал в 1884 г. над переводом романа — см. материалы его переписки с Д. Мордовцевым в отделе рукописей ЦНБ АН УССР. — III. 38781—38790.

«тяжелую годину», когда гетман П. Дорошенко сам зазывал турок и татар осуществлять нападения на украинские земли, под Каменцем попадают в ханскую неволю московский ратник, побывавший уже ранее в плену, и молоденькая украинская девчушка Катря. Через несколько лет в руки людоловов попадает и молодой казак Пилип, по прозвищу Камяненько, родом тоже из Каменца. Его продают в рабство тому же турецкому паше. И лишь через девять долгих лет, благодаря смекалке и опыту «москаля», побывавшего «во всех неволях», трем невольникам удастся бежать и вернуться на родину.

Повесть привлекает гуманистической атмосферой; впечатляюще, с первых же эпизодов передан трагизм положения простого народа, отданного на поругание людоловам-крымчакам историческими авантюристами типа Дорошенко и Мазепы; убедительно раскрывается тема единения русского и украинского народов в последовательном показе судеб старого «москаля» и молоденькой Катри, Пилипа и русского стрельца, попавшего в плен на поле боя. Вместе бьются они в ратном строю, одна у них горькая судьбина, общие и мечты у них — совместными усилиями вырваться из неволи, одолеть врагов, добиться мирной, вольной жизни.

Глубокая народность, историческая конкретность и типичность жизненной ситуации, ставшей основой повести, подчеркивается глубоко драматическим ее финалом — Катря и Пилип, полюбившие друг друга, свадьбой которых заканчивается повесть, — оказываются родные брат и сестра. Введение подобного мотива дает возможность под новым углом зрения увидеть, прочувствовать весь трагизм положения украинского народа в те годы, когда захватчики рвали на куски земли Украины, разоряли и жгли города и села, уводили в рабство людей.

Тема женитьбы брата с сестрой нередко встречается в украинской народной поэзии. Этот мотив положен в основу стихотворения Н. Костомарова «Брат з сестрою», опубликованного еще в «Малорусском литературном сборнике». Использован он и самим Мордовцевым в одном из коротеньких рассказов «Анютины глазки, или Как казак Петренко женился на родной сестре Галс». Но если там эта тема трактуется прежде всего и дидактически-религиозном плане, то в повести она наполняется значительным социально-историческим содержанием, содействует изобличению «крымской неволи», калечащей людские судьбы.

Историческая проза Мордовцева в лучших ее образцах характеризуется стремлением автора подкрепить фабульное развитие конкретными документами, подлинными свидетельствами эпохи. Сильной ее стороной является и последовательная ориентация на народную точку зрения на события, народная оценка героев истории. Включение, литературная обработка разнообразных фольклорных материалов в их взаимодействии с авторским повествованием способствуют созданию атмосферы народности, дают возможность шире показать героев из народной среды.

Нельзя не подчеркнуть последовательное стремление Д. Мордовцева

j

в тяжелейших условиях реакции 80—90-х годов отстаивать право на свободное развитие украинского языка и литературы, выступить против преследований драконовской царской цензуры, шовинистической политики царизма. Так, он пытался добиться цензурного разрешения для ряда украинских периодических изданий, возможности подписки в России на издаваемые во Львове украинские журналы. В 1899 г., собрав письма ряда украинских писателей, Мордовцев обращается со специальной «Запиской» в Главное управление по делам печати, добиваясь отмены цензурных запретов на украинский язык. В 1904 г. он выступает за ликвидацию реакционного закона 1876 г. за разрешение преподавания в украинских школах на родном языке.

И в последние годы жизни своими прозаическими произведениями писатель стремился способствовать развитию украинской художественной культуры. Вполне закономерно, что в некрологе, опубликованном во львовском «Литературно-науковому вкнику», И. Франко специально подчеркнул, что Д. Мордовцев принадлежит к числу «больших мастеров украинского языка, да и своими симпатиями он был всегда на стороне Украины...»<sup>1</sup>

В этой связи следует рассматривать украинские «варианты» известных романов Д. Мордовцева как стремление популяризировать среди украинского читателя образцы исторического жанра, расширить знания о прошлом родной земли. Такова, например, повесть «Две доли» (ЛНВ, 1896, № 2—6), созданная на основе раннего романа писателя «Архимандрит-гетман». В контрастном противопоставлении здесь повествуется о жизни борца за свободу родной земли запорожского кошевого Ивана Сирко и о загубленной судьбе предавшего свой народ Юрия Хмельницкого. Следует признать, что в художественном отношении эту попытку «переделки» нельзя признать удавшейся.

Несомненно, более результативной явилась работа над повестью «Палий, воскреситель правобережной Украины» (1896—1897), написанной на основе широко известного романа «Царь и гетман», опубликованной на украинском языке в Петербурге в 1902 г. В центре произведения — фастовский полковник Семен Палий, легендарный герой, борец против шляхетского владычества, турецко-татарских захватчиков, изменнической политики казачьей старшины во главе с Мазепой. В утверждении правоты Палия как организатора и вожака народных масс, в развенчании Мазепы — пафос произведения. Автор, при всей фрагментарности исторического сюжета, справедливо выделяет поддержку героя простыми крестьянами, «голотою» как жизненную основу успеха дела Палия.

Герой выступает в повести и в бытовой, домашней обстановке, и как опытный военачальник, умелый дипломат, и в драматических сценах решающих столкновений с Мазепой, и в сибирской ссылке, и на поле Пол-

<sup>1</sup> Франко І. Зібр. Творіє: У 50 т.— К., 1982.— Т. 36.— С. 43.

тавской битвы в 1709 г. К сожалению, сам Мазепа изображен в манере лубка, примитивным демоническим злодеем; ощутима в повести и тенденция официальной «благонамеренности». В то же время нельзя обойти один из симпатичнейших образов повести — фигуру умной и мужественной жены полковника — Палихи. В ней синтезированы черты положительного идеала писателя, издавна обращавшегося к цельным ярким женским характерам: «солдатки» Катри в раннем рассказе, Вареньки Бармитиновой в «Знамениях времени» к образам «русских исторических женщин» (в одноименном четырехтомном историческом исследовании, 1873—1874). В таком решении образом положительного плана, значительных женских образов можно видеть еще один аспект воздействия, стремления опереться на достижения великих современников — Т. Шевченко, Н. Чернышевского, Марко Вовчок.

В предисловии к первому изданию «Палия» автор выражал сожаление, что своими произведениями, своим трудом «мало сделал для пользы моего края и его языка». Но окончательный суд здесь принадлежит истории, новым поколениям читателей.

Творческое наследие Мордовцева на русском и украинском языках — огромно по своему объему. Но далеко не все в нем сохраняет свое эстетическое или даже историко-познавательное значение. Характеризуя место в литературе этого писателя «двойной литературной физиономии», И. Франко писал: «Если мыслитель, ученый и романист Мордовцев не раз, возможно, заслуживал упреков, то украинско-русский поэт Данило Мордовец есть и останется навсегда весьма симпатичным, пусть и не столь замечательным литературным явлением»<sup>1</sup>. Наиболее значительное в научном и художественном плане в наследии Д. Мордовцева объективно способствовало развитию и утверждению реалистических и демократических тенденций в отечественной духовной культуре, было и остается одним из действенных факторов русско-украинского единения.

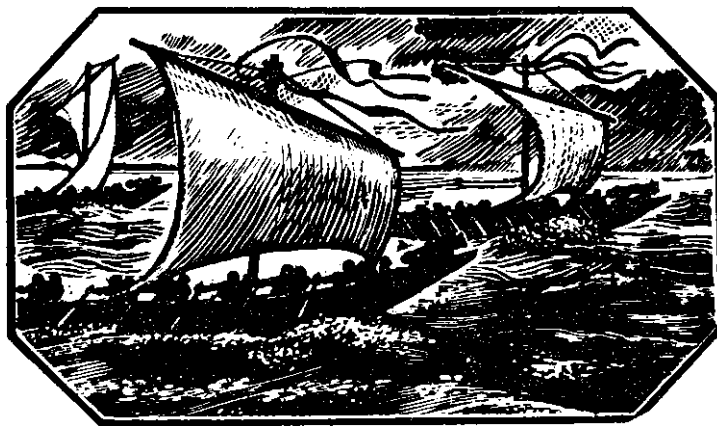
Виктор БЕЛЯЕВ

# БАГАЙДАЧНЫЙ

РОМАН







I

Это было очень давно.

В тот год, с которого начинается пестрая историческая ткань нашего повествования, русские люди, теперь столь уверенные в будущем своей неисходной земли, не знали еще, окрепнет ли на этой расшатанной смутами земле «благоцветущая отрасль благородного корени» и осенит ее миром и благоденствием, или же опять придут польские и литовские люди и настанет на Руси иноземное владычество. Не ведали и польские и литовские люди — «славянские ль ручьи сольются в русском море, оно ль иссякнет» и «злота вольность польшизны» затопит собою болота «московского барбаржиньства»<sup>1</sup> и украинского хлопства. Всего же менее могло догадываться украинское хлопство, какая роковая роль выпадет на его долю в будущей истории двух самых крупных представителей независимого тогда славянства — Москвы и Польши.

Было это весной 1614 года.

Вниз по Днепру, не доходя порожиистой части его, тихую, ровною греблею плыли казацкие чайки, или човны, на которых, словно пышный мак либо васильки и чернобривы в огороде, пестрели под лучами утреннего солнца красные верхи казацких шапок, желтые, как спелые дыни, штаны

<sup>1</sup> Варварства (пол.)

на цветных «очкурках» и с цветными поясами, яркие ленты в воротах рубах и голубые да зеленые вылеты на кунтушах. Чаек было около десяти, и на невысокой мачте каждой из них длинные, яркие, всех цветов ленты полоскались, реяли и трепались в воздухе, словно бы над казацкими чайками развевались девичьи косы — косы невидимых украинок, провожавших казаков в далекую дорогу.

Передняя чайка была изукрашена более других. На носу у нее водружено было на красном древке голубое знамя с изображением на нем скачущего на коне казака и с крупной, нашитою мишурою подписью:

Куда схоче, туди й скаче,  
НіхТо за ним не заплаче.

С задних чаек иногда доносилось скорее грустное, чем веселое пение, слов которого вполне не слышно было, а можно было уловить только отдельные слова: то «пливе човен, води повен», то «дівчина плаче», то «кличе мати вечеряти», «козак молоденький», «далека дорога», «турецька неволя». Слов от песен потому нельзя было разобрать, что там где-то ниже, недалеко, что-то ревело и стонало, точно наступающая с грозой и градом туча, хотя небо было ясное, тихое, безоблачное.

— Что бы оно гудело так? Ни ветер, ни град; и аер кажись, не оболочен, а гудит! — с удивлением говорил, прислушиваясь и поглядывая кругом, невысокий бородатый человечек в высокой горластой шапке и в цветном охабне московского покроя, сидевший на передней чайке, на покрытом ковром тюке.

— Да то пороги ревуть, пане дяче,— отвечал, лениво покуривая люльку, седоусый казак, сидевший тут же по-турецки, на разостланной циновке.

— Пороги? Ноли они недалече?

— Да недалечко... А, гаспидская люлька — опять потухла!..

Пан дьяк, как называли казаки бородатого человека в шапке горластой и в цветном охабне, встал и, отнеся глаза ладонью, тревожно глядел вперед, между тем как сивоусый казак, достав из кармана синих широких штанов кресало, кремь и трут, преспокойно вырубил огонь, ворча на неповинную трубку:

— От 1родова люлька,— усе гасне...

Воздух, атмосфера (зр.).

Гул впереди становился яснее и яснее. Слышно было, как какие-то две силы сшибались одна с другою, и удары все учащались, а глухой гул так и стоял в воздухе.

Стоявший у руля передовой чайки старый казак с расстегнутым воротом и черною, загорелою, покрытою, как у зверя, шерстью грудью, налег на правильное весло и повернул лодку на самый стержень реки.

— Ануте, хлопце разом — удар! — крикнул он.

Гребцы, которых было человек двенадцать на чайку, дружно ударили веслами, перегнулись назад, словно как ушибленные в лоб, снова нагнулись, глубоко захватили зеленую воду, опять откинулись назад, опять ударили... Чайка летела, точно, в самом деле, крылатая птица...

— Ануте, соколята, \ще раз! ііііе раз! — гримнул рулевой атаман.

Пан дьяк испуганно глядел то на гребцов, то на рулевого, то вперед, на эту страшную воду. А впереди она, действительно, становилась страшною. Что-то, казалось, ныряло в ней, выскакивало на поверхность — беляки какие-то, точно испуганные зайчики либо клочья белой кудели, и снова прятались в воду, и снова выскакивали... Гул, перебой воды и грохот становились все явственнее...

— Довольно, хлопц! Добре! Суши весла! — гремел голос рулевого.

Гребцы подняли весла, звякнули ключицами — и разом поднялись.

— До правила, дітки, до стерна! — гукал рулевой.

Гребцы бросились к рулю, налегли на него, осилили напор воды и направили чайку в самые ворота — в kloкочущую между «заборами» пучину... Белый, зло ревущий водяной гребень перегораживал Днепр от одного каменистого берега до другого. Зеленая вода, стремясь через порог, превращалась в белую массу — в страшную гриву какого-то невидимого подводного чудовища... А там дальше kloкотала и бешено прыгала пена с брызгами. Бешеному потоку, казалось, не хватало места, и он клубами прыгал в воздухе, снова обрывался и падал, опять скакал вверх, выпираемый новыми бурунами, и опять падал и разбивался...

Чайка стрелою летела на белую гриву этого чудовища. Вот она на самом гребне — дрогнула, качнулась, закричала в пазах, опять дрогнула, полетела вниз с водяной горы, ткнулась носом, вынырнула... И скачущего на знамени казака, и пана дьяка, который стоял на коленях, уцепившись за уключину, и посиневшими губами бормотал молитву,

и сивоусого с люлькой казака обдало водяною пылью и брызгами...

— Молись, Дітки! — гукнул рулевой атаман.

Все перекрестились.

— Смотрите, хлопцы, вон москаль раком стоит! — раздался чей-то веселый голос.

Все глянули вперед. На передку чайки, где молился пан дьяк, товарищ его, тоже московский человек, перепуганный всем виденным сейчас, стоял на четвереньках, держась руками за днище, за кокорник, и беспомощно оглядывался по сторонам, не зная, в ком искать спасения...

— А гаспидская люлька! Опять погасла! — ворчал сивоусый казак, тыча пальцем в трубку, залитую водой.

Скоро, однако, чайка пошла ровно — опасный порог был пройден благополучно. Казаки уселись, кто где и как хотел, перекидывались шутками, смеялись над струсившими «москалями», смотрели, как другие, задние чайки перепускались через порог.

— А как сей порог именуется? — обратился, немного успокоившись, пан дьяк к сивоусому казаку, вырубавшему огонь для своей непокорной трубки.

— Да это Кодак, пане дьяче, — пробурчал тот, углубившись в свою люльку.

— А еще много их будет?

— А! Сто копанок! Вот чертова...

— Ноли сто? Быть не может!

— Да не сто ж! Вот, дьяче, выдумал!

— Да ты ж сам сказал сто...

— Тю! то у меня такое слово, сто копанок чертей.

Все чайки, однако, переспустились через Кодак благополучно и быстро понеслись силою течения к другим, менее опасным порогам и «заборам».

Пан дьяк, несколько успокоившись, снова уселся на ковре рядом с другим московским человеком, с тем, над которым сейчас только смеялись казаки, будто бы он с испуга стоял на карачках, а сивоусый казак, запалив, наконец, свою непослушную люльку, тут же примостился на корточках и повел свою беседу с московскими людьми.

— Так вы, говорите, нового царя себе выбрали?

— Нового, точно.

— А кого ж вы выбрали?

— Божию милостию Михаила Федоровича Романова, благоцветущую леторосль благородного корене.

— А как же вы с царевичем?

— Каким царевичем?  
— А Ивашкою, Димитриевым сыном?  
— А! Вот нагадал! Выпортком-ту Расстриги?  
— Эге! Какой он Расстрига?  
— Да Расстрига ж — подлинно.  
— Ну хоть и Расстрига, а все ж был царем... А у него теперь сын ведь...

Сын! Всем ведомо, что Гришку-вора убили весной в прошлом во 114 году, а оной Ивашка-выпорток рожон Маришкою-ворухой во 117 году... Али она три года во чреве носила? А?

Казак только свистнул:

— Фью!.. Ну, это точно долго — три года.  
— То-то и есть! Да и пес ее, воруху, знает, от какого вора она оценилась — от тушинского ли вора, от другого ли царика-вора, от Ивашки ли Заруцкого, а может, и от пана польскова — поди разбирай ее...  
— Те-те-те-те! А сказывают, подончики за него стали?  
— Пустое! Он ноне с Маришкой в Астрахани, слышно, и ево, чу, скоро изымают.

Сказав это, московский человек невольно остановился и испуганно глянул кругом. Он заметил опять необыкновенное движение между гребцами и услышал зловещий шум воды. По поверхности Днепра опять заскакали беленькие зайчики, а ниже пенилась и бурлила бешеная река. Большая длинношеяя птица с длинными ногами, вроде цапли или журавля, перелетая через Днепр и налетев на бушующий гребень, испуганно шарахнулась в сторону, беспорядочно забив в воздухе своими несуразными крыльями. Впереди бесстрашные стрижи так и чертили крылышками да ножками поверхность бешеной реки.

— До стерна, соколята! — раздался вновь зычный голос рулевого.

Московский человек опять уцепился за уключину. Его товарищ в голубом охабне с красными кистями припал к сиденью. Чайка дрогнула, колыхнулась, ткнулась носом... Днепр, казалось, звенел...

— Сурский — это два порога, — проговорил белоусый казак как бы в утешение московским людям, — а скоро Лоханский и Звонец.

Действительно, скоро миновали пороги Лоханский и Звонецкий все с такими же предосторожностями. Но впереди еще оставалось много их, и в особенности самый страшный — Ненасытец.

Днепр, при всех его ужасах, был необыкновенно красив. Этого не могли не заметить московские люди, которых служба царская бросила в качестве послов в эту чудную черкасскую сторонку. Ничего подобного этой реке они не видали в пределах Московского государства, хоть и помыслились по ней из конца в конец. Какие у них реки, особенно под Москвою! Плевые, непутящие. Еще куда ни шла Ока-река, а все не чета Днепру. Видали они и Волхов-реку в Новгороде, и реку Великую во Пскове: только и славы, что великая прозывается, а ничего в ней нет великого. Волга — это точно что великая река: велика и широка, что море; не даром о ней в песнях поют, морем Хвалынским называют; богатырская река, что и говорить — великан. Видали они и Енисей, и Обь — большущие реки, красивые, только студеные, неприветные... А все Днепр лучше, — зело хорош! Зато и страшен...

Впереди все грознее и грознее что-то ревет... И Тягинский порог пробежали, а впереди все ревет...

— А это что ревет там, пан атаман?

— То Дед ревет.

— Какой-чу дед?

— Дед. Ненасытец... У! Здоровая глотка...

— Али хуже всех?

— Да самый поганый... Такой татарюга!

Впереди показались зубчатые скалы, что грядой тянулись от одного берега Днепра до другого. Вода, теснимая каменными великанами, рвалась и кипела, чтоб снова еще с большею быстротою ринуться с высоты в пропасть. Рев был так силен, что голоса рулевых и гребцов были не слышны. Над самым порогом стоял водяной пар, и в нем искрилась и переливалась радуга...

По самому ходу чайки чувствовалось, что ее влечет необыкновенно стремительным течением. Она даже не вздрагивала — не успевала. Все рабочие ее силы — рулевой атаман, гребцы и остальные казаки — как клешни впились в длинное, с широкою лопастью правильное весло. Голоса атамана не слышно было, а видны были только его поминутно раскрывавшийся под рыжими усами рот и глаза, уставившиеся куда-то вперед, на одну точку... Точка эта — ровной проход, страшная пасть между каменными зубами: надо было направить чайку в эту пасть, в самую ее середину, чтобы не черкнуться об острые боковые камни...

Сивоусый казак, взглянув на московских людей, показал

на небо, как бы говоря: «Ну, москали, молитесь,— одна надежда на небо...»

«Москали» поняли его немую речь и упали на колени... Тихая, смиренная, хотя и грязная, Москва-река в этот момент показалась им такою дорогою, что они готовы были проклинать тот несчастный день и час, в который покинули берега своего родного священного Иордана... Для того ли они крестились в святой воде Москвы-реки, чтоб погибнуть в этой проклятой черкасской реке?.. А там у них жены, дети, сродники... Не видать им больше родной стороны...

Чайка дрогнула, оборвалась куда-то. Они попадали и закрыли глаза... Их обдало водой... «Ох! Господи! Прими дух мой с миром...»

Все пропало, всему конец, они потонули.

— Вставайте, Панове москал! Молітесь богу! Проехали Ненаситець! — раздался вдруг над ними знакомый голос.

Они с ужасом открыли глаза: сивоусый казак сидел на залитом водою сиденье и вырубывал из огнива огонь... Страшная водяная гора белелась, и пенилась, и ревела далеко позади... Только на этом водяном гребне чернелись и ныряли другие чайки, перепускавшие через страшный порог... Тут же разом они заметили, что на правом берегу реки, у самой воды и на круче, лепилось несколько шалашей и хаток, а у воды виднелись люди, махавшие шапками. У самого берега привязано было несколько маленьких лодок «душегубок», и некоторые из них, с двумя или тремя видневшимися в них человеческими фигурами, качались в воде в некотором расстоянии от берега.

Вдруг на задних чайках послышались крики. Сначала нельзя было разобрать, что кричали. Но скоро крики достигли и передней чайки.

— Заднюю чайку перевернуло!

— Байдак потопает! Спасайте, братцы!

— Спасайте, кто в бога верует!

Действительно, ниже порога, среди пенистых валов и бурунов, ныряя в воде и выныряя, чернелось потопавшее судно... Из воды то там, то сям\*показывались казацкие головы — это утопающие мужественно боролись со смертью... Опрокинувшуюся чайку вертело и несло, как щепку...

В тот же момент от берега отделились маленькие лодочки и стрелою понеслись на переем утопавшим. Иные из утопавших, более сильные и умелые, плыли им навстречу. Остальные чайки также повернули против течения и ударили веслами по вспененной поверхности реки — все спешили

спасать погибающих товарищей... Весь Днепр, казалось, покрылся чайками и маленькими, необыкновенно юркими лодочками, — «душегубками», или «дубами». Утопающие отчаянно боролись с быстрою, увлекавшею их водою. Им бросали с чаек веревки, протягивали весла, — те хватались за эту помощь и храбро держались на воде. Других течением наносило на чайки и душегубки, и они цеплялись за края, за весла. Иных, обессиленных в борьбе со свирепою стихиею и уже с трудом державшихся на воде, товарищи, нагибаясь с чаек, хватали за чуб, за сорочку и втаскивали на борт

Опрокинутая чайка была также перехвачена и прибуксирована к берегу. Вся флотилия, покончивши с вытаскиванием из воды потопавших, сбилась в кучу и также пристала к берегу. Казаки выскакивали из чаек, кричали, смеялись как дети, встряхивались, толкали друг друга, кувыркались. Иной катался колесом на руках и на ногах. Пострадавшие скидали с себя сорочки и штаны, вешали их для просушки на деревья и кусты и расстилали на камни. Тот жаловался, что у него пропала шапка, другой лишился люльки и кресала, у третьего пропали чеботы, а у иного — «і шташв чортма»!..

— Да все ли казаки целы, Панове? — опомнился московский человек, пан дьяк.

И точно, пересчитать себя казаки и забыли: шапки и чеботы считают, а все ли у них головы, — про то и невдомек.

— Ану, вражьи дети, становитесь лавою, я вас пересчитаю, — скомандовал сивоусый казак с передовой чайки, которому, наконец, удалось опять закурить свою люльку.

— Лавою, хлопцы, становитесь, лавою! — кричали сами пострадавшие и не пострадавшие.

— Становитесь все — и голые, и босые!

Все стали лавою. Сивоусый казак начал считать.

— Это голый, раз, это босый, два...

Всеобщий взрыв хохота прервал казацкого контролера...

— Это куций, раз! — хохотали казаки. — Разве мы волы?

— Да стойте, вражьи дети! — гукал на них атаман и опять начал считать, уже не упоминая голых и босых.

На последнем он остановился и руками развел.

— Овва! Одного нет... Было тридцать, а стало двадцать девять... А! Сто копанок!

— Братцы! Одного козака недостает! Пропал козак! — загалдели голоса.

— Кто пропал? Кого недостает?

— Да я вот тут! — отозвался кто-то.



— І я, хАопуJ, тутечки.  
 — Кого ж нет?  
 — А кат его знает!.. Считай, батьку, сызнава, может, и найдется козак — не пропал...  
 — Где пропасть! Козак не иголка! Не пропадет...  
 Опять началось считанье... Опять одного недостает.  
 — А матери его сто копанок чертей! Нет козака...  
 — Да кого, хлопцы?  
 — Да озовись, сучий сын, кто пропал!  
 Взрыв хохота был снова ответом на этот возглас: возглас этот принадлежал казаку Хоме, который считался в своем курене силачом, но был, на лихо себе, придурковатый.  
 — Овва, Хома! Как же он озовется, когда он пропал, утонул? — заметили несообразительному Хоме.  
 Хома только в затылке почесал... И в самом деле, как ему отозваться?  
 — Э! Да пропал Харько Лютый,— вспомнил Хома,— он еще мою люльку курил... Э! Пропала моя люлька.  
 Все оглянулись. Действительно, недоставало Харька.  
 Все лица мгновенно сделались серьезными. Казаки сняли шапки и стали креститься...  
 — Царство ему небесное, вечный покой!.. А добрый был козак... Хоть бы за дело пропал — так нет!  
 А Ненасытец продолжал стонать и реветь, как бы заявляя, что ему мало одной человеческой жертвы...

## II

В тот же день маленькая флотилия чаек достигла Сечи. Запорожская Сечь находилась в то время на острове Базавлуке, образуемом одним из днепровских рукавов, Чертомлицким, или, по выражению самих запорожцев, кош их «мешкав коло чортмлицького Дшприща». Устройство этого первого запорожского становища было самое первобытное. Самый кош, или крепость, обнесена была земляным валом, на котором стояли войсковые пушки, обстреливающие вход в Запорожье со всех сторон и в особенности с юга — с крымской стороны. Курени, в которых помещалось товарищество и их военная сбруя, сделаны были из хвороста и покрыты, для защиты от дождя и всякой непогоды, конскими шкурами. Впрочем, казаки не любили жить в куренях — их свободной казацкой душе было тесно под крышей или под каким бы то ни было прикрытием. Летом, весной

и сухой осенью они любили спать под открытым небом, на сене или на траве, на разостланной свитке или на кошке, с седлом под головою, а то и просто под деревом, под кустом, где-нибудь у воды, «на купит головою», чтоб коли ночью, после выпивки, душа загорится, так чтоб тут же была и вода — душу залить, а утром — очи промыть да казацкое белое лицо, — конечно, это так только к слову говорится, что белое, а большею частью черное, как голенище, загорелое, искусанное комарами, — так чтоб было чем и казацкое белое лицо всполоснуть. В куренях поэтому находилось только добро казацкое, а сам казак — постоянно на воздухе: ест, гуляет, спит и «громадське» дело справляет. Когда ночью казак «прокинеться» — проснется, то чтоб сразу мог узнать, сколько ночи прошло и сколько осталось. А это он узнавал легко: вечно вдали от жилья, либо в степи необозримой, либо в том лесу, либо в море, он скоро осваивался с природой, и ему нетрудно было, поглядев на небо хотя бы ночью, узнать, где полдень, где полночь. Ему помогали в этом звезды, которые были ему знакомы не хуже астрономов или вавилонских, халдейских и египетских звездочетов; он знал на небе и «4enігу», и «ВіЗ», и «Мамайову Дорогу», и «Утяче Гшэдо», и «Зжське Щеня», и «Волосожари», и «АеМіш» — и небо, как и степь, как и Великий Луг, были для него — своя сторона. Никто так не любил природу любовью поэта и мечтателя, как казак; зато никто и не знал ее так и не пользовался ею в такой степени для своих целей, как запорожец: чтоб известить невидимых друзей-казаков о своем присутствии и сбить с толку врага, отвлечь его внимание, перехитрить, уйти от него — казак пугал, как настоящий пугач, отлично куковал кукушкой, был волком, лаял собакой, брехал лисицей, ревел по-туриному и шипел по-змеиному...

Когда маленькая флотилия приблизилась к самому кошу то с передних чаек последовали три пушечных выстрела. Из коша, с крепостного вала, им отвечали тем же.

Необыкновенное зрелище представлял берег и рукав Днепра в том месте, где находилась Сечь. Весь рукав с широкими и глубокими заливами и особенно берег были покрыты лодками, чайками, дубами и байдаками всевозможных величин, но более всего виднелось походных или морских чаек. Целые десятки их были выволочены на берег, опрокинуты вверх дном и сушились на солнце, смолились или переконопачивались паклей. Дым и запах от кипящей смолы стоял над всею этою половиною острова невообразимый:

дымили и чадили десятки огромных казанов — котлов со смолою. Это был чистый ад, да и сами казаки похожи были на чертей. Они подкладывали под котлы огонь, размешивали в них смолу длинными шестами и квачами, потом смолили чайки и, конечно, были сами перепачканы смолою от головы до пяток. Так как день был жаркий, а женского пола по запорожскому обычаю не полагалось в Сечи и, следовательно, казакам «соромиться» было некого, то они большею частью занимались этою смоляною работою в чем мать родила, но непременно в шапках — знак казацкого достоинства, а иногда, вместо виноградных листьев на известных казацких частях тела — с лопухами или «лататтям», чтоб комары и мухи не кусали того, что казаку бог дал и что казаку когда-нибудь, хоть и не в Сечи, да пригодится. Иные, тоже в костюме Адама, сидели на берегу с иголками в руках и латали — чинили свои сорочки и шаровары, ибо в Сечи не было «бабьятины» и чинить казацкие прорехи было некому. Другие, наконец, купались в Днепре, мыли свои сорочки или купали коней.

Московские гости, прибывшие с маленькой флотилией, были поражены этою невиданною ими массою голого тела на берегу. Но это не помешало им видеть, какая кипучая деятельность господствовала на всем этом уединенном, удаленном от всякого человеческого жилья острове. Несколько в стороне от главной пристани стучали сотни топоров, визжали пилы, грохотали сваливаемые на берег бруссы и бревна, — это шла лихорадочная стройка новых чаек... Видно было, что казаки готовились к большому морскому походу... Московские гости теперь не узнавали этих «хохлов». Всегда такие, по-видимому, ленивые, неповоротливые, занятые только своими люльками да лежаньем на брюхе или гульней, пеньем, плясками да всякими выгадками, — они теперь, казалось, переродились, смотрели богатырями, живыми, [проворными, неутомимыми. Из рук у них ничто не валилось, все шло быстро, стройно, толково. Московские гости и глазам своим не верили: им казалось теперь, что в деле, за работой, один «хохол» трех московских людей за пояс заткнет, а четвертого на плече унесет, что с такими чертами нелегко справиться.

А там, вблизи, на лугу, слышалось ржанье конских табунов, рев скота, какие-то свирельные или сопильные звуки — это пастухи запорожских стад от скуки наигрывали на сопилках да на рожках, особенно последние звуки были необыкновенно мелодичны.

«Сказочное царство, истинно сказочное, словно я в сонии все это вижу!» — невольно думалось московскому гостю папу дьяку, при виде этого действительно волшебного царства, населенного какими-то богатырями, Гомеровскими лестригонами: «А поди ж ты! Диво, воистину диво!..»

В то самое время, когда прибывшие сверху с московскими посланцами чайки под гром пушек пристали к берегу, на крепостном валу в разных местах показались казаки с длинными шестами в руках. Но это только казалось, что они держали шесты, — это были кошевые и куренные кухари, которые держали в руках почетные значки своего благородного звания — огромные, словно шесты, ополоники — громадные на длинных рукоятках ложки, употреблявшиеся ими для размешиванья и разливанья по куренным мисам всевозможной казацкой стравы — кулешу с салом, галушек, всевозможных борщей, юшек из рыбы и всяких «пундик1в» и «ласощ». Эти казацкие яства на три, четыре, а иногда на десять и двадцать тысяч казаков варились в таких гигантских казанах — котлах, что в них буквально можно было плавать по ухе или по борщу в маленькой лодке — душегубке, а следовательно, мешать варимое в таких казанищах приходилось огромными ложками на длиннейших шестах.

Кухари, выйдя на крепостной вал, отчаянно замахали своими чудовищными ложками. У иных на ложки вздеты были шапки. Это был призыв казаков к общему кошевому обеду. Но так как иные казаки могли быть далеко от коша и не увидали бы ни махающих ложек, ни шапок, то к маханию присоединил свою громкую дробь войсковой «довбиш», нечто вроде герольда, колотивший во что-то звонкое, металлическое, а войсковой трубач заиграл на звонком рожке какую-то песню, в такт ударам довбиша и на голос известной песни: «Ей, нуте, косарП»

Увидав маханье кухарей и услышав призывные звуки довбиша и трубача, казаки оставили свою работу и толпами сыпанули до коша, на ходу справляя свой расстроившийся за жаркою работою туалет: кто накидывал на себя сорочку, кто надевал штаны, если возился с човнами в воде, а общий войсковой любимец и балагур, «Пилип з конопель», выскочив из толпы вперед и взявшись в боки, стал выплясывать под звуки призывного рожка.

С этими толпами казаков вступили в Сечь и новоприбывшие товарищи сечевиков, сопровождавшие московское посольство. За посольством на носилках несли тюки с разными московскими подарками для «низового товариства»

Необыкновенное зрелище представилось москвичам при входе их в Сечь. На обширной равнине, обнесенной земляными валами, огромным четырехугольником расположенными были длинные, плетеные из хвороста и обмазанные глиной, невысокие постройки, сверху камыша покрытые конскими шкурами. Таких построек насчитывалось более сорока. Это были курени — бараки, или казармы «низового товариства», носившие каждый особое название. По этим куреням делилось и все Запорожское войско, как по полкам или по бригадам. В старшины каждого куреня избирался «отаман», или «курений батько». «Куржш отамани» вместе с «кошовим» составляли войсковую старшину, которая находилась под беспощадным контролем всего товариства и в то же время сама в пределах своей временной должности, особенно в военное время, пользовалась диктаторской властью.

Теперь, при входе московских послов, вся громадная площадь между куренями представляла поразительную картину. В разных местах, со всех четырех сторон, дымились и чадили костры и горны, по числу куреней, — это были куренные печи, изготавливавшие «страву» разом тысяч на пять или на десять казацких ртов. Над горнами висели громаднейшие котлы, несколько сажен в окружности, хлопотавшие подобно адским котлам и распускаявшие по всей Сечи неизобразимый пар и запах от кипящих в них — либо галушек, величиною в малый кулак каждая галушка, либо кулешу, или каши с салом, либо ухи из тарани, сомины, окуней, осетров и всякой рыбы, какая только водилась в Днепре и по ближайшим плавням. Там чадили на огромных вертелах поджариваемые огнем бараны, сайгаки, дикие кабаны, волы и целые громадные дикие туры. Около котлов и вертелов возились, жарясь на адской жаре, войсковые кухари и их всевозможные помощники — дроворубы, водоносы, пшеномои, крупосевы, салотовки — специалисты по толчению соленого свиного сала для каши и галушек, резники, хлебопеки, хлебодары и всевозможные мастера кухарского дела.

На разостланных по всей площади в бесчисленном множестве пологах, конских и воловьих шкурах, на досках и просто на траве лежали горы хлеба, приготовленного для обеда войску. Тут же стояли на земле сотни огромных деревянных солонок. Ни ножей, ни вилок, ни столов, ни скатертей, а тем менее чего-либо похожего на салфетки или рушники и в завете не было; была только голая земля или трава,

а на ней — горы хлеба и сотни солонок. Не было даже ложек; ложка и нож имелись у каждого казака и носились или у пояса вместе с прочим боевым оружием, или в глубочайших карманах широчайших штанов, в которых равным образом хранились кисеты с табаком, люльки и огниво со всеми принадлежностями.

Казаки, наскоро придевшись, вынув ложки и ножи, рассаживались кругами вокруг солонниц и гор хлеба, также наскоро крестились «на схід сонця», брали по караваю, намечали на его горбушке ножом крест и резали его на богатырские ломти для себя и для товариства. Все садились по-казацки или скорее по-восточному — «навхрест ноги» — и вытирали ножи и ложки либо о траву, либо о штаны и рукава сорочки; усы подбирали кверху или закидывали за плечи, у кого были богатырские усы — «вуса мов ретязь», чтоб они не мешали казаку есть.

Между тем толпа кухарей с помощью своих громадных шестов-ложек наливали из кипящих котлов в огромные, иногда в сажень в обхвате, деревянные мисы готового кушанья: кулеши, жидкую пшеничную кашу с салом или галушки, тоже с салом, конечно, в скоромные дни, уху из рыбы, борщ из щавельной зелени, и тоже с салом, а то с сухой рыбой, с лещами и таранью, — и на огромных шестах разносили их по казацким кругам. И тогда начиналась войсковая еда — обед нескольких тысяч человек на воздухе, под открытым небом. Сперва протягивал ложку в общую гигантскую мису атаман, зачерпывал «страву», чинно нес ложку ко рту, поддерживая ее куском хлеба, чтоб на себя не капнуть, и чинно же, медленно, «поважно», опрокидывал ложку под богатырские усы, медленно же и «поважно» пережевывал хлеб и не спешил глотать, чтоб товариство не подумало, что он торопится, жадничает, и не сказало бы: «Глита, як собака». Затем так же медленно и «поважно» утирал рукавом, а то и хусткою, усы и снова кусал хлеб. За «батьком отаманом» тянулся с своею ложкою к мисе тот казак, который сидел по левую его руку; за этим тянулся третий казак к мисе — третья левая ложка — и подобно тому, как солнце ходит по небу от востока к западу, так ходили и казацкие ложки вокруг мисы, пока очередь не доходила опять до батька отамана». Когда миса опорожнялась, кухари вновь наполняли ее, пока не была съедана вся «страва», ибо по казацкому обычаю надо было непременно съесть все, что <>ыло наварено и напечено. Затем, после галушек, борщей и кулешей или после толченого лука с водой и солью, кухари

волокли на широких досках «печене» — жареных на вертелах кабанов, баранов, волов, туров и сайгаков. «Печене» тут же разрубали топорами или «р!зницькими» ножами на куски, солили пригоршнями соли и разбирали по кускам. При этом сердце животного отдавалось «батьков! отаманов!» для того, «щоб добрий був до СВОИХ дітей-козаків і мав гаряче серце до ворогів», а легкое делилось между всеми казаками, «щоб козак легенько бігав против татарви і був легкий на воді і на Морі».

Зрелище это поразило московских гостей, которых запорожская старшина пригласила к своему войсковому обеду. В самом деле — тысячи народа, самая лучшая половина мужского населения, все молодцы на подбор, отбились куда-то далеко от своего края, от отцов и матерей, часто от жен, детей и невест, от всех семейных радостей, — и засели в недоступной глуши, на краю, так сказать, света, где кончается «мир хрещений» и где начинается сторона бусурманская, чужая вера, чужие люди, злые враги. Эти отбившиеся от человеческого жилья люди основали какое-то могучее гнездо — и соседним царствам приходится считаться с буйными вылетками из этого гнезда; с ними считаются и их боятся и Польша, и Москва, и Крым; перед ними заискивают и волошские господа, и седмиградские князья, и сам римский император.

Вот и ныне Москва, едва выпарапавшись из-под польских и шведских тисков и кое-как отмахавшись от всевозможных самозванных царей, цариков и «воров» первым долгом сочла прислать посольство к этим сынам пустыни, чтоб известить их о призвании на свой престол настоящего царя, не самозванного, а всем известного боярина — Михаила Федоровича Романова, и просит панов казаков, чтоб впредь они к воровским царикам не приставали и на московского государствования превысочайший престол всяких «псов» не возводили, как возвели они своею помощью на этот престол проклятого Гришку Отрепьева.

Московские посланцы явились в Сечь с милостивою грамотою от юного царя. После обеда собрана была войсковая рада для выслушивания грамоты. Когда послы входили в казацкий круг, то войсковые трубачи затрубили в трубы, многие из молодцев, хватив лишнее за обедом, разбрелись было спать — кто в тени куреней, кто под деревом, кто просто на траве; но есаулы тотчас же подняли их киями, называя «сучими дітьми», и «су4і діти», почесываясь и пожевывая, должны были идти слушать московскую грамоту.

Когда рада собралась, московский посол, или, как его называли казаки, пан дьяк, державший в руках небольшой ящичек, обитый малиновым бархатом, открыл его, и в нем оказалось что-то завернутое в зеленую тафту. Затем, сняв шапку, он обратился к стоявшей около него казацкой старшине.

— Есть до вас, войска Запорожского, до кошевого атамана, старшин и казаков от великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси, его царского величества, милостивое слово, и вы бы, то слово слышачи, шапки сняли! — провозгласил он торжественно.

Старшина сняла шапки. За старшиною сняли и казаки. Обнажился целый лес голов со всевозможными большими и малыми чубами.

— Божиею милостию, — продолжал посол, — великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всеа Руси, вас, Запорожского войска кошевого атамана, старшин и казаков жалуя, велел о здоровье спросить: здорово ли есте живете?

— Спасибо, живемо здорово, — отвечала старшина в один час.

Посол развернул зеленую тафту, вынул оттуда царскую грамоту. Он ее так бережно вынимал, как бы боялся обжечься от одного прикосновения к страшной бумаге.

Казаки наодвинулись, желая видеть диво, привезенное «москалем».

— Что-то маленькое, — слышались тихие замечания в толпе.

— Эге! Маленькое — да велика в нем сила...

Посол передал грамоту старейшему из атаманов, потому что на тот час в Сечи кошевого не имелось и его должны были избирать теперь же.

Атаман, взглянув на грамоту и повертев ее в руках, как нечто страшное, непонятное для него, передал ее стоявшему около него немолодому, понурому казаку с чернильницей в поясе и «каламарем» за ухом. То был войсковой писарь (тецко, прозвищем Мазепа, отец будущего знаменитого гетмана и противника царя Петра.

Мазепа взял грамоту, привычными руками развернул и глянул на титул и на печать.

— Печать отворчата, без подписи, — проговорил он, взглянув на посла.

— Точно, без подписи, — отвечал посол.

— А как ей верить? — спросил Мазепа.



— Все едино, что и с подписью.  
— А мы не верим,— возразил писарь.  
— Не верим! Не верим! — раздались голоса в толпе.  
— Это не грамота! Это казна-що! Тьфу!  
— Это москаль сам нацарапал, чтоб нас одурить!  
— Го-го-го! Не на таких наскочил! Киями его! — ревели громада.

Посол, видимо, оторопел. Он растерянно глядел то на писаря, то на бушующую громаду с расвирепевшими лицами и отверстыми, кричащими глотками, то на старшин... Старшины видели опасность положения... Искра недоверия брошена... Надо потушить пожар, а то того и гляди начнется свалка, кровопролитье...

— Послушайте меня, панове молодцы, вельможная громада! — закричал, подняв кверху шестопер, один из старших куренных атаманов с добрым худым лицом и добрыми, ласковыми черными глазами.

— Петр Конашевич говорит! Послушаем, хлопцы!  
— Сагайдачного слушайте! Сагайдачный говорит!  
— Пускай Петро Конашевич-Сагайдачный слово скажет!  
Он до черта мудрый!

— Слушайте, сто копанок чертей, вражьи дети!  
Буря голосов разом смолкла. Все ждали, что скажет Сагайдачный, которого очень уважали казаки.

— Панове молодцы, вельможная громада,— тихо начал Сагайдачный,— пускай сам его милость посол скажет, кому они как пишут и какие у них порядки: кому какая печать под грамотою, кому подпись... Вот и вы, здоровы будьте, коли часом кого приветаєте, то не всех одинаково: коли батька старенького, либо мать-старуху,— то так, коли своего брата козака,— то иначе, а коли дивчину — то еще иначе...

— Добре! Добре! — загудела громада.— Отаман правду говорит...

— Где не правда! Разве ж мы дивчину так привитаем, как козака!

— Эге! Дивчину зараз — тее-то... женихаться... у пазуху тее...

Посол несколько оправился. Он знаками поблагодарил Сагайдачного и поклонился громаде, которая начинала ему казаться страшною.

— Его милость атаман Сагайдачный истинно говорит,— начал он дрожащим голосом,— у нас, господа казаки, грамоты его пресветлого царского величества бывают разны; коли великий государь пишет королю польскому, либо це-

сарю римскому, либо султану турецкому, то печать под грамотою бывает большая, глухая, под кустодиею с фигуры, и подпись дьячья живет на загибке, а кайма той грамоты и фигуры живут писаны золотом, и богословие и великого государя именование по реч и и н ы х — писано живет золотом же, а дело — чернилы. Это — коли великий государь пишет равному себе государю. Коли не государю пишет, а, примером, воеводам, либо казакам донским, либо Запорожскому славному войску — так печать живет не глухая, а отворчата, и дьячьи подписи на ней не живет, а токмо титуло царское все прописывается... А титуло царское — великое дело...

Казаки молчали. Казалось, слова посла и его поклон утомили горячие головы вольницы. Сагайдачный дал знак писарю, чтобы тот читал грамоту. Мазепа откашлялся в кулак и начал высокою нотою:

— «Божиею милостию, от великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича, всеа Руссии самодержца и многих государств и земель восточных и западных и северных отчича, и дедича, и наследника, и государя, и обладателя...»

— погоди, пан писарь, не так прочел,— остановил чтеца посол.

— Как не так? — удивился последний и глянул в грамоту.— Так, государя и обладателя...

— Не обладателя, а облаадателя — обла-адателя,— повторил посол,— два а з а...

— На что два аза? И одного довольно,— изумлялся писарь.

— Да ты прочти: там два аза живет: облаадателя...

Писарь снова глянул в грамоту и пожал плечами.

— Так, два... Да на что оно два?

— Так от старины повелось, что в царском титуле облаадателя с двумя а за м и писать... В сем азе великая сила сокровенна... Коли в царском титуле, в именовании великого государя, пропискою один аз прилучится, и за ту прописку велено казнить безо всякия пощады и дьяка, и писца — дьяка бить батоги нещадно, а писцу ноздри рвать... А коли прилучится сия прописка в титуле великого государя от иного государя либо короля, и та грамота не в грамоту, и за ту прописку великий государь войною велит итить на прописчика...

Писарь недоверчиво глянул на старшину.

— Читай, пане писаре, два а з а,— внушительно сказал

Сагайдачный,— разве ты не знаешь, что на нас, на матку нашу Украину, поднялись и ляхи, и ксендзы, и сам папа и шарпают Украину, мордуют наших попов и берут наши церкви за то только, что мы, православные, не приемлем их другого а з а в «Верую», не говорим: «От отца и с ы н а исходяща», а только «от отца...». Это и есть наш а з... Так и у них...

Все с глубоким вниманием слушали эту простую, всем вразумительную речь своего «мудрого дядьки», как иногда называли Сагайдачного. Московский же посол, по-видимому, проникался к нему все большим и большим уважением и удивлением.

И Мазепа остался доволен толкованием Сагайдачного. Так, так, утвердительно кивнул он головой и, снова опустив глаза на грамоту, продолжал:

— «...государя и облаадателя, войска Запорожского кошевому атаману, кому ныне ведати належит, и всему при нем будущему войску наше, царского величества, милостивое слово. В прошлых годех, божием поущением и диаволовою гнүсною прелестию, бысть в Российском царстве смута и кроволитье великое и сотворися на Москве и во всем Московском государстве пакость велия: безбожный и богоненавистный прелестник, исчадие ада и сатанин внук, вор и черно книжник и расстрига Гришка Отрепьев, извеся гнүсный язык свой, дерзновенно назвался царевичем Дмитрием, сыном государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа России, и с помощью польских и литовских людей в наш престольный град Москву взбежал и на превысочайший Российского царствия престол аки пес вскочил, а за ним другие воры и злодеи, похищая царское имя, на тот превысочайший престол скакали ж. Вы же, войско Запорожское, по злым, смутным прелестям тех псов, не ведая их лукавства, им подлегли и на царское место им наскакать с польскими и литовскими людьми неведением своим помогали ж и всякое дурно Московскому государству чинили многажды. А ныне Московское государство божиею помощию от польских и литовских людей и от оных псов и самозванцев свободно, а мы, наше царское пресветлое величество, волею божиею и хотением и молением всея российския земли всех чинов людей, на превысочайший Российского царствия престол законно вступили и о сем вас, войско Запорожское, известуем. Еще же вас, войско Запорожское, нашим, царского величества, словом наставляем, чтобы вы, памятуя бога, и души свои, и нашу пра-

вославленную крестьянскую веру и видя на нас, великом государе, и на всем нашем великом государстве Божию милость и над врагами победу и одоление, от таковых, бывших в прошлых годах, непригожих дел отстали и снова кроворазлития в наших государствах не всчинали, тем души своей и тела не губили, во всем нам, великому государю, челом бы били и с нами в любопытстве и мире жили, а мы, великий государь, по своему царскому милостивому праву вас пожаем таковым жалованьем, какова у вас и на уме нет. И тебе б, кошевому атаману, кому ныне ведати належит, и всему будущему при тебе войску ни на какие прелести не прельщатца, а также и иных атаманов и старшин, которые еще не во обращении с вами, к нашему царскому величеству в союз и любительство проводить и нашу, великого государя, нашего царского величества, милостию их обнаживать, чтоб быть им с вами, Запорожским войском, в совете и против неприятелей стоять вопче. А служба ваша у нас, великого государя, нашего царского величества, в забвении никогда не будет. Писан в государствах нашего дворе, в царствующем граде Москве, лета от создания мира 7122-е, месяца марта в 31 день».

Писарь кончил. Громада молчала; никто не смел первым подать голос насчет того, что было прочитано; надо было обсудить целою громадою, черною ли радюю, или «атаманьем», или же всею чернью и старшиною вместе.

Между тем посол вынимал из тюков привезенные для войска царские подарки и картинно бросал их на разостланные кошмы, как бы нарочно дразня глаза казаков яркими цветами разных камок куфтерей, да камок кармазинов, крушчатых и травных, камок адамашок, да бархату черленого кармазину, да бархату лазоревого, да бархату таусинного, да бархатов рытых, да портищ обьярей золотных, да отласцев цветных, да косяков зухей анбурских...

А сукон на казачьи шапки! И сукон красных, что огонь, и сукон шарлату черленого, и сукон багрецовых, и сукон настрафилю, и сукон лятчины...

— У! Матери его сто копанок чертей, какие ж славные сукна! — раздалось невольное восклицание; море голосов заревело и как бы затопило всю площадь...

На другой день в Сечи было необыкновенно шумно: происходило избрание нового кошевого и вместе с тем гетмана для предстоявшего морского похода. Последний гетман и кошевой, креатура и сторонник поляков, желавший вести казаков на помощь полякам в войне и с Москвою, тогда как казаки желали «погулять по морю» и Цареград «мушкетным димом окурить», — был до полусмерти избит киями со стороны этих рассвирепевших детей своих и утоплен в Днепре.

Волнение было страшное. Слышалась ужасная ругань, крики, то и дело звенели сабли — это уже пускали в ход самые сильные доводы — кулачные и сабельные удары, рукопашный бой и угрозы кого-то «утопить», кого-то «забить киями, як собаку», кому-то «кишки выпустить»...

Московские послы боялись выходить из куреня, в который их поместили, и издали смотрели и слушали, что происходило на площади. Площадь, действительно, представляла бурное море. Слышно было, что войско разделилось на партии, и каждая партия выкрикивала своего кандидата.

— Старого Нечая! — слышалось в одной группе.

— Небабу Филона! — ревела другая. — Небаба козак добрый!

— К бесу Небабу! Сто копанок ему чертей! Нечая!

— Небабу!

— Небабу! Небабу, сто копанок чертей! Небабу!

Небаба видимо побеждал своих противников. Он стоял в стороне и, моргая сивым усом, спокойно закуривал «гаспидську люльку».

А там уже шла драка: сторонники Нечая схватились со сторонниками Небабы и уже скрещивались саблями.

В это время выступил забытый крикунами Петро Конашевич-Сагайдачный. Худое лицо его казалось бледнее обыкновенного, хоть и носило на себе следы загара и всевозможных ветров, а глаза из-под нависших черных, тронутых сединою бровей смотрели, казалось, еще добрее.

— Вельможная громада! — раздался вдруг его здоровый, как бы не вмещавшийся в худом теле голос. — Послушайте меня, старую собаку, братчики!

— Сагайдачный! Старый Сагайдак! — покрыли его голос другие голоса. — А ну, что он скажет!

— Сагайдачный! Сагайдачный, братцы! Послушаем, что Сагайдак скажет!

— Он говорит, как горохом в очи сыплет.

Эти окрики и своеобразные похвалы оратору — вроде «горохом сыплет» — действовали на буйную толпу. Всем хотелось слышать, как человек словами точно «горохом сыплет»: это были дети — порох, который вспыхивал от одной искры кремня и также мгновенно потухал.

— Что, хлопцы, краше: лапти московские или чеботы-сафьянцы турецкие? — вдруг озадачил их вопросом Сагайдачный.

— Чеботы! Чеботы-сафьянцы! — отвечали некоторые.

Толпа надвинулась ближе — так интересна была речь Сагайдачного.

— И мне сдается, чеботы, — подтвердил оратор.

— Да чеботы ж, батьку! Хай им тряся, московским лаптям!

— Добре, дети, — продолжал оратор, — чеботы так чеботы... А какая, братцы, вера бусурманская?!

— Турецкая, батьку! — обрадовались хлопцы, поняли оратора.

— А неволя какая, детки? — допытывался оратор.

— И неволя турецкая! — закричало разом множество голосов. — Неволя турецкая, разлука христианская. Вот так старый Сагайдак! Как в око впел! — радовались казаки.

— А кто, детки, в турецкой неволе? — продолжал Сагайдачный.

— Да козаки ж, батьку, да наши дивчата.

— Добре. А московской неволи нет?

— Да еще, кажись, не было такой.

— А чайки у нас на что поделаны? В Москву плыть?

Казаки даже рассмеялись, — такую дикою казалась им эта мысль плыть в Москву, где и моря нет, а только леса да лапти.

— Нет, батьку, чайки у нас на татарву да на турецчину!

— И сабли, и самопалы?

Более горячие из казаков тотчас же поставили вопрос на прямую дорогу.

— Так пускай Сагайдачный и ведет нас в море! — раздались голоса.

— Долой Небабу! Долой Нечая! Долой Мазепу! Пускай Сагайдак отаманует!

— Сагайдачного! Сагайдачного, братцы, выберем!.. Пускай он панует!

— Сагайдачному булаву! До булавы надо голову; а у него голова разумная, добрая!

— Сагайдачного, братцы, сто копанок чертей! — подтвердил и сам Небаба. — На что лучшего!

— Сагайдак! Сагайдак! Го-го-го! — заревела, как бы осатанев, вся площадь, и шапки, словно тучи испуганных птиц, полетели в воздух.

Избрание Сагайдачного таким образом состоялось: метание вверх шапок было знаком, что этого требует народная воля — поворота для избранного уже не было.

Сагайдачный стал было кланяться, просить, чтобы его освободили, говорил, что он уже стар, недобачает, и булаву в руках не удержит... Ему тотчас же пригрозили смертью.

— В воду его, старого собаку, коли не берет булавы! — раздались нетерпеливые голоса.

— Кияками его, мат-тери его хиря!

Как ни обаятельна и ни заманчива власть вообще, но власть над казаками было дело страшное, и ни для кого не было так тяжело бремя власти, как для казацкого батька — для кошевого или для гетмана. Они по справедливости могли сказать: «О, тяжела ты, булава гетманская!» Уже самый процесс избрания был сопровождается такими подробностями, которые могли испугать всякого, даже далеко не робкого. Уж коли кого казаки излюбили и обрали на атаманство — так повинуйся, а то сейчас же проявит себя народная воля — или киями забьют до смерти, или в Днепре утопят. А принял булаву, покорился — выноси личные оскорбления и всякие казацкие «вибрики» и «примхи»: новоизбранного диктатора и сором обсыпают с головы до ног, и грязью лицо ему мажут, и бьют то в ухо, то по шее, чтоб он помнил, что народ дал ему власть и что народ может и взять ее обратно у недостойного. Зато, когда весь обидный процесс избрания кончен, кошевой становился в полном смысле диктатором: казаки трепетали от него. Он вел их, куда хотел: ему повиновались беспрекословно, но зато всякая неудача падала только на его голову — он за все был в ответе. Оттого редкий кошевой кончал собственной смертью.

Сагайдачный очень хорошо знал эту страшную ответственность власти, как равно и неизменность народной воли — и с решительным мужеством поднимал голову.

— Пусть будет так, вельможная громада, я принимаю войсковые клейноды: на то воля божия, — сказал он и поклонился на все четыре стороны.

Опять туча шапок полетела в воздух. Послышались неистовые возгласы:

— На могилу нового батька! На могилу кошевого!  
— На козацкий престол нового кошевого! Пускай высоко сидит над нами!

— Вozy давайте! Землю на могилу копайте!

Московские послы, слыша эти возгласы, никак не могли понять их значения и с изумлением переглядывались: зачем могила? Кому копать могилу? Разве старому кошевому? Так его нет уж — утопили в Днепре, как щенка...

Откуда ни взялись возы, влекомые самими казаками что за диво! Возы очутились в середине казачьего круга. Казаки, поставив их по два в ряд, опрокинули вверх колесами.

— Пускай так догоры ногами Орду ставит!

— И турецчину!

— И ляхов догоры пузом!

И казаки, вынудив из ножен сабли, стали копать ими землю, где кто стоял. Землю набирали в шапки, в припопы, тащили к возам и бросали ее на возы, как бы засыпая покойника в яму. Эта мысль бродила и в голове Сагайдачного, который с Мазепой и куренными атаманами стоял в стороне и задумчиво смотрел, как казаки засыпали возы землею. Ему вспомнилась кобзарская дума, в которой жалобно поется, как казаки своего брата-казака, убитого татарами, «постріляного-порубаного», в степи хоронили, закрыв ему глаза «голубою китайкою», как они острыми саблями «суходіл копали», и эту землю шапками и припопами таскали, и своего бедного товарища засыпали...

Горькое чувство сдавило ему сердце. Перед его глазами как бы разом пронеслась картина его бурной казачьей жизни, которая всеми своими кровавыми сцепами не могла вытеснить из его души далеких светлых воспоминаний детства — белую отцовскую хату в Самборе, добрые, ласковые глаза матери, высокие, серые с темною зеленью горы, беленькую церковку, где он своим юным, свежим голосом подпевал дьячкам на клиросе, а потом в качестве молодого рыбалты<sup>1</sup> читал апостол... Вспомнился ему почему-то и польский коронный гетман, гордый воевода Жолкевский, тогда еще молодой паньч, но и тогда гордый, надменный... Вспомнились и жгучие минуты мимолетного счастья... А теперь он вон в какой славе! Какую высокую могилу для него копают! А смерть за плечами...

Дьячок, псаломщик (пол.)



А насыпь росла все выше и выше... Вон уже казаки, смеясь, болтая, толкаясь, с трудом взбираются на нее, таская землю шапками и приполами и насыпая все большую могилу...

— Выше, выше насыпайте, хлопцы! — болтали казаки. — Пускай будет высокая могила, чтоб с ветром говорила.

— Сыпьте, сыпьте, Панове, козацкую славу! Пускай растет козацкая слава!

И Сагайдачному думалось, что это растет слава — его собственная слава... Но как она всегда поздно вырастает! — большею частью на могиле. Так и его, Сагайдачного, слава только теперь вырастает из земли, когда уж он сам смотрит в землю... ляжет в землю — так она еще вырастет — по всему свету луною пойдет...

Но вот могила готова — высокая могила! Выше всех могил, какие насыпались прежним гетманам и кошевым. Казаки утаптывают ее ногами, вытряхивают последнюю пыль из шапок и приполов, надевают шапки и сходят на площадь, становясь по-прежнему в круг.

Писарь обращается к новоизбранному и к куренным атаманам.

— Час, Панове, новому кошевому на престоле сесть, — говорит он, кланяясь старшине.

— Идите, батьку закон брать, — обращается старшина к Сагайдачному.

Сагайдачный всходит на могилу и садится на самой верхушке кургана. Высоко сидит он! Далеко оттуда видно нового кошевого!

— Здоров був, новий батьку! — слышались голоса из толпы. — Дай **Тобі**, боже, лебединий **ВіК** та журавлиний крик!

— Чтоб тебя так было видно, как теперь, коли с врагами будем биться!

Между тем кухари подмели полы в куренях, вымели сор на площадь и сложили его в огромную, плетеную из лозы корзину — кош. Потом подняли кош на плечи и втащили на могилу, к тому месту, где сидел Сагайдачный. Новоизбранный кошевой сидел, как истукан, задумчиво глядя, как Днепр катил свои синие воды к далекому морю.

Кухари подняли корзину над головою нового кошевого. Сагайдачный закрыл глаза...

— На щастя, на здоров я, на нового батька! — воскликнули кухари и опрокинули весь бывший в корзине сор на

голову своего нового диктатора. — Дай Тобі, боже, журавлиний крик та лебединий вїк!

— На щастя, на здоров'я, на нового батька! — громом повторили казаки.

Тогда писарь взошел на курган и поклонился обсыпанному сором кошевому.

— Как теперь тебя, пане отамане, осыпали сором, так во всякой невзгоде и взгоде обсыпят тебя козаки, словно пчелы матку! — сказал Мазепа торжественно.

Тогда на курган толпами полезли казаки и стали делать с новым батьком, что кому в голову приходило. Иной мазал ему лицо грязью, другой дергал за чуб...

— Чтoб не гордовал над нашим братом козаком! — пояснял один.

— Чтoб был добр до головы! — объяснил другой.

— Чтoб вот так бил татарву да ляхов, как я тебя бью! — заявлял третий, колотя взашей своего батька.

Наконец Сагайдачный встал и, весь в пыли и грязи напутствуемый добродушными криками своих «діток» направился в свое помещение.

Через несколько минут он вышел оттуда переодетый на чисто, вымытый и с булавою в руках. За ним вынесли другие войсковые клейноды...

Казаки присмирели, как пойманные на проказах дети: теперь одного мановения руки нового батька достаточно было, чтоб у любого казака слетела с плеч голова...

Сагайдачный объявил поход в море... Восторгам казаков не было конца...

#### IV

Во всей истории России, как Великой, так и Малой — с одной стороны, и Польши — с другой, не было момента более рокового, как та четверть века — конец XVI и начало XVII столетия, — в пределах которой вращается наше повествование.

В это время Польша была самым могущественным и самым обширным государством во всей Европе. На востоке линия ее владений шла от Лифляндии и почти от Пскова, захватывая так называемый Инфлянт с Полоцком, Витебском и Оршею, проходя почти мимо Смоленска и Красного, а оттуда почти вплоть до Сум, а далее мимо Северного Донца, вплоть до устья Дона и Азовского моря. Все, запад-

нее этой линии, фактически было Польшей: Белая Русь, Черная Русь, Малая Русь, Червонная Русь, так называемые Вольности Запорожские, Подол, Волинь, Подлясье, или Подляхия, и сама Польша — вот что вмещалось в этом гигантском роге изобилия, который назывался Речью Посполитою и из которого, по национальному девизу, должны бы были сыпаться на входившие в состав Польши страны величайшие для людей блага — «рувносць», «вольносць», «неподлеглосць». На юге линия эта граничила с владениями Османской Порты и ее вассальных государей. С запада и севера Польша почти не знала границ — и Саксония, и Швеция прикрывались, можно сказать, польскою государственною мантиею, и короли их нередко шли под польскую корону, как некогда новобранцы под «красную шапку». В этом океане «польщизны» герцогство Пруссия с тогдашними Вильгельмами и Бисмарками торчало как ничтожный островок, который, казалось, совсем зальется польским морем. Взгляните на карты тогдашнего времени, и вас поразят очертания польского королевства — в этой какой-то размахистости границ его было что-то страшное, внушающее.

Внутри этого рога изобилия самый внутренний строй представлял собою, казалось, несокрушимые гарантии вечного довольства и счастья. Каждый благородный лехит имел право быть первым лицом в государстве — «крулем» над равными себе «крулями» и простыми смертными, если только личные дарования, ум и заслуги ставили его головой выше над всеми другими лехитами — магнатами и немагнатами: каждый из них носил у себя в «кишен<sup>1</sup>» или под черепом наследственную корону, — и из «кишеш», и из-под черепа она могла очутиться на его даровитой голове, если она была таковою. Лехита не удивишь, бывало, королем: «я сам могу быть крулем», говорил он — и это не была простая фраза. Каждый король знал это и был первым слугою своих подданных... Для образованного поляка высшая европейская культура была доступна, и он черпал из нее все, что в ней было лучшего. Польша шла в уровень с Европою и во многом, — например, хотя бы в применении гражданской свободы, — далеко оставила ее за собою. Замоиские, Радзивиллы, Жолкевские и целые ряды их современников могли считаться лучшими европейцами в лучшем и благороднейшем значении этого слова, европейцами не по образованию только, а убеждениями и делами своей жизни. Ян Замоиский, например, был ректором Падуанского уни-

верситета, одного из самых ярких светочей тогдашней науки, а дома носил титул и портфель канцлера королевства...

Перечислять все признаки высшего развития тогдашнего поляка — это значило бы изображать то высокое развитие, до которого достигла тогда Европа, имевшая уже и Шекспира, и Тасса, и Данте, и Камюэнса...

Ополячение всего, что входило в очерченные выше границы, шло неимоверно быстрыми шагами — ополячение веры, обычаев, одежды, образа жизни, языка... Я не говорю о русских Московского государства — это особая статья: — меж «москалями» и поляками были свои исторические счёты. Но «хохлу» пока еще не за что было не любить поляка — и он любил его, верил ему, подражал ему, и сам становился поляком с головы до ног, даже более поляком, чем настоящий, «уродзона́ый» поляк, *plus royal que roi*; такими стали «хохлы» Жолкевские, Ходкевичи, Тышкевичи, Вишневецкие, Сапеги, Пацы — столпы польской аристократии во все последующие века...

Одним словом, поляки сделали громадные завоевания — и духовные, и территориальные...

Но Польша изменила одному из главных принципов своей государственности — свободе и через это лишилась свободы сама; она захотела отнять эту свободу у «хохлов», у хлопков; она насилем хотела ускорить ополячение в крае, окатоличивание «хохлов» — и эти «хохлы» погубили ее, ибо насилие в конце концов всегда убивает насилующего вместо насилуемого.

Перед нами замок князей Острожских, знаменитых в истории просвещения Руси своим покровительством типографскому делу. Замок этот величественно высится над красиво извивающеюся Горынью и господствует не только над всеми зданиями и церквами Острога, но и над целым всхолмленным краем с его красивыми рощами и дремучим бором, растянувшимся на десятки верст. Башни замка, попеременно с высокими тополями, гордо тянутся к небу, а почерневшие крыши и зубчатые стены с узкими прорезьями, узкие, неправильно расположенные окна, тяжелые массивные ворота под башнями, кое-где торчащие черные пасти пушек в ственных прорезях — все это действительно напоминает мрачный острог, в котором томятся люди в ожидании казни.

Но внутри этого мрачного детища средних веков было далеко не то. Снаружи — все грозно, мрачно и неприступно для неприятеля, которым в то откровенное время мог быть

всякий сосед; внутри — роскошь, блеск, грубое, бросающееся в глаза богатство и такое же грубое, широкое радушие для дорогих гостей, которые, может быть, недавно были врагами.

Особенно был знаменит своим гостеприимством этот замок при отце настоящего его владельца — при князе Василии-Константине Острожском, за восемь лет перед этим скончавшимся почти столетним стариком. Тут в мрачных, но ярко освещенных залах или среди зелени замкового сада пировали и короли польские, и знатнейшие магнаты «золотого века» этого блестящего «лицарства»; по целым месяцам гостили и иностранцы из всех стран света, и высшие духовные сановники Рима, и знатные духовные лица Востока; тут, среди гостей, можно было видеть и князя Курбского, первого русского эмигранта и врага Грозного-царя, и ораторствующего польского Иоанна Златоуста, знаменитого иезуита Петра Скаргу; тут терлись среди вельможных гостей знаменитые в истории нашего «смутного времени» иноки Варлаам и Михаил; промелькнула и загадочная фигура молодого рыжего чернеца с бородавкой, оказавшего впоследствии якобы московским царевичем Димитрием.

Обнесенный мрачными стенами с башнями, обширный замок составлял как бы особый город с великолепным палацом, официнами и множеством других зданий для дворцовой шляхты, для музыкантов, типографщиков и для целой стаи гайдуков, доезжачих, лакуз и всякой дворовой челяди. К главным воротам замка, украшенным массивным позолоченным гербом князей Острожских, вела широкая аллея, обсаженная роскошными пирамидальными тополями. Княжеский палац стоял на горе фасом к Горыни, а от широкого крыльца и крытой с колоннами галереи по полугоре раскинут был внутренний замковый сад, украшенный дорогими растениями местной и тропической флоры, из-за которых белелись мраморные статуи прекрасной итальянской работы, грациозно выглядели изящные павильоны и киоски. Слышался неумолкаемый плеск фонтанов, шум искусственных водопадов, низвергавшихся с серых, проросших зеленью скал, нагроможденных руками почкорных пеласгов-хлопов...

Внутри палац блестел пышною, подавляющею роскошью. Горы золотой и серебряной посуды, расставленной на обтянутых малиновым бархатом полках в виде амфитеатра, дорогое оружие, покрывающее стены, олени и туры рога,

шкур и чучел медведей, стоящих на задних лапах и держащих передними лапами массивные серебряные канделябры, живописные изображения на стенах главнейших видов в бесчисленных, рассеянных по всей Украине княжеских майонтках<sup>1</sup>, яркие горящие золотом и серебром образцы чеканного искусства, дорогие, словно усыпанные живыми цветами ковры, блестящие и ослепляющие золотом и серебряною мишурой гайдуки и пахолки, как бы составлявшие часть дворцовой утвари и мебели,— все это поражало глаз, давило массивностью и грубым эффектом, било по нервам, если только таковые полагались в то сангвиническое время...

В замке гости. После роскошного обеда ксенже Януш, владелец этого чудного палаца, пригласил своих вельможных сотрапезников на галерею подышать свежим воздухом. На галерее между зеленью расставлены столы и столики, унизанные батареями фляжек и покрытых мохом бутылок старого венгржина, мушкателя, мальвазий, ревул, аликантов и других всевозможных вин и медов. Турьи рога на ножках и массивные стопы опоражниваются, *ad maiorem Dei Poloniaeque gloriam*, по мере наполнения их прислуживающею вельможным гостям благородною шляхтою... Хлопов здесь нет, а все свой брат — уродзоны поляк, и потому панство может говорить откровенно... Гайдуки и пахолки сидят теперь по официнам и тоже пируют, подражая панству и хвастаясь богатством и вельможностью своих господ... Рай, а не жизнь!...

Ясновельможный ксенже Януш — видный мужчина, уже далеко не первой молодости: он уже при покойном круле, его милости Стефане Батории, был смышленным ксенжен-том, а *reverendissimus pater*<sup>2</sup>. Скарга возлагал на него свои католические надежды. В круто «закренционных вонсах» князя Януша уже давно серебрится седина, искусно прикрываемая французскими и итальянскими фарбами. Лысая голова князя красноречиво говорит о том, что этою головою больше пожито и выпито, чем продумано. Под серыми бесцветными глазами висят мешочки: можно было подумать, что это так под кожей накопились мешочки слез, не выплаканных в течение веселой, беззаботной жизни... Да и когда их было выплакивать! Короткие ножки князя Януша как-то неохотно носят на себе полное, упитанное тело своего влады-

<sup>1</sup> Имения (пол.).

<sup>2</sup> Ясновельможный отец (латин.).

ки, которое привыкло более пользоваться лошадиными и хлопскими ногами, чем своими собственными, созданными разве только для мазура да для расшаркивания перед престелными паннами. А шаркано много, и мазура танцовано, ох, как много!

— А я хочу вас, Панове, угостить таким вином, какого, я уверен, нет и в погребах его милости пана круля,— сказал Януш, многозначительно покручивая свой нафабранный ус и окидывая торжественным взглядом присутствующих.

Слова эти привлекли всеобщее внимание: польские паны любили похвастаться редкими винами друг перед другом, и это как бы составляло их национальную гордость.

— Слово гонору<sup>1</sup>, панове! Такое вино, такое! — И князь Януш, сложив пучком свои пухлые пальцы, слегка дотронулся до них губами.

— А из каких, пан ксенже? — спросил высокий белокурый и сухой гость с холодными серыми глазами, которые, казалось, никогда не улыбались, как не улыбались и его сухие губы.

— Старого венгржина, пане ксенже,— отвечал князь Януш, медленно переводя глаза на сухого гостя и как бы тоже спрашивая: что ж дальше?

Гость равнодушно посмотрел на него холодными глазами.

— А как оно старо? Старше меня с паном? — спросил он. Князь Януш еще выше задрал свой ус.

— Гм! — улыбнулся он.— Это вино, пане ксенже, видало, как вечной памяти круль Владислав Третий Ягайлович короновался венгерскою короною. Его милость круль Владислав прислал тогда же из Венгрии моему предку, князю Острожскому, двенадцать дюжин этого божественного напитка.

И князь Януш, подойдя к столу, открыл серебряный колпак, в виде колокола, под которым на таком же серебряном блюде стояла покрытая мхом бутылка. Некоторые из гостей тоже подошли к столу взглянуть на древность.

— Вспомните, панове, что эта ничтожная склянка с заключенною в ней влагою пережила и своего первого хозяина, злополучного Владислава, погибшего под Варною, и славного Казимира, и Сигизмунда Августа... Это жалкое стекло пережило дом Ягеллонов, но в нем живет душа Ягеллонов... Выпейте же, панове, за вечную память этого славного дома, с которым Польша достигла небывалой

<sup>1</sup> Слово чести (пол.).

славы и могущества! Выпьем из этого сосуда, на котором я вижу прах наших славных предков!

И князь Януш торжественно дотронулся до горлышка бутылки.

— Правда, пане ксенже, я слышу запах гроба,— тихо и грустно сказал один из гостей, юноша лет двадцати, с смуглым лицом южного типа и с умными задумчивыми глазами,— эта бутылка пережила «золотой век» Польши, а ее другие сестры переживут нас.

— О, непременно переживут! — беззаботно воскликнул князь Януш.— Я об остальных бутылках и в своей духовной упоминаю. Я завещаю тому поляку, который сядет на московский престол и коронуется шапкой Мономаха, выпить одну бутылочку в память обо мне.

Князь Януш подал знак одному из прислуживающих шляхтичей, чтоб тот раскупорил заветную бутылку. Вертлявый шляхтич, ловко звякнув острогами в знак внимания и почтительности к ясновельможному пану воеводе, подскочил к бутылке с таким рыцарским видом, как бы это была дама, которую он приглашал на мазура. Он осторожно взял бутылку и, обернув ее салфеткой, стал откупоривать засмоленное горлышко: он, казалось, священнодействовал.

Бутылка раскупорена. Драгоценная влага налита в маленькие рюмочки. Гости смакуют двухсотлетнюю древность, пережившую и их отцов, и славу Польши.

— Аромат! Я слышу, тут сидит душа Ягеллонова! — восторгался один гость.

— *Divinum!*<sup>1</sup> — процедил сквозь зубы пан бискуп.

Князь Януш, видимо, торжествовал.

— В погребе моего отца есть нечто древнее этого, Панове! — сказал один из гостей, белокурый юноша с голубыми глазами, ставя рюмку на стол.

— Что говорит пан Томаш? — отозвался князь Януш, подняв голову, как припороженный конь.

— Пан Томаш говорит о реликвиях своего отца, почившего в мире пана Яна Замойского,— пояснил пан бискуп, по-видимому, любясь цветом вина в своей рюмке.

— Реликвии почившего пана Яна? — удивился хозяин.

— Да, пане ксенже,— лениво отвечал белокурый юноша,— в погребе моего отца сохранилась еще одна бочка меду из присланных нашему предку ее милостью королевою Ядвигою в память соединения Литвы с Польшею. Я рад

<sup>1</sup> Божественно (латин.).



буду угостить этим медом панов, если они сделают мне честь — навестят меня в моем замке в Замостье.

Со всех сторон посыпались любезности и похвалы домам Замойских и Острожских и их славным, недавно умершим представителям — пану Яну Замойскому и князю Василию-Константину.

— Нех бэндзе Езус похвалены! — заключил пан бискуп, ставя пустую рюмку на стол.

— На веки векув! — отвечал хозяин.

— А чи не осталось у кого-либо из ясновельможных панов хоча одной бутылочки из того вина, которым некогда упился праотец наш, Ной-небожчик? — отозвался вдруг голос, доселе молчавший. — Мню, же то есть саме старе вино...

Все с изумлением посмотрели на вопрошающего. Никто сразу не нашелся, что ответить. Князь Януш, казалось, подмигивал и одним глазом, и усом в ту сторону, где сидел белокурый юноша, похвалившийся древностью своего меда.

«Не в бровь, панове, а прямо в глаз, — казалось, говорил коварно моргающий ус князя Януша. — Каков хохол!»

## V

Прежде чем продолжать настоящий рассказ, не лишним будет познакомиться с некоторыми из гостей, находящихся теперь у князя Януша Острожского.

Гости все замечательные. Не один из них оставил след в истории Польши и Южной Руси. Высокий, совсем еще молодой сухой блондин с холодными серыми глазами — это князь Иеремия Корибут-Вишневецкий, один из богатейших и родовитейших вельмож Южной Руси, владелец необозримых майонтков и иных богатств на правой и левой стороне Днепра, гордый и древностью рода, и своими огромными связями. Он уже давно ополячился, давно проникнулся обаятельной культурой Запада, но он терпит веру предков — православие, но не по убеждению, не по влечениям сердца, а так себе, по привычке, по панской традиции, да и потому еще, что мать его, Раида, дочь молдавского господаря Могилы, не любила бритых ксендзов, а охотнее беседовала о спасении души с волосатыми и бородатыми попами и монахами греческой, хлопской веры, вроде хоть бы вот этого корявого и загорелого шленды, что заговорил о Ное и его винных погребах...

Этот шленда смотрит не то монахом, не то попом, не то запорожцем, хотя без чуба — такое на нем странное одеяние и большущие чеботищи с подковами. В желтых глазах его и на тонких губах постоянно играет как будто насмешливая или недоверчивая улыбка. Это — Мелетий Смотрицкий, ученейший из всех хохлов и злейший враг отцов иезуитов. Он много читал, многому учился, много писал, в особенности против унии. Политически-богословский памфлет его «Вирши на отступников» наделал много шума во всей Южной России и Польше и создал ему много врагов. Но Мелетий — этот корявый шленда — чувствовал свою силу: долго побродив в Европе в качестве учителя одного литовского паныча вельможи, наслушавшись ученейших профессоров лучших европейских университетов, этот хохол боролся с своими врагами не как неуч, а во всеоружии тогдашней учености. Не раз он схватывался, на веселых диспутах у старого князя Острожского, с знаменитым польским Демосфеном — Петром Скаргою и всегда, по выражению старого князя, выбивал у него либо зуб, либо ребро, хотя и сам иногда отступал с максимум подбитыми глазами. Теперь этот шленда наделал нового шума своим памфлетом «Плач восточной церкви», выпустив его в свет под псевдонимом Феофила Орфолога, и княгиня Раида, в восторге от этого «Плача», приглашала учить и воспитывать своего сына Иеремию не ученого иезуита, не шаркающего патера, а именно этого корявого шленду, как называл его в шутку князь Иеремия.

Тот из гостей князя Януша, которому показалось, что от бутылки со старым венгржином пахнет могильной затхлостью, юноша с черными глазами и южным типом — это почти державный юноша, сын бывшего молдавского господаря Могилы, Петр Могила. Он учился в Париже, в коллегии, а после потери отцом его, господарем Симеоном, престола Молдавии и Валахии, юный господарич должен был искать убежища в Польше и теперь состоял в войсках приютившей его республики. Вот его-то двоюродная сестра Раида и была женою князя Михаила Вишневецкого и поклонницею волосатого Орфолога.

Другой юноша, белокурый и бледный, похвалившийся, что в его наследственных погребах есть меды, сохранившиеся от времен королевы Ядвиги, и вызвавший замечание «> нинных погребах праотца Ноя, был Замойский, сын знаменитого Томаша Замойского, богатейший жених во всей Короне Польской, в Литве и Южной Руси.

Наконец, пан бискуп в дорогой фиолетовой сутане, чистенький, бритый, с белыми изящными руками и дорогими манжетами — это Иосафат Кунцевич, «новый апостол Литвы», надежда Рима и католической Польши и в то же время враг корявого и волосатого Мелетия Смотрицкого.

Когда Мелетий спросил, не осталось ли у кого-либо из панов хоть одной бутылки того вина, которым упился Ной, Кунцевич вскинул на него своими ласковыми лисьими глазами и, подняв брови, словно в порыве благочестия, сказал:

— А это пану Орфологу лучше знать.

— Почему, пане бискупе? — улыбнулся князь Януш.

— Потому, ясновельможный ксенже, что ключи от погреба Ноя находились у них.

— У кого, у них?

— У пана Хама, праотца схизматиков.

Злая шутка пана бискупа рассмешила панов.

— Слово гонору! Пан бискуп правду говорит! Правда! Правда! — одобряли гости.

Мелетий молча улыбался. Все на него смотрели, как бы ожидая ответа.

— А я еще больше скажу, панове, — отвечал он на обращенные к нему взгляды, — мы, хамы, выпили все старое вино своих праотцев и теперь пьем токмо горилку.

— Bravo! Bravo! — одобрял пан хозяин.

— А я боюсь, панове, — сказал серьезно юный Могила, — как бы они, эти хамы, выпив свою горилку, не вздумали потом забраться и в ваши погреба. А на то похоже...

— Пан господарчик неправо говорит, — вмешался пан бискуп, — хамам у вельможных панов не жизнь, а рай.

— О, не желал бы я пану бискупу такого рая! — горячо возразил юный Могила. — Разве вы забыли, что пишет вам, панам бискупам и всему панству, Иоани из Вишни? Не вы ли, говорит он, забираете у бедных подданных из оборок коней, волов, овец, тянете с них денежные дани, дани пота и труда, обдираете их до живого, обнажаете, мучите, томите, гоните летом и зимою в непогодное время на комяги и шкуты, а сами, точно идолы, сидите на одном месте, и если случится перенести сей труп на другое место, то переносите его бесскорбно на колысках, как будто и с места не трогаясь!

Юный Могила, забывши, где он и с кем, говорил точно с кафедры, обращаясь больше к пану бискупу и воодушевляясь все более и более. На смуглых щеках его выступил

румянец, в голосе звучало убеждение. Мелетий Смотрицкий, весь обратившись во внимание, глядел на юношу с восторгом, прочие гости — с удивлением и недоумением. Один князь Януш лукаво улыбался.

— Риторика, пане Могила, монашеская риторика! — пожимал плечами пан бискуп. — Кто же из хлопского поту делает злотые, пане? Да они бы и воняли...

Гости рассмеялись.

— Не смейтесь, ясновельможные панове! — серьезно сказал Смотрицкий. — Его милость господарчик говорит святую истину. Только не пани тут винт...

— А хто, пане Орфологу? — спросил хозяин.

— Той, як кажуть, ясновельможний пане ксенже, хто забравсь у очерет та і шелестить.

— А хто в очерет!?

— Патжник, пане ксенже... Недаром поспольство аки бджоли летять за пороги.

— Пан Мелетиуш говорит правду, панове, — отозвался молчавший до этой минуты князь Вишневецкий, смакуя остатки венгржинз. в рюмке, — этот мотлох все растет. Хлопы целыми ватагами уходят в Запорожье: там у них появился какой-то отважный ватажок Конашевич-Сагайдачный, и хлопство все больше и больше поднимает голову.

— Пустое, пане ксенже! — беспечно перебил князь Януш. — Стоит только этому быдлу рога сбить...

— Ну, пан ксенже легко смотрит.

— Легко! Наливайко уж попробовал медного вола...

— Теперь не Наливайком пахнет, пане ксенже... Вон при мне через Киев проехали к этим галганам послы нового московского царя...

— Фе-фе-фе! Московского царя! Какого, пане ксенже? Что в лаптях?

— А хоть бы и в лаптях?

— Ну, это пустое... Царица Марина даст им нашего царя.

— В самом деле, панове, — вмешался вновь в разговор юный Могила, — что слышно о царице Марине и об ее царевиче?

— Есть вести, что они в Астрахани, — отвечал князь Вишневецкий.

— На своем царстве, панове! — пояснил князь Януш. — Л кто бы мог подумать, что эта черноглазенькая Марыньця, которую я знал вот такой, — и князь Януш приподнял над < голом свою пухлую ладонь не более как на две четверти, — п носил на подносе, как букет цветов, кто бы, панове, мог

подумать, что эта маленькая Мнишкова будет царицей московской и астраханской!

— Да, была,— вздохнул юный Могила.

— Как и ты, пане, мог быть господарем молдавским,— вставил молодой Замоиский.

Князь Януш мигнул шляхтичам-прислужникам, чтобы снова наполнили бокалы.

— Выпьемте, панове, за здоровье царицы Марины и царевича,— громко сказал он и встал.

Некоторые из гостей тоже встали и, взяв бокалы, подняли их вверх. Мелетий Смотрицкий сидел неподвижно, как бы наблюдая за облачком, которое тихо плыло по голубому небу.

— Нех жие Марина, царица москeвська! — возгласил князь Януш.

— Нех жие царица Марина! Нех жие царевич! Нех жие злота вольносць! — раздались голоса.

— Слово гонору, панове! — воскликнул пан Будзило, кругленький панок, закручивая свои кругленькие усики.— Я еще раз побываю в Москве.

— А разве пан опять захотел кошатины да мышатины? — лукаво улыбнулся своими желтыми глазами хитрый хохол Мелетий.

— Ну, нет, пане Орфологу, теперь будет не то... А проклятое это было, панове, времячко, как мы сидели в Кремле и как нас вымаривали оттуда проклятые москали эти — Минин да Пожарский, уж и времячко! — начал пан Будзило, входя в свою роль.— Поверите ли, панове, когда мы все поели, что там у нас было, мы стали воровать у лошадей овес и сами его съедали, точно кони. Не стало овса — коней поели! Не стало коней — стали есть траву, всякие корни, а там сначала собак всех переели, потом кошек...

— А не царапали пана кошки? — подзадоривал хозяин, подмигивая гостям.

— Царапали, пане ксенже, да это что! И кошек не стало...

— Без кошек вас мыши, я думаю, съели? — подмигивал хозяин.

— Нет, пане ксенже, мы их сами поели.

— И после того не мяукали по-кошачьи?

— Мяукали, да еще как, пане ксенже! Особенно, панове, пришлось мяукать, как ничего не осталось кушать, кроме падали и мертвецов: этих и из земли вырывали и ели.

— Без соли?

— Без соли, пане. А там начали есть живых — друг дружку. Начали с пехоты...

— А пан не в пехоте служил? — допрашивал князь Януш.

— Нет, пане ксенже, я вырос на коне... Вот и начали есть пехоту... Однажды спохватились — нет целой роты: всю роту пана Лесницкого съели. Один пехотный поручик съел двух сыновей своих, один гайдук съел сына, другой — мать-старуху. Офицеры повыели своих денщиков и гайдуков, а то случилось, что гайдук съедал пана...

— Ах, он пся крев! — не вытерпел один панок. — Как же это хлоп смел есть пана?

— Съел, пане, что будешь делать! Уж мы так и остерегались друг дружки — вот-вот накинется и съест... А потом, панове, мы такое правило поставили: родственник может есть родственника, как бы по наследству, а товарищ — товарища... Не один раз и судились из-за этого: случилось, что иной съедал своего родственника, дядя племянника, а у съеденного был ближайший родственник — отец: так присудили отцу за съеденного у него братом сына — съесть этого брата.

— И съел?

— Съел, панове... А то другое такое судное дело было во взводе пана Лесницкого: гайдуки съели умершего в их взводе гайдука товарища. Так родственник съеденного, гайдук из другого взвода, предъявил своему ротмистру иск на тот взвод, который съел его родственника, доказывая, что он имел больше права съесть его как родственника, а тот взвод доказывал, что он имел ближайшее право на умершего в их взводе товарища: «Это, — говорят, — наше счастье».

— Боже мой! Какой ужас! — тихо всплеснул руками юный Могила.

— А удивительный все-таки, панове, был этот неразгаданный человек! — задумчиво сказал пан бискуп.

— Кто? — спросил князь Януш.

— Да этот Дмитрий, что был царем московским, я все что-то подозревал в нем.

— Да и мне он казался не простой птицей.

— А ваша мосць, ксенже, разве знал его лично?

— Как же, пане бискупе: он сначала в нашем дворе толкался с московскими монахами, с греками, казаками да недоучившимися рыбалями и спудеями... У покойного батюшки ведь тут было просто вавилонское столпотворение. Кого тут не перебивало!.. Часто я видел его — царевича-то

в подрясничке — как он все о чем-то шептался вот с этим галганом, с Конашевичем-Сагайдачным, что теперь, говорят, атаманует в Запорожье. Сагайдачный тоже болтался тут одно время, когда вышел из братской школы.

— Ваша княжеская мосць говорит, что Сагайдачный учился в братской школе?

— Да, здесь в Остроге, пане бискупе, но это было давно.

— Жаль... Его мосць князь Василий, ваш батюшка, много способствовал разведению этой саранчи тэго пшек-лентого схизматства.

— Но он же, пане бискупе, усердно служил и интересам святого отца.

— Ваша мосць говорит правду. Только не надо было плодить этих сагайдачных...

— И всех этих, пане, грицей,— добавил юный Замойский.

— Какую же шкоду чинят вам эти сагайдачные и «грици», панове? — вмешался Мелетий Смотрицкий.

— Много шкоды... Они ссорят Речь Посполигую е Турциею.

— А не они ли, пане, помогали Речи Посполитой в ее войне с Москвою? Да они ж, пане, эти грязные «грици», и орют, и сеют, и жнут для вас, и служат вам.

— На то они хлопы, быдло паньске...

— На то их и пан буг создал, панове,— подтвердили гости.

— Ха-ха-ха-ха! — разразился вдруг князь Януш.— Посмотрите, панове! Ха-ха-ха!

И князь Януш, охвативши пухлый живот обеими ладонями, залился самым искренним смехом.

Гости глянули по тому направлению, куда смотрел хохотавший хозяин. С замковой террасы, на которой среди роскошной зелени прохлаждались паны, видна была извилистая, тонувшая в зелени Горынь, и далекое Загорынье, и ближайшая тополевая аллея, которая вела к главным замковым воротам. По этой аллее, подымая страшную пыль, двигалось что-то необыкновенно странное: ехала небольшая крытая таратайка, в которую вместо лошадей, казалось, впряжены были люди, и звенел дорожный колокольчик.

— Ха-ха-ха! — не унимался князь Януш.— Точно в Риме триумфальная колесница, запряженная пленными царями.

— Правда, панове, он едет на хлопах,— подтвердил пан Будзило.

— Да это патер Загайло, — пояснил пан бискуп, — он так наказывает непокорных схизматиков или совратившихся в схизму. Он очень ревностный служитель церкви, и его святой отец лично знает.

Станный поезд между тем приближался. Впереди ехал конный жолнер со значком в руках, на котором изображено было распятие. За жолнером следовал сам патер Загайло. Он сидел в легкой плетеной таратайке, словно в решете или корзине, в каких возят на гулянье детей. Верх таратайки был тоже плетеный, с сафьянным фартуком.

Таратайку с патером ве<sup>л</sup>а запряженная в нее шестерка хлопов. Это были почти все молодые парни, и один уже с проседью, худой и понурый. Запряжены они были так, что впереди шло двое, как обыкновенно ходили в старину кони цугом и на вынос, а сзади, у самой таратайки, четверо. За таратайкою следовал другой конный жолнер. К концу дышла подвязан был колокольчик, который и звенел при движении необыкновенного поезда.

При въезде в замковый двор хлопы прибавили рыси. Видно было, что молодежь делала это с умыслом — просто озорничала; иной закидывал назад голову, изображая ретивого коня, другой семенял ногами и ржал, третий, казалось, брыкался...

— Ги-ги-ги! — ржал коренастый парубок, подражая жеребцу.

— Ой, лишечко! Грицко задом бьет! — дурачился другой хлопец.

— Держите! Держите меня, пане, а то я брыкаться буду! — кричал третий.

Патер, высунувшийся из таратайки, хлестнул сплетенным из тонких ремешков хлыстом разыгравшихся хлопов и благочестиво поднял глаза к небу.

— Пеккави, доминe!<sup>1</sup> — пробормотал он, пряча хлыст.

Таратайка бойко подкатила к замковому крыльцу, на котором уже стоял хозяин с некоторыми из гостей.

Сухой и сморщенный патер, поддерживаемый спешившимися жолнерами, выполз из таратайки.

— Нех бендзе Христус Езус похвалены! — приветствовал он хозяина и гостей.

— На веки векув! — отвечал князь Януш с гостями.

Запряженные хлопы стояли у крыльца и с любопытством смотрели на панов, как деревенские дети смотрят на медве-

<sup>1</sup> Грешные, господи (латин. ).



дей. Паны также смотрели на них с веселым самодовольством, как на отличнейшую и курьезнейшую выдумку патера Загайлы: ни тем, ни другим не было стыдно, и только хлоп с проседью глубоко опустил свое хмурое, покрытое потом и пылью лицо...

— И это вольнось, рувнось, неподлсглось! — с горестной задумчивостью проговорил как бы про себя молодой Могила и отвернулся.

Все снова вошли в палац.

## VI

В то время, когда вельможные паны прохлаждались в палаце князя Януша Острожского, рассуждая о своих панских делах, под горою, на выезде из Острога, на дворе зажиточного острожского обывателя Омелька, по прозвищу Дряп-Киця, тоже в «холодку», под «повіткою», сидели хлоппы и тоже толковали о своих хлопских делах. Обширный двор был заставлен разными принадлежностями хозяйства: плуг с опрокинутым кверху ралом и одним колесом без обода, чумацкие возы с малеванными ярмами, толстые, из цельного вяза, колеса, «мазниці» с дегтем, вилы и грабли, поставленные рядышком вдоль плетня, — все это занимало заднюю часть двора, где рылись в соломе куры с цыплятами, хрюкала свинья с многочисленным семейством, а петух, гордо выступая и поглядывая то одним, то другим глазом на небо, остерегал по временам свою семью особым криком от реявших в воздухе коршунов. Передняя половина двора, ближе к хате, выбеленной и расписанной у окон и «призьби» — завалинки желтою глиною, занята «вишневим садочком», в котором ярко пестреют пышные цветы мака, «горлиці», васильки, нагидки, желтый дрок и желтые же махровые шапки «соняшника». От ворот направо расположены «комори», сарай, «стайт» с колесом, вздетым на шест: на этом колесе чернеется огромное гнездо аиста, из которого выглядывают длинноносые с длинными шеями бусолята, в ожидании матери, шагающей по ту сторону Горыни в высокой прибрежной траве. В сарае и из-под сараев с писком снуют ласточки и воробьи, которые ловко хватают всякую играющую на солнце козявку и «комашню» и тащат к своим крикливым и прожорливым детям. А за ними, прикрываясь зеленью клоповника и калачиков, устилающих кое-где двор, зорко следит серый с белою грудкою кот, которого можно

было бы принять совсем за мертвого, если б иногда не сверкали из-за зелени его фосфорические глаза и не шевелился кончик предательского хвоста.

В стороне от всего этого, в тени, бросающей навесом или «повіткою», под которою сидел сам Омелько с семьею и некоторыми из соседей, лежал, вытянув передние лапы, друг дома — лохматый Рябко, умнейший пес, про которого Омелько говаривал, бывало, гостям: «Такий розумний собака, такий розумний, тільки що «оченаша» не знає». Рябко, постукивая своим косматым, усеянным репьями, хвостом по земле, казалось, внимательно слушал, что говорилось под повестью, и выражал на своем собачьем лице живую радость, когда Омелько говорил что-либо, как ему казалось, веселое.

А Омелько, седой, с седыми, подрезанными у верхней губы усами, старик, — подрезанными затем, чтобы они, «гаспидські вуса», ему, «Омелькові-шевцеві», не мешали брать в зубы дратву, Омелько, сидя под повестью на маленьком трехногом «дзиглике» и постукивая шилом об сапог и колодку, лежавшие у него на коленях, тачал «козацький чобіт» и с оживлением разглагольствовал, допекая, по видимому, одного высокого, с бледным, испытаным лицом парня, сидевшего верхом на оглобле.

— И какого ж беса вы там друкуете в вашей друкарне? — допытывался Омелько, продевая дратву в прокол, сделанный шилом.

— Да книжки, дядьку, друкуем, — отвечал, улыбаясь, парень.

— Какие там книжки?

— Всякие, дядьку.

— Овва! Вот сказал! Всякие! Книга — это не чебот.. Вот я — так всякие чеботы тачаю — и козацкие, здоровенные, и детские, маленькие: все оно будет чебот. А книги, небого, гай-гай! Бывает книга добрая, православная, бывает и поганая, католическая. Вот что.

— «Вертоград словесный» друкуем...

— Ну, коли «Вертоград», то это что-нибудь доброе.

— Да еще «Лестницу духовную».

Несколько в стороне от этих собеседников перед сложенным из четырех кирпичей маленьким горном сидел молодой усач. Он держал над огнем большую железную ложку с деревянной ручкой: это он растапливал свинец в ложке для Митя пуля. На коленях у усача лежала формочка для пуля — нечто вроде обрубленных ножниц, и тут же стояла

миска с водою, в которой должны были охлаждаться пули.

Накалив железную ложку и растопив свинец, он стал наливать его в формочку, предварительно перекрестившись. Послышался всплеск воды в миске — то пуля упала в воду.

— Первая пуля во имя отца! — торжественно проговорил усач.

— Аминь! — подтвердил Омелько, моргнув усом.

Молодой парень, говоривший о том, какие они книги печатают в Острожской типографии, подошел к усачу, чтобы посмотреть на литье пуль. Подошел и заинтересованный этим делом Рябко и, махая хвостом, стал обнюхивать миску.

— Вторая пуля во имя сына! — продолжал усач.

— Еще аминь! — подтвердил Омелько.

— Третья пуля во имя духа святого!

Усач перебрал всех известных ему святых — и «богородицу», и «покрову» особо, и «святую п'ятницю», и «Миколу», и «Івана-головосн<а>», и «святого Юрка», — и всем им отлил по пуле.

— А добрые пули? — спросил молодой парень, выловив из воды одну пулю и рассматривая ее.

— Добрые, брат, такие добрые, что в самое око будут бить, — улыбнулся усач.

— Еще бы! И свинец добрый! — тоже улыбнулся и парень. — Свинец ученый, письменный.

— Как письменный? — удивился Омелько, вынимая из рта дратву.

— Да письменный же, дядьку, — загадочно улыбался парень, — этим свинцом польские книги друковали.

Парень вынул из кармана несколько черных полосок и показал их на ладони старому Омельку. То были типографские литеры. Молодой высокий парень, которого звали Федьком, состоял наборщиком в знаменитой тогда типографии князей Острожских, в Остроге, — в типографии, издания которой, в особенности церковные книги, ценятся в настоящее время очень дорого. Федько, который, как хлоп, был наборщиком поневоле, по приказу старого князя, бывшего из Острожской школы в свою типографию всякого, кого его ясновельможности угодно было взять, не чувствовал никакой склонности к типографскому делу. Сидеть или большею частью стоять перед ящичками с литерами в мрачной тюрьме, какою казалась типография, с утра до ночи шелкать противными литерами и в это время думать о «слепом лесе, о поле, о воле, о казакованье и вследствие

этого по рассеянности хватать не ту литеру, какую следовало, вместо «б у к и» ставить «к а к о», и вместо «к а к о» — «и жи ц у», и за это получать «ляпаса» или уходранку, а то и кием в спину от исправщика или от пана ревизора — всего этого было слишком достаточно, чтобы возненавидеть чертову друкарню. Федько мечтал о Запорожье, а тут набирал «Духовный вертоград» либо «Лестницу до раю». Ему опротивели эти «вертограды» и «лестницы», но всего более опротивели литеры. И вот он стал потихоньку таскать их из типографии и давать казакам на литье пуль. Но Федько действовал в этом случае с разбором: он не трогал своих, славянских литер, которыми печатались церковнославянские книги, — Федько бессознательно явился сторонником кириллицы, — а таскал он проклятую латиницу да лядшину — шрифты латинский и польский, и употреблял их на казацкое дело.

Таким образом, по странному сцеплению идей и обстоятельств, типография — орудие иезуитской пропаганды в Южной Руси — стала орудием и совершенно противной ей идеи — орудием казацкой независимости: иезуитская книга, напечатанная в Острожской типографии, побивала народность и веру Украины; а казацкая пуля, вылитая из латинско-польского шрифта той же типографии, разрушала не только возведенное иезуитами здание окатоличения южнорусского народа, но и самое государство, приютившее этих разбойников церкви Христовой.

— Что ж это такое? — удивлялся старый Омелько, нертя меж пальцами черненькую пластинку.

— Да литера ж, дядьку, — отвечал Федько.

— Какая мат-тери ей — литера? Вот этот воробынный глазок?

— Нет, дядьку, не воробынный глазок, а литера «о», — о н».

Рябко неожиданно вдруг залаял и бросился к воротам.

— Цуцу! Рябко! — послышалось за воротами.

Пес радостно замотал хвостом и сунулся в подворотню.

— Кого бог дает? — глянул к воротам Омелько.

Глянула по тому же направлению и его старшая внучка и ip я «почервошла»: собачье чутье и девичье сердце угадали, к- го шел...

Отворилась калитка, и во двор вошли два знакомых уже м.іМ молодца — те, которые были запряжены в таратайку и пера Загайлы и из которых один ржал жеребцом, а другой предупреждал патера, что брыкаться будет.

— Ги-ги-ги-ги! — вдруг заржал один из пришедших, коренастый, красивый парубок с серыми веселыми глазами, и заржал так хорошо, что даже Рябко удивился и хотел было залаять, но одумался, понял, что человек дурачится, и еще неистовее замотал хвостом.

— Ги-ги-ги-ги! — продолжал веселый парубок.

— Тю на тебя! Что ты, спятил, что ли? — удивился Омелько.

— Нет, дядьку, я оконячился, — отвечал веселый парубок.

— А, мат-тери твоей!.. Как оконячился?

— Конем стал, дядьку, вот и ржу по-жеребьячи.

— А я брыкаюсь; не подходите ко мне, задом ударю, — сказал и другой парубок, черномазый детина с сросшимися черными бровями.

— Да тю на вас, аспидские дети, — волновался Омелько.

Все приблизились к пришедшим и с удивлением глядели на них. Хорошенькая старшая внучка Омелькова украдкой посматривала на ржущего парубка, и глаза ее вспыхивали нежностью. Старая Омельчиха, подперев щеку рукой, качала старую голову и тоже улыбалась, шепча:

— От дурш — молоді ще, весели..

Парни рассказали, как было дело.

Усатый казак насупился...

— Вот до чего дошло, — тихо бормотал он, — людей крещеных в коней перевертывают... За что же это вас так? — спросил он, помолчав немного.

— Да что в воскресенье до костела не пошли, а пошли в церковь.

Хорошенькая дивчина продолжала украдкой взгляды-вать на Грицка, который беззаботно рассказывал о том, что возил на себе ксендза и что его, как лошадь, хлестали плеткой. Несколько раз загорелые щеки ее покрывались румянцем — то была краска стыда и негодования.

— А нет ли у вас, бабусенька, чего-нибудь мокрого? — вдруг обратился Грицко к старой Омельчихе

Старушка ласково улыбнулась.

— Мокрого, хлопче?

— Да, мокренького, бабцю, коней напоить.

— Так чего б тебе, хлопче? Квасу?

— Да квасу, что ли, только бы мокренькое да холод-ненькое.

— Добре, хлопче... Ану, Одарю, беги скоренько в погреб, наточи кваску, — обратилась старушка к внучке.

Пока ходили за квасом, все перешли в холодок, и Омелько опять принялся постукивать шилом то по сапогу, то по колодке.

— Ужели же и этот чеботище будет возить поганцев, мат-тери их? — задался он вдруг этой обидной мыслью.

— Будет, дядьку, — отвечал, смеясь, Грицко.

Омелько посмотрел на него укоризненно, а усатый запорожец сердито крикнул.

— Паны и ксендзы говорят, что нас на то бог создал, мы, вишь, быдло, скотина, — продолжал Грицко.

В это время Одаря, вся запыхавшись и покрасневшись, подошла к нему и, подав большую миску с пенистым квасом, поклонилась. Грицко, взяв обеими руками миску, осклабился.

— Ану, Юхиме, — глянул он на товарища, — перекрестись за меня, а я за тебя выпью.

— А цур тебе! — отшутился Юхим. — Кони без креста пьют.

Между тем запорожец вынул из кармана своих широких шаровар трубочку и кисет с табаком, не спеша наложил трубочку, достал огниво, молча вырубил огня, положил дымящийся трут в трубку, закрыл ее медной, с прорезами, крышечкой, висевшей на ремешке вместе с кривой иглой для чистки трубки, потянул и выпустил из-под суровых усов струю синего дыма, сплюнул на сторону и посмотрел своими маленькими лукавыми глазами на парубков.

— А хотите, хлопцы, я вас научу, как на панах и на ксендзах ездить? — медленно сказал он.

Все посмотрели на него — кто с улыбкой, кто с удивлением.

— Научите, дядьку, — улынулся Грицко, — вот бы поехал на чертовом Загайле!

Запорожец снова потянул из трубочки, выпустил синий дымок и сплюнул.

— Добре, научу... Только этому учат у нас на Запорожье, — процедил он сквозь зубы.

Парубки переглянулись между собой. Хорошенькая Одары глянула на них и потупилась; краска заметно сходила с ее живого, теперь как бы застывшего личика... Запорожец опять пустил струйку дыма...

— Пойдемте со мною на Низ, в Великий Луг. Великий Луг будет вам батько, Сечь — мати, а я буду вашим дядь-  
м>м, — продолжал запорожец.

Парубки опять переглянулись нерешительно... Омелько молча, сердито стучал по сапогу...

— Добре, дядьку, идем,— сказал Грицко, тряхнув головою, и глянул на Одарю.

Девушка стояла бледная — хотя бы кровинка в лице...

## VII

Слова запорожца сделали свое дело.

Когда на другой день утром патер Загайло приказал своим гайдукам вновь закладывать хлопов в свою таратайку для дальнейшей поездки по парафин, ему доложили, что хлопы исчезли — двуногие кони патера как в воду канули. Мало того: дворецкий князя Януша с великим смущением доложил его мосци, своему ясновельможному пану, что ночью из конюшни уведены кем-то любимейшие скаковые лошади его милости князя, что и в городе произошло что-то необыкновенное, потому что ночью из разных заведений князя, в том числе и из типографии, попропадало несколько хлопов. Ходили слухи, что причиной этому был какой-то оборвыш, усатый запорожец, бродивший в городе и подбивавший хлопов к бегству на Запорожье, и что это был эмиссар завязтого казацкого разбойника Конашевича-Сагайдачного, тайно вербовавший молодежь в свои проклятые шайки.

Князя Януша это известие привело в ярость, и он приказал тут же, у самого крыльца своего палаца, разложить «на коберцу» и перепороть канчуками нескольких еще не проспавшихся после вчерашней гулянки панков из своей дворцовой шляхты и в то же время велел немедленно отправить отряды городских казаков и жолнеров для поимки дерзких беглецов.

Ясновельможные гости князя Януша, ночевавшие у гостеприимного хозяина, узнав о случившемся, очень смеялись над комическим положением почтенного патера Загайлы, которому не на ком было выехать, чтоб продолжать объезд своей парафин.

— Что ж! — лукаво подмигивал князю Вишневецкому Мелетий Смотрицкий. — Сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя господи...

— На палочке? — подсказал князь, не улынувшись ни сухими губами, ни холодными глазами.

— По образу пешего хождения — по-апостольски.

— Ну, у апостолов мозолей не было...

— Его мосць хочет сказать — подагры...

Между тем беглецы были уже далеко. Они — знакомый уже нам усатый запорожец Карпо, по прозвищу Колокузни, и два парубка, возившие Загайлу, Грицко и Юхим, — пользуясь сном подгулявшей челяди князя Острожского, успели захватить из его конюшни по отличному коню и к утру выехали из Острога. За городом к ним пристал четвертый товарищ, и хотя он был пеший, добрый запорожец не мог отказать ему в помощи за его услуги и посадил к себе за седло. Четвертый приставший к ним товарищ был тот самый худой и высокий наборщик из типографии, который снабжал запорожца типографскими литерами для литья из них пуль.

Утро было несколько пасмурное и свежее. Северный ветерок играл гривами коней, которых беглецы не особенно гнали, отчасти желая сберечь их силы, отчасти же и потому, что езду их замедлял четвертый товарищ: он прибавлял собою лишнюю тяжесть на спину доброго коня. Оставив за собою леса, беглецы вступили в открытую степь, которая тянулась вплоть до Запорожских Вольностей, как назывались фактические владения запорожцев, и переходила во владения крымских татар, хотя настоящей пограничной черты в то время не существовало. Правда, степь эта не представляла еще из себя пустыни, какою она делалась по мере приближения к Черному шляху и далее к югу: тут были еще и речки, и озера, и лесные заросли, но жилья уже не видать было, потому что опытный запорожец избирал для своего похода путь, где было наименее возможно встретить живое существо, исключая, конечно, сайгаков, диких туров, кабанов и всевозможной птицы, начиная от уток и чаек и кончая «орлами-б1лозерцами».

Неведомая даль, открывавшаяся перед нашими беглецами, представляла поистине что-то внушающее суеверный страх, особенно для новичков, что-то непостижимое, необъятное. Это была роскошно поэтическая пустыня, наводящая на душу благоговение, священный ужас перед чем-то неисповедимым; но наши молодые беглецы, дальше Острога и ближайших сел ничего не видавшие, чувствовали одно в этой чудной поэзии девственной природы — не то страх, как бы пробегающий по корням волос, не то глухую тоску, щемящую молодое сердце. Ведь ими покинуто все близкое и знакомое для далекого и неведомого! Куда ведет их эта безбрежная пустыня? Не туда ли, где кончается земля,



упираясь в небо? Глянут они на небо — и по небу несутся облака, точно такие же беглецы, как и они, и тоже бегут туда, в неведомую даль, от полуночи к полудню. И ветер туда же клонит, и тырса шумит в этом безбрежном море, нагибаясь туда же, к неведомому полудню. Шумят у опушки степного озерца и лозы, нагибая свои гибкие ветви туда же, куда и их несут послушные ноги коней. Вон вдали показались сайгаки, остановились, подняли свои острые мордочки, глядят сюда, нюхают воздух и, точно чем испугнутые, убегают туда же, в неведомую даль. Вон пролетает над степью, ширяя в воздухе, белый, ширококрылый лунь и тоже исчезает вдали. Вон слетела и закигикала чайка и, сделав в воздухе несколько кругов, опустилась где-то в высокую траву. Впереди выскочил откуда-то зайчик, сел на задние лапки, насторожил длинные уши и стремглав махнул через «високу могилу» — через курган, через который ветром гонит сухое перекасти-поле, — и все туда же, в неведомую даль...

А там, еще дальше, что-то чернеется по степи, что-то бродит, точно люди: то нагнется, то поднимется; иногда что-то блеснет на солнце, когда облако перебежит через него, — может быть, это блещут косы косарей, а может, это татары... Страшно становится... А запорожец молчит, покуривая свою трубочку: ему не привыкать к молчанию; по целым неделям иногда приходится запорожцу одному бродить по степи, охотиться на сайгака или тура, или сторожить татар, или ловить рыбу на плавне — и он молчит. Молчат и молодые беглецы... А оно, то черное, бродящее по степи, все виднее и виднее. Страшно становится...

— То, дядьку, люди вон там? — решаются спросить молчаливого запорожца.

Запорожец глянул, выпустил из-под усов дымок — и опять молчит.

— Может, татары, дядьку? — новый вопрос.

— Дрохвы, — вылетает короткий ответ из-под усов вместе с дымом.

И опять настало молчание, такое же полное, как молчалива эта степь. Да и говорить никому не охота. Каждый думает, и каждому думается свое, прошлое, еще такое недавнее, но такое уже далекое.

Солнце перешло уже за полдень; облака уплыли все к горизонту; становилось жарко, и кони, видимо, притомились, да и напоить бы их давно пора.

Как раз в это время в стороне показались кусты терна и верболоза. Блеснула на солнце полоса воды — то была речка. Увидав воду, кони радостно заржали.

— Ага! Пить захотели... Добре... Заворачивайте, хлопцы, к воде: и коней напоим да попасем, и сами отдохнем, — распорядился запорожец.

— И у меня в горле пересохло, — сказал Грицко.

Привернули к речке. Она тихо и ровно протекала среди пологих берегов, поросших кое-где высоким камышом. По берегу меланхолично бродили цапли; увидав всадников, они испуганно замахали крыльями и полетели дальше. Дикие утки выпорхнули из камышей и с кряканьем понеслись за цаплями.

Беглецы сошли с коней, стреножили их и пустили на траву, которая казалась такою роскошною, сочною и мягкою. Запорожец, как запасливый, достал из своей переметной сумы хлеба, вяленой тарани, огурцов и добрую баклажку водки — «оковитоВ»: все это ему насовала в «сакви» старая Омельчиха, которой сынок, Одарочкин батько, тоже казак — вал где-то, и она без слез не могла видеть запорожца. Сели кружком на траву. Запорожец достал из саквов маленький серебряный «корячок» — чарочку, которую, между прочим добром, он нашел когда-то в сумке у заарканенного татарина.

— Добрый корячок, — сказал он, любуясь чаркой, — стоит татарской головы.

И он налил из баклажки живительной влаги.

— Сторонись, козацкая душа, оболью! — сказал он, крестясь, и опрокинул корячок под богатырские усы, даже не крякнув.

Он налил снова и подал Грицку.

— Ану, хлопче, вонзи в душу сие копие.

Грицко перекрестился, выпил и крякнул.

— О, чтоб ее! Точно кота в горло посадил, — замотал головою Грицко.

— Ничего, хлопче, твоя душа не мышь, кот не задавит, — утешал его запорожец.

Выпили и остальные молодцы, и у всех на душе как будто стало легче.

Принялись за огурцы, за тарань. Здесь, у воды, степь не была такою мертвою и молчаливою, какою она была за несколько часов до этого. Коростели задорно трещали в траве; то там, то здесь «хававкали» и «підпадьомкали» перепела, чайки перекликались за речкою, а в камышах где-то

гудела глухо выпь — бугай-птица. Распевала в тернах и по лозам мелкая птишка, жужжала и трескотела всякая мелкая живая тварь — всевозможная «комашня».

— А далеко еще, дядьку, до Сечи? — спросил черномазый Юхим, высасывая голову тарани.

Запорожец глянул на него лукавыми глазами и насмешливо моргнул усом.

— Нет, уже близко, — проронил он лениво, — рукой подать.

— А как таки будет?

— Да недели две ходу будет.

Остальные товарищи рассмеялись. Юхим догадался, что это над ним, и сам захохотал.

— Вот поймал облизня, дурный! — похвалил он сам себя.

Лошади забрались в воду и, утолив жажду, фыркали, видимо, довольные своей судьбою.

Грицко, кончив трапезу и помолившись на восток, тоже подошел к воде, прилег на берег грудью, припал ртом к реке и стал пить лежа.

— Не пей так, хлопче, татары поймают, — остановил его запорожец.

— А как же, дядьку? — спросил Грицко, поворачивая голову.

— Пей горстью, по-козацки.

Скоро все кончили трапезу, помолились, напились воды из речки, убрали припасы, связали лошадей поводками друг с дружкой и пустили на одном аркане.

— Теперь отпочинем. — скомандовал запорожец.

Молодежь, повалившись на животы и уткнув носы в шапки, тотчас же захрапела: бессонно проведенная ночь дала себя знать.

Не спал один запорожец. Растянувшись носом к небу, он, глядя в бесконечную синеву, посасывал свою трубочку и думал, о чем только может думать запорожец... Далекая беленькая хатка за Сулою вся в зелени... Зеленые вербы у ставка... Под вербами сидит девушка, глубоко наклонив голову и тихо напевая, она что-то шьет... На том боку, за Сулою, у опушки темного леса казак траву косит и часто поглядывает туда, где шумят вербы над черною, низко склоненною головою с васильками в волосах... Потом на этой черной головке, над бледным, как стена, лицом, золотой венец, поют «Исайя ликуй»... А молодой казак, что косил траву за Сулою, смотрит издали, из толпы, на это

бледное под венцом лицо, и кажется ему, что у него сердце вырезают — вырезают и поют «Исайя ликуй»... А там Запорожье — не слышать ни женского голоса, ни «Исайя», не видать милого, бледного лица — одни хмурые, усатые лица товариства... Днепр голубой, еще более голубое море, и голубое и бесконечное небо... Козлов-город, Кафа, Синоп, Трапезонт — галеры, невольники...

Все это в полусонной дреме грезится запорожцу. А трубочка посипывает, потухла, — глаза сон смежает...

Вдруг где-то отдался как бы далекий собачий лай...

Запорожец открыл глаза; лай повторился, сначала как бы с одной стороны, потом с другой... Запорожец приподнялся на локте, вслушивается, — ничего не слышать... Он тихо приподнялся сначала на колени, осмотрелся кругом, — ничего не видать... Опять ветром донесло откуда-то собачий лай... Запорожец встал на ноги — голая бесконечная степь да кое-где курганы... Через один из курганов пронеслись темные точки — это сайгаки... Это недаром — они испугнуты кем-то...

На берегу, где отдыхали беглецы, росла старая ива. Запорожец, цепляясь за ветви, взобрался на самую вершину дерева и окинул глазами степь. То, что он увидел, заставило расширяться его маленькие зрачки...

Он быстро слез с дерева и стал расталкивать заспавшихся товарищей.

— Хлопцы, вставайте живей... За нами погоня...

— Что? Что, дядьку? Пан?.. Загайло?..

— Вставайте, стонадцать вам чертей! За нами гоны!

— Гоны? Ох, лишечко! Что нам делать?

— На коней зараз, дядечку!

— Э! Поздно на коней... надо в воду.

— Как в воду, дядьку? Вот беда!

— В воду! Топиться — стонадцать коп чертей!

— Батечки! Мы, может, еще убежим...

Лай собак послышался теперь совершенно явственно. Молодые беглецы в ужасе смотрели друг на друга безумными глазами: они узнали издали голоса гончих собак князя Острожского — от них не уйти.

Запорожец между тем бросился к сухому прошлогоднему камышу, торчавшему у воды из-за зелени молодого, достал нож, срезал четыре самых толстых камышины, обрезал их наскоро, продул их так, что воздух проходил свободно, и воротился к товарищам, растерянно топтавшимся на месте.

— Возьмите вот это — по камышинке...

Показалась рука, голова... Собаки залаяли и кинулись в воду.

— Видал, пан? Там что-то из воды показалось...

— Рука... голова... волосы...

— Где пан видел?

— Вон там, где Огар ищет.

Но там ничего опять не видно было: руки и волосы исчезли под водой... Собака вертелась на том месте и выла.

— Надо, пане, поискать там.

— Раздаться, Яцек, пощупай там саблей.

Один жолнер разделся и побрел в воду, держа перед собой саблю. Вдруг он споткнулся на что-то и в испуге бросился назад...

— Езус, Мария, там что-то лежит мягкое...

— Ну, тащи из воды — увидим.

— Как же, пане?... Оно... может, оно...

— Тащи, собачий сын, а то палашом покормлю!

Яцек, бормоча молитву, побрел снова, нагнулся, нащупал что-то и потащил. Скоро из воды показалась штанина синих шаровар, сапог...

— Тащи, Яцек, тащи!

Показались руки, бледное лицо с закрытыми глазами... Это был Федор Безридный. Собаки обнюхивали его и выли.

Все приблизились к утопленнику, который лежал на берегу головой к воде, разметавши руки.

— А! Это друкарь из княжеской друкарни... Утонул, бедный хам!..

— Не бегай... Туда схизматику и дорога...

## VIII

Уверившись, что «схизматики» потонули, чем сами себя достойно наказали, и бросивши безжизненное тело Федора Безридного на потраву зверю и птице, отряд городских казаков, предводительствуемый легковерными панками, отправился в другую сторону разыскивать беглых хлопов, а главное, чтобы поймать панских коней, за которых так досталось благородным спинам дворовой шляхты.

Когда отряд скрылся из вида, камыш в одном месте зашевелился и из воды показался сначала красный, весь намокший верх казацкой шапки, а затем и усатое лицо запорожца. Сечевик, оглядевшись кругом и не видя своих преследователей, характерно свистнул, выражая этим свистом и удивление, и презрение.

— Фью, фью-фью! Удрали, крутивусы!..

Увидав на берегу бедного друкаря, он быстро выполз из воды, таща за собою мокрую тяжелую переметную суму и длинное ратище копья.

— Хлопцы! Хлопцы! Будет вам воду пить! — окликнул товарищей.

В разных местах показались из воды головы — лица бледные, посиневшие.

Запорожец бросился к друкарю и начал его сильно трясти, приподняв с земли.

— Захлебнулся хлопец, да, может, очнется...

И Грицко, и Юхим вышли из воды. Они дрожали всем телом.

— Утонул? — спрашивали они с боязнью. — Как он сюда попал?

— Полно распытывать! Берите за ноги — потрясем его!

Друкаря начали трясти. Мало-помалу посиневшее лицо начало принимать более живой цвет.

— Трясите, хорошенько трясите! Он немножко теплый.

Вскоре у утопленника хлынула вода ртом и носом.

— Будет! Оживает.

Его положили на траву. Несчастный открыл глаза.

— Холодно! — было его первым словом.

— Добре! Зараз будет тепло. — Запорожец метнулся к суме, достал оттуда баклажок с водкой и серебряный корячок. — Оковитонько! Матушка родная! Вызволяй! — Он наполнил корячок и поднес его друкарю, став на колени. — Посадите его, хлопцы, поднимите!

Друкаря приподняли. Зубы его стучали, как в лихорадке. Запорожец приставил корячок к его посиневшим губам.

— Пей, хлопча, пей разом до дна.

Друкарь с трудом выпил, закашлялся. Лицо его стало оживать, краска заиграла на щеках.

— Добре, друкарю, зараз встанешь! — успокаивал его запорожец.

Он налил себе и опрокинул под мокрые усы. Налил товарищам, и те опрокинули.

— Добре!.. Выпьем, братцы, по другой! Вонзимо копие в душу!

Вонзили еще по разу — и все ожили. Друкарь сидел на траве и глядел кругом посоловевшими глазами: он, по-видимому, не помнил ничего, что с ним было.

— Как это ты, друкарю, вылез из воды? — спросил запорожец.

— На что, дядьку?

— Стоннадцать коп чертей! Слушайте: возьмите по камышинке в рот, да и прячьтесь в воду промеж осокою либо меж очеретом — так с головою и прячьтесь, чтоб головы не видно было с берега... Хоть день просидеть можно под водою... Мы так от татарвы прячемся...

Молодые беглецы жадно ухватились за камышинки и дрожащими руками стали совать их в рот и дуть. Утопающие хватались за соломинки...

— Да глядите, чтоб один конец камышинки был во рту, а другой над водою, а не в воде, а то вода в рот польется, тогда стоннадцать коп — все пропало.

Погоня приближалась. Слышны были голоса людей, конский топот и веселый лай собак. Заржали лошади беглецов — узнали, что свои близко; им отвечали ржанием оттуда.

Запорожец что-то вспомнил: он бросился к терновому кусту, отломил несколько острых колючек, метнулся к спутанным лошадям, быстро распутал их, отвязал от аркана и, ткнув под потники каждой по несколько колючих игл, хлестнул каждую нагайкою. Лошади, почуввав острую боль от терновых колючек, как бешеные, понеслись по стени.

Погоня была близко.

— Полезай в воду, стоннадцать коп!

Беглецы бросились к воде, держа во рту камышинки и крестясь.

— В камыши! Бредите в камыши! — распоряжался запорожец, таща с собой в воду все свое имущество.

Беглецы погрузились в воду. Видно было, как на поверхности взволнованной речки двигались и дрожали камышинки, выскакивали из воды пузыри; потом все сгладилось. Только зная, где каждый из беглецов погрузился в воду, можно было бы после долгого наблюдения заметить, как между зелеными тростинками свежего камыша дрожали и как бы двигались сухие камышинки, торчавшие из воды.

Последним вошел в воду запорожец, огляделся кругом, чихнул, помянул стоннадцать коп чертей и скрылся под водою.

— А далибуг, пане, я сам видел, как он бросился в воду, — слышался, вместе с конским топотом и собачьим лаем, сиплый голос.

— Галганы, пся крев! Далеко не могли уйти, — отвечал другой голос.

— А, пся вяр! Рыбу и огурки ели — вот и следы...

Погоня подскочила к самой воде. Собаки, обнюхивая землю и рыбью шелуху с костями, заливались звонким лаем и выли. Они чувствовали, что добыча тут, но не видели ее.

— Пиль! Пиль! Шукай, Ментор, шукай! — понуждали собак.

— Они тут, лови их, псю крев, лови, Огар!

Собаки бросились в камыши, в кусты, лезли в воду, лаяли на иву. Ментор, чуя добычу и угадывая даже, где она, кружился по воде, захлебывался, фыркал. Но он не умел нырять.

Некоторые собаки переплывали через речку, обнюхивали противоположный берег, но находя, что следы там исчезали, возвращались назад.

— Они тут — им некуда было уйти.

— Проклятые хамы в воде сидят: они это умеют делать.

— Что хамам делается! Они, как выхухоль, и в воде могут жить.

— А не ускакали ли они, пане, на лошадях? Я видел, как они понеслись по степи.

— То одни кони, без людей: я сам видел.

— Все ж надо, пане, поймать княжеских коней: его мосць князь очень дорожит ими.

— Знаю! Вон сколько перепорол за них нашего брата шляхтича!

— Коней и пан Сондач с своими жолнерами поймает.

Если бы преследующие наших беглецов внимательно смотрели на воду, они увидели бы в одном месте, как там дрожала и ходуном ходила по воде сухая камышинка, стоявшая торчмя, как она нагибалась, снова вставала, как выходила из воды пузыри... Они видели бы, как камышинка выскочила из воды, покружилась на месте и тихо-тихо поплыла вниз.

— Нет, это черти, а не люди — именно, в воду канули!

— Да они, пане, потонули наверное.

— Нельзя же не захлебнуться: столько времени под водою!

— Этих проклятых схизматиков ни огонь, ни вода не берет!

— А! Вон одного коня поймали — ведут...

— Как он бьется!.. Точно бешеный, далибуг, бешеный...

В это время в воде, в том месте, где недавно выскочила сухая камышинка, что-то забарахталось, зашлепало водой...



— Не знаю,— отвечал тот, качая головой.

— Должно быть, воды перепил,— заметил Грицко,— и я, матери ей лихо, много пил и чуть не лопнул... Еще спасибо, что тарани шибко наелся, так и в воде пить хотелось.

— А меня чортов рак за ухо ушипнул, я чуть не крикнул,— пояснил Юхим.

Запорожец по привычке полез было в карман, вытащил оттуда кисет и трубку, чтоб после долгого сиденья под водою и после двух чарок водки затянуться, да увидав, что и с кисета вода течет, и в трубке вода, и трут мокрый, и сам он весь мокрый, как мышь,— так и ухватил себя за чуб.

— А, стонадцать коп чертей с горохом! О, чтоб вас, чертовых крутивусов, черти редькою по пятницам били! Чтоб ваши матери ежей родили против шерсти! Чтоб вам подавиться дохлою мерзлою собакою, чтоб она у вас в поганом брюхе и таяла, и лаяла!

Выругавшись вдоволь и облегчив этим хоть немножко казацкую душу, он тотчас же сорвал несколько широких листов лопуха, разложил их на солнце, высыпал на них подмоченный тютюн, вздел на сухой сук орешника кусок мокрого трута, потом повесил на кусты мокрую же шапку, снял сапоги, штаны, сорочку, все это развесил на солнце и остался в таком виде, в каком поп отец Данило вынул его когда-то из купели.

— Раздевайтесь, хлопцы! — скомандовал он.— Теперь и так тепло.

Товарищи последовали его примеру. Друкарь после водки смотрел совсем молодцом.

Из переметной сумы вынули намокший хлеб, вяленую, тоже намокшую, рыбу и стали все это сушить на солнце, которое не ленилось исполнять возложенные на него казаками обязанности: оно пекло так, как только оно в состоянии печь в степях Южной России.

Молодые беглецы, допекаемые жаром и чтобы сократить время, стали купаться в той самой речке, в которой они недавно прятались от погони. Теперь, наученные недавним опытом, они выдумали очень полезную для их целей игру, которую и называли «очеретянкою». Игра состояла в том, что, вырезав себе опять такие камышинки, с помощью которых им удалось спастись от преследователей, они по жребию прятались в воде; тот, кому выпадал жребий «ховаться», брал камышинку в рот и нырял с нею в воду, а товарищи должны были следить за ним на поверхности реки и замечать, где покажется из-под воды кончик камышинки.

Солнце между тем делало свое дело. Развешенное платье беглецов было им достаточно высушено, тютюн подсох также порядочно, труту возвратилась его воспламенительная способность, и запорожец, одевшись молодым, распустив свои широкие, как запорожская воля, шаровары и закулив люльку, казался совсем счастливым.

— Ну, хлопцы, теперь в дорогу, в ходку! — сказал он, поглядывая на солнце. — Солнышко еще высоко, до вечера не мало стени пройдем, а вечером отпочинем час-другой да вновь в ходку на всю ночь.

Отойдя от места стоянки небольшое пространство, запорожец взшел на ближайший курган, осмотрел степь своими зоркими привычными глазами на несколько верст кругом и, убедившись, что степь свободна от польских разведчиков, велел рушась дальше.

Степь становилась все пустынное и казалась необозримее и диче. Они перерезали знаменитый Черный шлях, которым не решались идти из опасения встретиться с польскими гонцами, часто ездившими в Крым, либо с купеческими караванами, конвоируемыми вооруженною стражею. Наши беглецы шли по правую сторону Черного шляха, местами, по-видимому, очень хорошо знакомыми запорожцу.

— Вот кабы кони у нас не бежали, то-то б хорошо было! — сожалел Грицко, таща на себе суму с баклагой.

— Эге! Коли б кони, то и Фома с Еремою умели б ездить! — процедил запорожец, сося трубочку.

— А что, поймали их ляхи? — интересовался Юхим.

— Эге! Ловила баба воду решетом, — пояснил запорожец. — Я им такого терну дал, что они, поди, и теперь летают по стени, коли не дали дуба.

Под вечер беглецы остановились в небольшой балке, недалеко от Черного шляха, где, как это известно было запорожцу, можно было найти криницу с холодною ключевою водою. Молодцы подкрепились пищею, напились холодной воды и легли спать в этой самой балке, в густой траве, где их не легко было найти.

Встали они с восходом месяца и снова продолжали путь.

Ночь была необыкновенно хороша. Полный месяц, поднявшись высоко, казалось, стоял, очарованный чудною картиною ночи. Он казался почти белым, какого-то серебристо-молочного цвета, и этим серебром обливал бесконечную степь, которая представлялась чем-то волшебным, полным таинственных чар и видений. Грицко так и чудилось, что вот-вот он увидит, как, обдаваемая серебром из этого боль-

шого серебряного окна в небе, баба Вивдя, всему Острогу знаемая ведьма, в одной сорочке, расхристанная, с распущенною косою, пролетит на метле над этою волшебною степью, а за нею на ослоне промчится коваль Шкандибенко, которого она околдовала чарами... Глянув на месяц, он, казалось, в самом деле видел, как там брат брата вилами колет, и ему хотелось закричать на всю таинственную степь: «Не коли, чолов.че,— гріх!..» То ему казалось, что вот-вот в это окно на небе кто-то выглянет на землю, на эту тихую, посеребренную белыми лучами степь, и закричит: «Куда вы, хлопцы, идете?..» То казалось, что в о н о закричит сзади, где-нибудь за спиною, и Грицко оглядывался назад, и там казалось все еще более таинственным и безмолвным... Чудилось, будто трава шепчется между собою и «тирса» лепечет детскими голосами: «Не топч.ть мене, хлопц., бо мене ще ніхто не топтав...» Кое-где сюрчали ночные полевые сверчки, как бы кого-то предостерегая: «Го-го-го-го! Вон кто-то идет степью — берегитесь, не показывайтесь...» В шестесте травы под ногами слышалось что-то таинственное: не то русалка косу чешет на месяце и тихо смеется, не то под землею кто-то плачет... Именно это самое безмолвие ночи и степи и наполняло окрестность таинственными звуками и видениями: вместе с лучами от месяца, казалось, сыпалось на степь что-то живое, движущееся, но неуловимое и тем более шевелившее корнями волос на голове...

«Ги-ги-ги-ги!» — закричало вдруг в степи что-то страшное, и Грицко так и присел со страха и неожиданности.

— Ох, лищечко! Что это такое?

— Господи! Покрова пресвятая! Покрой нас!

«Ги-ги-ги-ги!» — повторилось ржание; и темная масса, описав полукруг по степи, остановилась перед изумленными путниками.

— Коею, коею, тпруськи, иди сюда, дурный! — ласково заговорил запорожец, идя к темной массе.

— Да это конь, хлопцы! Вот испугал! — опомнились молодые беглецы.

Это действительно был конь, один из тех коней князя Острожского, на котором ехали беглецы днем. Благородное животное стояло, освещенное луною, наострив уши...

— Коею, кося, дурный! — соблазнял его запорожец, подходя все ближе и ближе.

Но конь фыркнул, повернулся, взмахнул задними копытами и как стрела полетел степью. Не на такого, дескать, наскочил н...

— И не чортова ж конина! — проворчал запорожец. — Стонадцать коп! Вот ушкварил!

Когда солнце несколько поднялось над горизонтом, решено было сделать роздых.

— Вот теперь будет козацкая ночь, — пояснил запорожец.

Пройдя всю ночь, беглецы, действительно, нуждались в отдыхе, и этот отдых им выгоднее было позволять себе днем, чем ночью: ночью они безопаснее могли продолжать свой путь, да ночью же не так и жарко, как под полуденным раскаленным солнцем.

На этот раз они расположились в верховьях небольшой речки, впадающей в Буг, где можно было найти и тень, и воду, и проспали безмятежно почти до полудня. Только пробуждение их, как и накануне, было трагическое.

Раньше всех проснулся друкарь. В момент пробуждения слух его поражен был каким-то глухим, сильным, но могучим ревом, напоминавшим рев разъяренного бугая. Боясь какой-либо опасной случайности, Безридный поспешил разбудить своих товарищей.

— Ты что, друкарю? — спросил, торопливо вскакивая, запорожец, — Уж не ляхи ли либо татары?

— Нет, дядьку, а что-то ревет.

Рев повторился и совсем близко: животное без сомнения шло сюда.

— Это тур, — сказал запорожец, тревожно оглядываясь, — надо спрятаться, этот черт хуже ляха и татарина.

Действительно, зверь не замедлил показаться. Это было страшное чудовище, хотя оно и напоминало собою обыкновенного украинского вола или бугая. Громадная голова с широчайшим лбом, на котором петушился в обе стороны огромный чуб, встрепанный, с вцепившимися в него колючками репейника и терновника; овально изогнутые рога — рожища такой величины и толщины, что в них, действительно, по сказанию былин богатырского цикла, могло войти по «чаре зелена вина в полтора ведра»; широчайшая, истинно турья, шире, чем воловья, шея на спине сходилась с надлопаточным горбом, а книзу, морщась широкими, жирными складками, оканчивалась лохматой бородой. Все это было необыкновенно страшных размеров, а дикие глаза изобличали такую же дикую, беспредметную свирепость — свирепость ко всему, на что они ни смотрели — на человека, на дерево и на все живое — все это ему хотелось посадить на рога и затоптать толстыми, обрубкова-

тыми ногами с двукопытными «ратицами». Хвост чудовища кончался длинным пучком волос, который украсил бы собой лучший султанский бунчук.

Ясно было, что чудовище шло к водопою — шло, понунив голову, и страшно ревело. К счастью, недалеко от этого места, над самою криницею, рос старый ветвистый дуб. Запорожец сразу оценил все выгоды своей позиции и моментально решил, как ему действовать в виду страшного врага. Он сам был своего рода буй-тур, хотя немногим умнее рогатого тура.

Чудовище, увидав людей, остановилось в изумлении и перестало реветь. Потом оно начало рыть ногами землю, бить хвостом по бокам и, понунив голову, снова заревело, но еще более угрожающим ревом.

— Хлопцы! — быстро скомандовал запорожец. — Зараз лезьте на дуб, скорей, скорей!

Молодцы не ждали повторений. Как кошки, они подрались на дерево, цепляясь за кору и сучья, и расположились на высших ветвях дуба. Запорожец же, с длинным копьём-ратищем наперевес, остановился у самого дуба и смело ждал врага. Чудовище продолжало реветь и шло медленно, угрожающе потрясая громадною рогатою головою и бороною.

Запорожец, сняв шапку с красным верхом, замахал ею как бы в знак приветствия рогатому гостю. Высокий рогатый гость, увидав красное, окончательно освирипел и бросился на дерзкого казака, хрустя по земле огромными копытами... Вот-вот он посадит на рога несчастного...

Но запорожец ловко увернулся и стал за дубом. Чудовище ринулось прямо и стукнулось лбом о дерево, в полной бычачьей уверенности, что толстый кряжевик-дуб повалится, как гибкий тростник. Но дуб не валился, а несообразительное животное продолжало переть лбом в несокрушимый кряж. Тогда «хитрый хохол», запорожец, высунувшись из-за дуба, своими лукавыми глазами и красною верхушкою шапки еще более обозлил свирепое животное и в один миг всадил копьё под левую лопатку зверя, в то самое место, где природа поместила сердце как у человека, так и у животного. Почувствовав боль, тур заревел так неистово, что Грицко чуть не свалился с дуба, а друкарь стал испуганно креститься и читать «Богородицу».

Стоя за дубом, запорожец продолжал глубже всаживать свое ратище в сердце чудовища, которое не выдержало и с ревом и хрипением опустилось на колени. Кровь из раны

лилась фонтаном, окрашивая темным пурпуром коренья дуба и соседнюю зелень и землю. Животное силилось приподняться и снова било рогами дуб, не догадываясь, что сделай оно шаг вправо или влево вокруг дуба — тело запорожца трепетало бы на рогах или извивалось, как червяк, под копытами.

Запорожец, всадив копы еще глубже, как кошка, выскочил из-за дуба с длинным ножом в руке и, размахнувшись во все плечо, вонзил блестящее железо в темя животного или, вернее, в затылок, в то самое место, где кончается череп, голова и начинается позвоночный столб... Железо вонзилось по самую рукоятку... У тура подкосились ноги, и он запененною мордою ткнулся в корень дуба, падая всею массою своего громадного тела...

— Вот же тебе, туре! — запыхавшись, проговорил победитель. — Кланяйся ниже-низенько, кланяйся козаку в ноги!

Умиравшее животное хрипело, судорожно вздрагивая.

— Хлопцы, будет вам воробьями на дубе сидеть, — обратился запорожец к своим товарищам.

Те слезли с дуба и с изумлением и страхом смотрели на бездыханное уже чудовище.

— Фью-фью-фью! — засвистел Грицко, — вот так бугай!

— Да еще и с бородою, точно козел! — удивлялся Юхим.

Запорожец по преимуществу любовался рогами и хвостом убитого им животного. Он гладил рукою, восхищался их гладкостью, измерял их длину четвертями.

— Да и пороховницы ж добрые выйдут! — невольно восклицал он. — Вот пороховницы, стонадцать коп!

Роскошный густой хвост тура вызывал в нем другие казачьи мечтания.

— А из хвоста — бунчук на все войско Запорожское! Такого бунчука и у самого султана нет...

Победа над туром являлась торжеством и в другом отношении — в экономическом, как теперь сказали бы. Провизия у беглецов была на исходе: рыба вышла, огурцы вышли, хлеба — самая малость. А турьего мяса хватит на всю дорогу, особенно если его порезать на куски да повялить, закоптить хорошенько на костре. На этом запорожец и порешил, сообщив о своем решении товарищам.

Все четыре молодца поделали из своих широких поясов лямки, прикрутили их к рогам тура, впряглись в них и потащили чудовище вниз, в лесную чащу, чтобы там его ободрать, расчленить и приготовить впрок.

— А что, хлопче,— лукаво обратился к Грицку запорожец,— кто тяжелее, этот тур или Загайло?

— Эге, дядьку! — насупился Грицко.— Тот в таратайке, Загайло, в таратайке легко...

— А вы б его без таратайки, как тура...

И запорожец многозначительно подмигнул.

## IX

Конашевич-Сагайдачный... Если кому из сынов своих должна поставить памятник Малороссия, то, бесспорно, Петру Конашевичу-Сагайдачному.

Сагайдачный — одна из самых крупных и благороднейших личностей в истории Малороссии, хотя эта самая история почти пропустила его.

Что же была за личность — Конашевич-Сагайдачный!..

На Днепре, в городе Самборе, жила себе жена благочестивая, «удова старенька», по прозвищу Сагайдачиха. Было у нее единственное чадо любимое — сынок Петрусь. Это был хлопчик тихий, «слухняний», хотя нередко огорчал мать странными выходками, которые состояли в том, что он нередко пропадал по целым дням и неделям, а потом появлялся где-нибудь верст за сто и более от родного города и возвращался оттуда либо с чумаками, либо с почаевскими и киевскими богомолками. Когда мать, бывало, спрашивала его: «Где ты, сынок, пропадал?» — он отвечал, что либо ходил к рахманам, либо искал, где конец света, либо, наконец, «розпитував старців, де живе Вернигора» и старушка, бывало, только о полы руками ударит. Все, что Петрусь слышал чудесного и таинственного, все это он хотел сам видеть. Слышал он как-то, что живут где-то неведомые люди, какие-то рахманы, и что найти их можно следующим образом: когда бывает у людей великдень и люди едят крашеные яйца, то если бросить от священного яйца кожуру в воду, так, чтоб она не потонула в реке, то кожура эта поплывет по реке, будет плыть день, два, три, может быть, неделю и более, и доплывет, наконец, до рахманского царства. И вот тогда, когда рахманы увидят, что приплыли к ним крашеные кожуры с того света, тогда и у них начнется великдень. Вот, наслышавшись этого, Петрусь Сагайдачный однажды бросил на великдень яичную скорлупу в Днепр — и исчез из Самбора: он пошел по берегу Днепра вслед за плывшею по воде скорлупою, потерял ее, конечно,

из виду и все шел, пока знакомые чумаки не встретили его на дороге и не привели к матери. Таким же точно образом он искал и конца света, и таинственного Вернигору, про которого он слышал, что горами ворочает.

Старая Сагайдачиха, сокрушаясь о сынке, говорила о его странностях на исповеди самому батюшке, и батюшка успокоил ее, что хлопчик недаром ищет конца света, что ему так от бога положено, что в отрочестве, по неразумию своему, он ищет рахманов и Вернигору, а когда возмужает, то станет угодным богу и будет истину разыскать; что поэтому его следует отдать книжному научению, — «и процветет разум хлопчика, яко сухой жезл Ааронов», — сказал в заключение батюшка и, увидев после того Петруся, погладил его по головке и сказал, улыбаясь: «Быть тебе Вернигору».

Тогда Сагайдачиха, отслужив напутственный молебен, отвезла своего любимца в Острог и отдала в тамошнюю школу. В школе Петрусь учился хорошо, но также отличался разными выбрыками: то удивлял учителей необыкновенно быстрым пониманием предмета ученья, то опережал всех знаниями, то вдруг начинал лениться, пропадал по целым дням, бродил неведомо где и потом снова являлся. Когда наставники спрашивали его, где он пропадал, юный Сагайдачный нехотя отвечал, что он ходил в пустыню, искал бога, постился в надежде, что ему явится бес для искушения, но бес не являлся, и тому подобное. Между тем наставники не могли не видеть, что он был очень богомолен, много читал священных книг, много знал, и надеялись, что из него выйдет пустынный. Но вышло не то — юный Сагайдачный пропал, так-таки пропал без вести.

Где он пропадал — никому не было известно: одни предполагали, что, по своей письменности и, порой, необыкновенной набожности, он ушел на Афон, где с давних пор спасался его земляк Иоанн из Вишни; другие, более смелые, подозревали, что он «помандрував» на Запорожье.

Через много лет случилось такое обстоятельство. На спаса в городе Черкассах, на рынке, среди разряженного по-праздничному поспольства, среди степенных мещан и длинноусых казаков, среди пестрой молодежи — парубков, дивчат, молодежи и детворы, среди наваленных на площади гор арбузов, дынь и огурцов, посреди возов с яблоками, сливами, грушами, бродил себе одиноко неизвестный ободранец, «бідний козак нетяга», каким он казался всем видевшим его: не то бурлак — «попихач жидівський», которому жизнь не задалась, не то пропившийся казак, не то горе-



мычный свинопас и волопас, забравшийся на рынок и не имеющий в кармане ни шеляга, на что бы купить себе праздничное яблочко либо свечку богу поставить от своего сиротства. На бедном казаке-нетяге, как говорится в думе, болтались три сиромязи — три сорта лохмотьев: «опанчина рогозовая» — это епанечка, сплетенная из рогозы, из травы-ситника, нечто вроде плохой и дырявой рогожки; другое на нем украшение — поясина хмелевая, пояс, скрученный из завядших плетей хмеля; еще на казаке украшение — чеботы-сапьянцы, да такие, что сквозь них видны пятки и пальцы: «где ступит — босой ногой след пишет...». Таков-то был молодец! Мало того: еще на казаке красовалась баранья шапка — шапка-бирка, сверху дырка, мех давно облез, и околыша тоже, как говорится, чертма: вообще шапка на удивление — «дождем прикрыта и ветром на славу казацкую подбита...». Но молодец ходит себе гордо, поплеывает через губу и даже задорно поглядывает на каких-то пышных трех не то ляхов-панов, не то казаков, которые корчат из себя ляшков-панков и даже немножко «ляхом вырubaют», то есть стараются говорить по-польски: одним словом, это были настоящие «дуки-ср<sup>а</sup>бляники», богачи, знатные казаки.

— А не пойти ли нам, шановные панове, до шинкарки? — сказал один из дуков, искоса поглядев на оборванца-нетягу.

— До Насти Горовой, шинкарочки степовой? — спросил, ухмыляясь, другой дука.

— А хоть бы и до Насти, — отвечал первый.

— Добре, панове! У нее такой есть запридох — горилка оковита, что аж очи рогом лезут от единой чарки, — пояснил третий.

Нетяга как бы и не слышит этого, да и исчез меж возами с яблоками и грушами.

Когда, однако, дуки вошли в шинок и поздоровались с красивою молодою шинкаркою, которая показала им все жемчужные зубы из-за коралловых губок, они заметили, что оборванец-нетяга был уже тут: он стоял скромно у топившейся печки и, по-видимому, сушил у огня свою еще накануне промокшую от дождя шапку, готовую, казалось, совсем развалиться.

Хотя, по народному обычаю, позже вошедшие в шинок и должны были поздороваться с прежде вошедшим, какой бы он ни был оборванец и даже пропойца, однако кичливые дуки этого не сделали и важно уселись за стол.

— Гей, Насте-сердце! — сказал старший из дуков. — Давай нам меду и доброй горилки!

— Какой же, паночку, вам горилки дать, — зашебетала шинкарка, звеня монистами и медным крестом, висевшими на полной груди, — простой или оковитой?

— Самой пекельной, запридоху! — пояснил второй.

— Спотыкачу, дядько спотыкайленко, — добавил третий.

Шинкарка метнулась к стойкам, достала требуемое, поставила на стол, сбегала потом за медом, который так и пенился, как сердитый пан, — все это расставила на столе, а потом отошла в сторону и подперла розовую Щеку рукою.

— Пейте, паночки, на здоровьечко, да не забывайте вашу милостию Настю кабачную, — прошебетала она и поклонилась.

А нетяга все стоит у печки, все сушит свою лохмотную шапку и искоса поглядывает на кичливых дуков. Те принялись пить — и снова, вопреки народному обычаю, хоть бы один из них предложил бедному оборванцу «меду склян-ку» либо «горилки чарку».

По лицу нетяги пробежала недобрая улыбка, и он продолжал поглядывать на пирующих. В этих ясных черных глазах было что-то такое, отчего дукам становилось жутко, водка не шла в горло... Злил их этот оборванец своим спокойным взглядом; казалось, что эти глаза, глаза оборванца, смотрят на них так, как иногда глаза большого пана, какого-нибудь ясновельможного князя, смотрят на самого жалкого хлопа..

Не вынесли этого дуки, тем более, что и хмель стал уже разбирать их головы.

— Гей, шинкарка Горовая, Настя молодая! — закричал Войтенко, ломаясь и корча из себя великого пана. — Гей, шинкарко! Нам сладкого меду подливай, а этого казака, пресучьего сына, взашей из хаты выпихай!

— Вон его! Вон! — прикрикнул и Золотаренко. — Должно быть, он, пресучий сын, по винницам да пивоварням валялся — опалился, ошарпался, ободрался, да теперь к нам пришел добывать, чтоб в другую корчму нести пропивать.

Оборванец на это только улыбнулся, а шинкарка со смехом подошла к нему и взяла за черный чуб.

— Пошел, пошел, козаче, иди с богом, — хохотала она, таща оборванца, словно вола за рога, а другой рукою слегка колотя в затылок.

Оборванец, конечно, упирался. Настя хохотала и тащила его дальше, пока с величайшим трудом, вся запыхавшись,

не дотащила до порога. Но дальше порога оригинальный гость не шел: он уперся голыми пятками в порог, зацепился репьем в дверях и нейдет... Умаялась Настя.

— А цур тебе да пек! Вот бугай какой здоровый! — смеялась она, дуя на ладони. — Ах, ладони болят.

Тогда старшему из дуков, Гавриле Довгополенко, стало жаль несчастного, и он, вынув из кармана мелкую монету и подойдя к шинкарке, тихонько сказал:

— Вот что, Настя-сердце, хоть ты на этих бедных козак-ов и зла, да все-таки добрая... Коли б ты, сердце, сбегала в погреб, да на вот эту людскую денежку хоть какого-нибудь пива нацедила этому козаку, бедному нетяге, на похмелье живот его козацкий покрепила.

Шинкарка взяла денежку, лукаво улыбнулась и сказала, что напоит оборванца. Вышла она за перегородку и шепнула наймычке:

— Беги, девка-наймычка, в погреб, да возьми ендову четвертную, да наточи пива, да только не из первых бочек; пропусти ты восемь бочек, а с девятой наточи поганого пива: уж лучше его таким нетягам раздать, чем свиньям выливать.

Но молодая наймычка оказалась жалостливее своей хозяйки. Она сама знавала нужду и сочувствовала бедности. Притом же лицо оборванца показалось ей добрым и красивым, а таких ласковых, говорливых глаз под черными бровями она ни у кого не видала. Поэтому она не последовала наказу хозяйки — миновать восемь бочек в погребе и наточить из девятой негодного, промозглого пива. Напротив, захватив толстую, новую, тяжелую четвертную ендову с ушками, она минула девятую бочку и наточила меду из десятой — лучшего, крепчайшего меду, какой только был в погребе и который назывался «п'яне чоло».

Воротившись с ендовой в светлицу, наймычка отвернула лицо от меду, показывая вид, будто бы напиток этот очень воняет, а между тем ласково подмигнула бродяге и, подавая ему ендову, поклонилась.

Бродяга сочувственно сверкнул своими черными глазами, взял из рук ее ендову, медленно прислонился к печке, не торопясь попробовал напиток, посмаковал — нашел, что он отличный, улыбнулся своею загадочною улыбкою, плотно приложился губами к ендове и напился досыта. Передохнув немного, он снова взял ендову за одно ухо, наклонил ее, припал к краю — и стало в той ендове сухо... Бросилась казаку в голову хмелинушка — «п'яне чоло», действительно, оказалось пьяным.

А дуки все бражничают...

Вдруг бродяга как хватит дубовой ендовой о пол! Удар был так силен, что со стола у дуков повалились чарки и пляшки, из печи полетела сажа, а шинкарка с испугу присела за прилавок.

— Ох, лищечко! — завопила она.

Пирующие вскочили с мест. Они были шибко озадачены.

— Вот дурень! — укоризненно сказал Золотаренко. — Верно, он доброй горилки не пивал, что его так и поганое пиво опьянило.

Услыхав это, бродяга выпрямился, бодро подошел к столу и, глядя смелыми, сверкающими глазами на дуков, закричал:

— Гей вы, ляхове, вражьи сынове! Ну-ка, подвигайтесь к порогу, чтоб мне, козаку-нетяге, было где в переднем углу с лаптями сесть.

Дуки нерешительно переглянулись. Бродяга смотрел на них уже не тем жалким бродягой.

— Вон, дуки-срибляники! — повторил он свой окрик.

Дуки видели, что с таким пьяницей и силачом не совладаешь, что он, пожалуй, и в них ендовой пустит — и заблагорассудили подвинуться, дать за столом место этому разбойнику.

Шинкарка тоже присмирела и удивленно посматривала на странного гостя. Наймычка выглядывала из-за перегородки, стараясь уловить его сердитый взгляд.

Бродяга между тем сел за стол на переднее место, отодвинул от себя чарки и бутылки и вынул из-под своей рогожной опанчи широко золотный обушек.

— Гей, шинкарко! — крикнул он, кладя свой заклад на стол. — Цебер меду за этот обушек!

Перепуганная недавним громом, шинкарка не знала, что ей делать, и вопросительно поглядывала на дуков, боясь встретиться с сердитым взглядом бродяги.

Дуки с улыбкою переглянулись.

— Не давай ему, Настя, — сказал, наконец, Войтенко, — не выкупит он у тебя этого залога, пока не станет у нас волов погонять или у тебя печи топить.

Тогда бродяга, не говоря ни слова, распустил свой пояс из хмелевых плетей, расстегнул находившийся под рогожною епанчою кожаный широкий пояс — черес, тряхнул им, и из него посыпались блестящие червонцы, которые так и устлали собою весь стол.

Картина быстро изменилась.

Шинкарка ахнула и перегнулась всем телом через стойку. Красивые глаза ее засверкали алчностью, губы задрожали. У дуков, при виде такой кучи золота, и хмель из головы выскочил. Они бросились наперерыв ухаживать за бродягой.

— Ох, братику, пане козаченьку! Как же ты нас одурачил! — заговорил Золотаренко.

— Выпей, козаченьку, выпей, сердце, нашего меду-горилки! — юлил Войтенко.

— Не держи на нас, братику, пересердия, что мы над тобой насмеялись, — то мы шутили...

Нетяга, не говоря ни слова, подошел к отворенному окошку и свистнул.

И вдруг — откуда ни возьмись — в шинок входят три хорошо одетых казака, в виде джур, или оруженосцев, и, низко кланяясь, подходят к бродяге.

— Здоров був, батьку козацкий! Вот твои шаты, — сказал первый из них, — шелковые жупаны.

— А вот твои, батьку, желтые сапьянцы! — приветствовал его второй джура.

— А это твои, батьку, червонные шаровары да шапка-оксамитка, — приветствовал третий.

И действительно, в руках у пришедших были дорогие одежды: у первого — голубые шелковые жупаны с золотыми кистями и шитьем, у другого — желтые сафьянные сапоги, у третьего — красные широчайшие штаны, такие широкие, что когда в них казак идет, то сам за собою штанами след замечает.

Бродяга тут же, не стесняясь присутствием прекрасного пола, сделал свой туалет и закрутил усы.

Когда неизвестный бродяга преобразился в богато одетого казака, в лыцаря, старший джура обратился к нему с следующими словами, повергшими дуков и шинкарку в крайнее смущение:

— Гей, Фесько Ганжа Андыбер, батьку козацкий, славный лыцаре! Долго ли тебе тут бездельничать? Час-пора идти на Украине батьковать.

Дуки даже отшатнулись назад при этих словах и подвинулись к самому порогу.

— Так это не есть, братцы, козак, бедный нетяга, — шептались они испуганно.

— Эге! Это есть Фесько Ганжа Андыбер — гетман запорожский...

— Отаман кошевой, братцы, — про его славу давно было слышно!

Оправившись немного, они с поклонами приблизились к преобразившемуся бродяге и стали извиняться, что ошибкой пошутили с ним.

А Гаврило Довгополенко, подойдя к нему и кланяясь низко, сказал:

— Придвинься ж и ты к нам, батьку козацкий, ближе, поклонимся мы тебе пониже — будем думать да гадать, как бы хорошо было на славной Украине проживать.

А Войтенко и Золотаренко стали тотчас же подносить ему из своих рук мед и вино. Странный незнакомец не отказывался от угощенья, но, принимая из их рук напитки, не пил их, а выливал на свою дорогую одежду.

— Эй, шаты мои, шаты! — восклицал он при этом. — Пейте, гуляйте! Не меня честят — вас поважают, потому как я вас на себя не надевал, то и чести от дуков-срибляников не видал.

Озадаченные дуки растерянно переминались с ноги на ногу, стыдась взглянуть в глаза этому, как с неба свалившемуся, дьяволу и его трем чубатым загорелым аггелам. Шинкарка тоже стояла ни жива ни мертва. Одна наймычка видимо ликовала, тараща свои радостные глаза на казака-нетягу, что теперь так и сиял в дорогих шатах.

Но недолго длилось это замешательство. Страшный незнакомец глянул на своих молодцев.

— Эй, козаки-детки, други-молодцы! — крикнул он и ласково и грозно в одно и то же время. — Прошу я вас, други, добре дбайте этих дуков-срибляников, за лоб, словно вьюлов, из-за стола выводите, перед окнами положите, по три березины им всыпьте, чтоб они меня вспоминали, до конца века не забывали.

И он указал на Войтенко и на Золотаренко, а к Гавриле Довгополенко обратился дружески:

— А ты, брате, садись около меня, выпьем: ты бедным человеком не погордовал, а кто бедным человеком не гордует, того и бог добром взыскует.

Войтенко и Золотаренко джуря между тем взяли за чубы и, словно волов, вывели из шинка, разложили под окнами и, несмотря на их крики, на то, наконец, что со всего рынка и с берега сбежались толпы любопытных, выпороли березою преисправно и еще прочли им нравоучение.

— Эй, дуки вы, дуки! — приговаривал тот, который сек. — За вами луга и леса: негде нашему брату, козаку-нетяге, стать, коня попасть...

— Так их, так их, дуков! — кричала толпа. — Они у бедного человека последнюю сорочку снимают.

— Вот так Фесько козак! Вот так Ганжа Андыбер! — раздавались радостные голоса. — Это он за нашего брата стоит, за голоту...

Этот таинственный оборванец, этот Ганжа Андыбер и был Петр Конашевич-Сагайдачный, столько лет пропавший без вести.

## X

После объявления Сагайдачным, вслед за последним его избранием в кошевые атаманы, морского похода, прошло более недели в приготовлениях. Приготовления эти были не особенно сложные: приводились в окончательный порядок чайки, конопатились плотнее, смолились и оснащались канатами, причалками, якорями — из железа и просто из булыжника с положенными накрест деревянными лапами; изготовлялись запасные веревки, весла и «правила»; чинилась и штопалась рваная одежда — штаны, сорочки, шапки, кожаные, чеботы и пояса — череса для татарских и турецких будущих золотых; пеклись хлебы, резались на сухари и сушились по горнам и просто на полах и конских пополах; запасались в дорогу и предметы роскоши — цибуля, чеснок, соль, «тютюн», сушеная тарань и лещ, наливались бочонки, баклаги и «барилы» доброю водкою — горилкою, оковитою. Войсковою грамотей, «письменник» Олексий Попович, отчаянный «протисвѣт» из киевских бурсаков, захватил в дорогу и святое письмо.

Необыкновенно трогательно было по своей простоте и детской наивности выступление в поход и собственно напутственное молебствие, которое, за неимением в Сечи попа и церкви, как-то особенно по-казацки отмахал Олексий Попович. Некоторым казакам захотелось помолиться перед выступлением в грозную, далекую, неведомую дорогу; а как молиться — они не знали... «Бог його зна, що воно таке там піп чита, коли у дорогу напутствує, — говорили иные из них, видевшие иногда в Киеве напутственные молебны, — про якогось-то там Пилипа-мурила та про царицю якусь Кандакію, а до чого ся цариця — бог його знає...»

И вот, когда все курени, все войско Запорожское высыпало на берег к чайкам и когда гребцы заняли уже свои места, а все остальное товариство толпилось то вокруг своих хоруг-

вей, «корогов», то у чаек, внимание всех было привлечено появлением на гетманской чайке Олексия Поповича с книгою в руках. Он был без шапки. Всегда дерзкая, забубённая, постоянно поднятая кверху голова его теперь была смиренно наклонена над книгою. Полуденный теплый ветерок играл его черным чубом и хоругвями, которые тихо поскрипывали... Берег на целую версту был усыпан казаками, как огород цветами.

Олексий Попович, подняв глаза на атаманскую хоругвь, перекрестился. Как бы по волшебному мановению все войско сняло шапки.

— Олексш Попович святе письмо читает! — прошло по рядам. — Слушайте, братц!

«Ангел же Господень рече к Филиппу, глаголя: возстани, иди на полудне, на путь, сходящий от Иерусалима в Газу, — и той бе пуст...»

Громко раздавалось по воде и по всему берегу внятное, внушительное чтение Олексия Поповича. Казаки слушали его напряженно, едва дыша... Они слушали сердцем и детскою, верующею мыслью, слушали не Олексия Поповича, этого подчас пьяного «гульвісу», этого задорного «розбишаку» и отчаянного «пройдисвіта», не дававшего, где это было можно (только не в Сечи), спуску ни дивчатам, ни молодежи, а слушали они своим чистым сердцем святое письмо. Лица казаков были серьезны, внимательны, тем более серьезны, чем менее понимали они читаемое, это таинственное святое письмо, которого они сами не умели читать. Их чубами на наклоненных задумчивых головах играл полуденный ветерок.

Голос чтеца крепчал все более и более — он сам увлекался, выкрикивая церковные слова с украинским акцентом, превращая «ять» в «и», а «и» в «еры», в «ы», что особенно было по душе слушателям. Эти непонятные для них слова — этот мурын, этот евнух и какая-то царница — все это входило в душу слушателей таким же непонятным, таинственным, но тем более умиляющим сердце. Кто-то куда-то едет на колеснице, читает пророка Исайю... А тут и дух, и Пилип, и рече... И они, казаки, куда-то едут — далеко-далеко... И под голос чтеца, под звуки этого святого письма каждому вспоминается либо родная хата с вербою, либо «старенька мати», вся поглощенная горем разлуки, либо «д.вчина коло криниц.», прощающаяся с казаком, а слезы текут по побледневшим щекам да в криницу кап-кап-кап...



— Смотрите, смотрите! — раздались вдруг голоса.  
 — Козаки бугая ведут!  
 — Да то не бугай же! Разве тебе повылазило?  
 — Да бугай же и есть, чертов сын!  
 — Не бугай, иродове цуценья! То сам тур! Разве не видишь — бороною трясет?  
 — Да тур же, братцы, тур и есть, вот внезапия\* так внезапия!

Действительно, глазам молящихся казаков представилась невиданная внезапия. На том берегу Днепра, как раз против берега, усыпанного казаками, какие-то два — не то казаки, не то просто «хлопцы» — вели на веревке живого тура, который упирался и сердито мотал головой. Разве же это не чудо, не внезапия! Живого черта за рога тащат! Да разве же это видано! Два хлопчика живого тура ведут, а он ломается, как свинья на веревке... Это какие-нибудь чары...

Хлопцы, ведущие тура, машут шапками, зовут...  
 — Да это, может, татары, чертовы сыны, глаза отводят...  
 — Какие татары! В наших штанах...  
 — Да глаза ж отводят — характерники, может...  
 — Мы им отведем...

Некоторые из казаков бросились в стоявшую у берега большую рыбацкую лодку, схватили весла и, лавируя между чайками, птицей понеслись к тому берегу, где проявилась эта внезапия. Скоро лодка пристала, казаки выскочили из нее, подбежали к чуду... Разводят руками, дивуются\*. Те, что привели чудо на аркане, снимают шапки, здороваются с казаками...

Видят казаки с этого берега еще большее диво: тур начинает плясать и брыкаться... Слышно, как там казаки, глядя на пляшущего тура, смеются — за животы берутся...

— Что оно такое, сто копанок чертей! — не вытерпел Филон Небаба.

— Да то ученый тур! Может, 'москали, как медведя, научили его танцевать...

— Эге! Научишь бабу козаком быть!

Скоро увидели, что все — и приехавшие в лодке казаки, и приведшие тура, и сам тур — сошли к Днепру и сели в лодку... Видно, как тур стоит в лодке и бороною трясет...

— Вот чертова проява! И не диво ж!  
 — А рога какие, братцы! Вот рога!  
 — Оеракие! А хвостике!  
 — А борода точно у козла. Цаниная борода...  
 — Где козлу до такой! Точно у доброго москаля...

Между тем лодка пристала к этому берегу, и из нее вместе с казаками и двумя неизвестными молодцами вышел сам тур, крутя головою и потрясая бородою... Его так и обсыпали кругом запорожцы...

Но в этот момент из него выскочил... казак, запорожец.

— Пугу! Пугу! — запугал он пугачем.

— Козак с Лугу!

— Ай, да это ж Карпо!

— Да Карпо ж Колокузни, чертов сын! Вот выдумал!

Из тура выскочил и другой молодец, знакомый наш Грицко, что возил патера Загайлу в таратайке... Тур, то есть его шкура, никем не поддерживаемая, повалилась на землю.

— Карпо! Карпуха, братику! Здоров був, братику! — начались приветствия со всех сторон и расспросы.

— Откуда? Как? Как бог принес? Сам убил этого чертяку? Что паны-ляхи? Что ксендзы?

— Ксендзы на хлопцах ездят...

— Как на хлопцах?

— Да вот я и коней панских привел... Они возили на себе Загайлу... Это Грицко, это Юхим, это друкарь, Федор Безридный — козаками будут...

В этот мом'ент на валу прогремела вестовая пушка, и белый дымок ее понесло туда, к Украине... Другой белый дымок взвился с другой стороны вала, и снова грянул выстрел... И этот дымок понесло к Украине, пока не развеяло его в голубом воздухе... И третий дымок, третий выстрел...

Почти каждый из казаков глянул на хоругви и перекрестился. Лица стали серьезные.

Как пчелы в свои ульи, сыпнули казаки каждый к своему куренному значку, к своей чайке, где молодые гребцы, казаки-молодики, пробовали ловкость и удобство своих весел.

— А как же хлопцы? — спросили Карпа другие казаки, указывая на его молодых товарищей, которые стояли как бы растерянные, пораженные никогда невиданным прежде зрелищем отправления Запорожского войска в поход.

— Хлопцы со мною, — отвечал Карпо.

— Да у них нет ничего.

— Добудут в море да за морем — еще какие жупаны добудут!

— А этого черта — тура?

— И он с нами поедет — в нашей чайке... Берите его, хлопцы, да гайда до човна!

Днепр запенился от нескольких сот весел, которыми гребцы бороздили его голубую поверхность. Выступало в

поход более полусотни чаек, из которых на каждой было по пятидесяти и по шестидесяти казаков вместе с гребцами. Крик и говор стоял невообразимый: гребцы сталкивались веслами, перебранивались, слышались окрики рулевых... Казаки размещались по местам, закуривали трубки... С берега махали шапками те из казаков, которые оставались стеречь Сечь, пасти войсковые табуны, ловить и сушить на зиму рыбу...

— Берегите, братики, моего Лысуна!

— Стригунца, братцы, моего доглядайте!

Это последние заботы казаков, выступающих в море, последние их, как бы предсмертные, наказы — беречь их любимых боевых коней... А еще кто-то вернется?..

Скоро и «Оч-мати» исчезла из виду. Передовые чайки были уже далеко, точно будто они особенно торопились в далекую, неведомую дорогу. Вся флотилия скользила по воде\* тихо, бесшумно. Не слышно было ни криков, ни обычных веселых песен. Предстояло дело не шуточное: надо было так осторожно пробраться в море, чтоб «поганые» и не опомнились, как казаки упадут на них «мокрым рядом»...

## XI

Казацкая флотилия благополучно доплыла до Кызык-кермена.

Это была небольшая турецкая крепостца, стоявшая почти у входа в Днепровский лиман и предназначенная собственно для того, чтобы запираť собою Днепр с его страшными чубатыми обитателями и не давать им возможности с их легкими, неуловимыми, как молния, и ужасными, как гром божий, чайками выплывать в Черное море, в этот дорогой бассейн падишаха, обставленный по берегам такими богатыми и красивыми городами, как Козлов, Кафа, Трапезонт, Синоп и сам Стамбул, блестящее подножие тени аллаха на земле.

На стенах Кызыккермена торчало до дюжины черных пушек, мрачные дула которых обращены были к Днепру и каждую минуту готовы были изрыгать огонь и смерть тем дерзким смертным, которые осмелились бы из Днепра пробраться в заповедный бассейн падишаха, в голубое море, названное Черным потому, что во время бури на нем, как уверял Копычи-паша московского посла Украинцева, дела-

ются черными сердца человеческие. Кроме того, у крепостцы от одного берега к другому перекинута были цепи, которые преграждали реку, а если и не могли преградить ее окончательно, потому что от собственной тяжести опускались в воду довольно глубоко и, во всяком случае, глубже, чем сидели на воде легкие казацкие чайки, как ореховые скорлупы, скользившие почти по поверхности,— если, повторяем, и не могли окончательно загородить Днепра, то посредством разных поплавков, прикрепленных к ним, и звонких металлических погремушек предупреждали часовых крепости, особенно темной ночью, что неприятель крадется через цепи. Тогда пушки, наведенные как раз на это место, на заграждающие цепи, делали несколько залпов, и неприятель неминуемо бы погиб под ядрами или пошел бы ко дну со всеми своими чайками «раюв ловить», как выражались запорожцы.

Все это очень хорошо знал хитрый «батько козацкий, старий Сагайдак» и потому заблаговременно принял свои меры.

Он приказал флотилии остановиться, не доезжая несколько верст до Кызыкермена у берега Днепра, где образовалась как бы природная гавань. Берег покрыт был лесом — старыми дубами, осокорями, тополями. Сагайдачный, выйдя на берег, приказал казакам рубить самые толстые деревья и стаскивать их к воде. «Дітки» принялись усердно за работу и скоро повалили на землю несколько десятков дубов и осокорей, украшавших девственные берега этой девственной реки.

— Сколько чаек, столько и дубов, детки! — распорядился Сагайдачный.

— Добре, батьку,— отвечали дружно детки и начали считать нарубленные кряжи.

— Считай ты, Хомо! — подтрунивали казаки над придурковатым, простодушным Хомою.— Не в чорта ж ты и считать здоров!

Хома начал считать, загибая свои обрубковатые пальцы на правой руке.

— Оце раз, оце два, оце три...

Так он благополучно досчитался до двадцати девяти, а там спутался...

— Оце двадцать девять, оце двадцать десять, оце двадцать одиннадцать...

Взрыв хохота прервал его своеобразное счисление. Хома оторопел и без толку пригибал то тот, то другой палец.

— Добре! Добре, Хомо! Считай дальше: двадцать десять, двадцать — люлька, тридцать — кресало...

Опять взрыв хохота.

— Чего ржете, сто копанок чертей! — гукнул на них старый атаман Небаба.

Наконец срубленные дубы были сосчитаны.

Подожел «старый батько Сагайдак», опираясь на саблю.

— А теперь, детки, в воду дубы, да привязывайте их легонько к челнам, — распорядился он.

— У! Не в черта ж и хитрый у нас батько, стонадцать коп! — ворчал про себя Карпо, волоча с друкарем, Грицком и Юхимом огромный дуб в воду.

Когда все срубленные деревья были стащены в Днепр, Сагайдачный приказал к каждой чайке привязать по дереву, но так, чтобы они плыли не позади чаек, а впереди их. Потом сделали роздых на берегу, поужинали, не разводя огня, чтобы не выдать сторожевым туркам своего присутствия, отдохнули немного. Скоро надвинулись сумерки, а затем наступила ночь, темная, ветреная... Подул северный ветер, несколько свежий, известный у запорожцев под именем «москаля».

— «Москаль» поднялся, это нам на руку, — пояснили казаки.

— «Москаль» нас и в море вынесет.

К полуночи флотилия двинулась далее, но уже так, что каждая чайка шла почти весло к веслу с другою чайкою — двигались «лавою», в один или в два ряда. Шли необыкновенно тихо: ни одно весло не плеснуло сонною водою, потому что флотилия шла не на веслах, а просто плыла по течению.

Впереди чаек плыли какие-то темные чудовища: не то люди-великаны, не то звери, не то черные чудовищные рыбы... Торчали из воды какие-то руки, гигантские пальцы на этих руках: это плыли привязанные к чайкам дубы и осокори...

Тихо, необыкновенно тихо, хоть бы дыхнул кто-либо... Только дышит «москаль», дыхнет небольшим порывом, пробежит по воде и стихнет...

Где-то там, в темноте, запел петух: это в Кызыкермене — турецкий петух, и он поет так же, как казачий «швень» на Украине... Еще запел петух, это полночь... Небо так взвездило: вон Петров Крест, вон Чепига горит, Волосожа-ры... И в Днепре, из темной воды, смотрят и мигают звездочки... Одна покатила по небу и, казалось, упала в Днепр. Застонал где-то филин.

На одной из чаек, несколько выдвинувшейся вперед, чернеет на носу словно статуя. Это стоит неподвижно сам Сагайдачный и не сводит глаз с туманной дали...

Там, впереди, в этом мраке, залаяла собака... Это в Кызыккермене турецкая собака на ветер лает, не спится ей, как всякой собаке...

Чуть-чуть замигал впереди огонек... Должно быть, в окошечке сторожевой «башни»... А может быть, это звездочка... Нет, не звездочка — темнеется силуэт башни, стен...

Опять порыв ветра, «москаль» дунул казакам в затылок, и опять тихо...

— Весла в воду, остановить чайки, ни шагу дальше! — раздался вдруг голос Сагайдачного, но так тихо, что услышали только ближайшие чайки.

— Весла в воду, стой, ни шагу! — прошло по всей флотилии.

И чайки моментально остановились. Впереди рисовались темные выступы башни.

Наступил решительный момент...

— Спускай дубы! Режь! — опять раздался голос кошевого.

— Режь! Спускай дубы! — прошло по всей флотилии, от одного берега Днепра до другого.

Отрезанные от чаек дубы и осоки, шевеля над водою обрубленными ветвями, точно гигантскими руками, поплыли вниз по течению...

Чайки, удерживаемые веслами, стояли на воде неподвижно...

Дубы исчезли из виду... Некоторые из казаков крестились ...

Тихо, необыкновенно тихо кругом, даже «москаль» не дует... Прошло несколько минут... Как бы спросонок хрипло запел петух, ему отвечали сонным лаем собаки, и опять стало тихо.

Вдруг впереди, далеко за этою тьмою, послышалось какое-то глухое звяканье, еще, еще...

— Заценили! — прошептал про себя Карпо, налегая на весло.

В этот момент раздался пушечный выстрел, за ним другой, третий... Проснулась крепость, загремела стена — жарят турки по колодам, по дубам да осокорям, воображая, что стреляют по казакам и по их дерзким лодкам... «Алла! Алла! Алла!» — воют в темноте голоса.

Удар за ударом гремит со стен крепости. Слышно, как ядра бултыхаются в воду, звенят цепями, разрывают их, мутят воду, колотя ядрами и картечью по колодам.

— Ких-ких-ких! — зажимая рукою нос и рот, не может удержаться от смеху добряк Хома. — Вот дурни, по колодам лупят...

— I хитрий достоб.са у нас батько! — шепчут молодые казаки.

Залпы, прогремев еще несколько раз, смолкли: или все заряды выстреляны, или турки вообразили, что уничтожили дерзких гяуров.

Тихо и темно впереди, хоть глаз выколи, «хоч в око стрель»...

— Трогай, детки, да тихо, тихо, водою не плесни! — раздается опять в темноте голос Сагайдачного.

— Трогай! Трогай! — пронеслось тихо от берега до берега.

В тот же момент порывисто зашумел «москаль» — и чайки птицею понеслись по темной поверхности мрачной реки... Вот они уже против крепости... Со стен слышны неясные голоса... Испуганные коровы режут за стенами.

Чайки уже миновали крепость.

— Ких-ких-ких! — не может удержаться Хома.

— Молчи, Хома, еще не дома, — предостерегают его.

— Вот так батько! Вот так старый Сагайдак!

— Нажимай, нажимай, братцы, чтоб весла трещали! Нажимай до живых печенок! «Або добути, або дома не бути!»

Чайки летели стрелою, далеко оставив за собою злополучный Кызыкермен.

Уже к утру, достигнув лиманов, они остановились и попрятались в необозримых камышах, словно дикие утки. Тут, под защитою камышей, казаки дали себе роздых перед выступлением в открытое море. Место для стоянки и для отдыха было великолепное. На десятки верст тянулись камышковые заросли, в которых могло спрятаться целое войско и укрыться целый флот из мелких судов. Девственные камыши были так высоки, что среди них могли ходить гиганты и все-таки вершины красивого, стройного, гибкого очерета покрывали бы их с головою.

В камышах гнездились бесчисленными стаями водяные птицы — бакланы, цапли, гуси, утки, кулики, лысухи, дикие курочки, бугаи. От птичьих голосов над лиманами стон стоял. По временам над камышами проносились словно буря:

это пробегали стада чем-либо испуганных кабанов, которых на лиманах было великое множество.

Любили казаки вообще камыши, потому что среди камышей они прятались от «поганий бусурман», среди камышей они охотились на птицу и зверя, среди камышей и рыбу ловили — одно из богатств их незатейливой жизни. Казак и в песне не забывал своих камышей, а дивчина, восхваляя своего милого, пела тоже про очерет:

Очерет-осока,  
Чорш брови в козака.

Но зато в камышах водился и бич казака, который отравлял его работу, покой и сон, отравлял всю его жизнь в этой Палестине: бич этот — комар. Комары в лиманах среди камышей были истинным наказанием Божиим, казнями египетскими, и народная поэзия, упоминая о горьких сторонах казачьей вольной жизни, упоминала и о комаре; каждому молодцу приходилось «козацьким білим т.лом комарів годувати».

В этих-то камышах и расположились запорожцы, благополучно проскользнувшие мимо Кызыкермена. Кто уснул в лодках, кто на берегу, в камышах. Часовые расположились на окраинах спящего войска, хотя тоже между травой, но на более возвышенных местах, откуда видны были и лиманы, и расстилавшиеся на необозримое пространство степи.

Часовые располагались небольшими группами — по двое и по трое, что если один нечаянно вздремнет, то другой бы бодрствовал.

Вдруг где-то в траве или в камышах послышался крик перепела.

«П.д-подьом, шд-подьом!» — повторился он явственно снова.

«Сховав-сховав-сховав!» — откликнулся на это запорожец.

«Сховав-сховав-сховав!» — повторилось в разных местах.

Это осторожный Небаба проверял «варту» — часовых; для этого он, притаившись где-то в камышах, подражал крику перепела; ему таким же криком должны были отвечать часовые. Горе тому беспечному, который бы уснул и не откликнулся; его ждало жестокое наказание киями.



## XII

Наконец казаки в море.

— Какое же оно большое! — с невольным страхом проговорил Грицко, окинув своими оробевшими глазами необозримое водное пространство.

— А какая вода в нем! — не то с изумлением, не то с испугом вздохнул его товарищ.

— Голубая, не то блаkitная.

— Нет, синяя.

— Не синяя — зеленая.

— И конца-краю нет ей!

— Так вот оно, море! И, господи!

— Только небо покров ему...

— Небо простре, яко кожу, эх! — как-то досадливо проворчал Олексий Попович, который, видимо, был не в духе, потому что в походе, и особенно на море, строжайше запрещалось пьянствовать. — Чертово море!

— Эге! Если б все это была горилка, а не вода, то-то б! — подтрунивал над ним усатый Карпо.

И не одних новичков поразил вид моря. Необъятная масса воды и ее невиданный цвет, невозможность на чем-либо успокоить взор, который, сколько ни глядел вдаль, все, казалось, более и более утопал в этой бесконечности, одномерные покачивания чаек, ужасающее безлюдье этой водяной мертвой пустыни, — все наводило на душу тоску, одурь, физическую тошноту. Чувствовалась какая-то страшная беспомощность, оторванность от всего мира. Это было даже не между небом и землей, а между небом и бездной, которой нет предела, которая поглотила самую землю и которая нема и глуха, как могила, как смерть.

Хоть бы что-нибудь показалось живое на этом мертвом море! Хоть бы татары!

Чайки шли открытым морем, по-видимому, на полдень. Что же там — хотелось спросить — еще дальше, еще глубже, за этой бесконечной синевой? Там, казалось, еще страшнее.

Только влево, далеко-далеко, словно у конца моря, тянулась длинная туманная полоска и тоже таяла вдали, в этом самом безбрежном море, таяла, как дымок, как облачко, как туманное дыхание куда-то исчезнувшей земли.

— А то что такое? — показывали молодые казаки.

— То Крым.

И эта туманная полоска за синей далью, это таявшее

облачко — это Крым! Не может быть! Это там, где кончается и небо, и море... Да это, должно быть, конец света...

А как печет солнце!.. Неужели это то же солнце, что и в Украине, в Киеве, в Остроге, в Прилуках, в Пирятине?.. И на море пала от него бесконечная полоса, которая искрится и дрожит на этой страшной, словно дышащей воде и которой тоже нет ни конца, ни краю...

Ближе к корме большой чайки, атаманской, на размалеванном возвышении, называемом чердаком, сидит, поджавши по-турецки ноги, седоусый Небаба, лениво покуривает свою люльку и куняет — дремлет. Люлька его постоянно гаснет, что заставляет его ворчать, вспоминать сто копанок чертей, вырубать снова огонь, оглядывать из-под седых бровей море, и снова лениво сосать люльку, и снова кунять.

Длинноусый Карпо, расположившись на дне чайки, весь углубился в приведение в достойный вид шкуры убитого им тура, шкуры, с которою он носился, как курица с первым яйцом; тщательно обрезал ее, выполоскал в соленой морской воде, отделил от нее великолепные рога и отрезал хвост, которые он предназначал приподнести в дар войску, как войсковые клейноды. Попеременно он брал в руки то рога, то хвост и любовался этими сокровищами. Для него, по-видимому, не существовало море — ни его внушающая красота, ни его томительная безбрежность: он уже бывал на нем, нечего смотреть — не то, что в степи или в камышах, где всегда есть с кем померяться ловкостью. А море что! Наплевать! Одна негодная вода, которую и пить нельзя.

Олексий Попович тоже расположился недалеко от Карпа и от нечего делать, навалившись грудью на борт чайки, методически поплевывал в противное море, на котором запрещено пить горилку, и вспоминал свой родной Пирятин, где он шибко гульнул перед отъездом в Сечь: пьяный у отца и матери прощенья не взял, беспечно на улице на коне гулял, малых детей и старых вдов стременем в груди толкал, мимо церкви проезжал — шапки не снимал и креста на себя не клал...

— Смотрите, смотрите, дядьку, что вон оно такое? — испуганно спросил друкарь, показывая на море.

— Что такое? — лениво, не поднимая головы, спросил Карпо.

— Да вон — из моря выныряет...

— Э! Да то кони.

— Какие, дядьку, кони?

— Да морские ж кони, не наши.

Действительно, недалеко от чаек из моря выныряли на поверхность какие-то черные чудовища, плескали чем-то — не то хвостом, не то руками — и снова скрывались под водою. То были стада дельфинов, взыгрававших на солнце и как-то странно кувыркавшихся среди морской зыби.

— А коли б нам деры не зададо,— проворчал Карпо, расчесывая своим гребнем хвост тура.

— Какой деры, дядьку? — тревожно спросил Грицко.

— Коли б море не заиграло...

— А что такое?

— Хуртовина будет — буря.

— С чего ж ей быть, дядьку?

— Ас того, небого, что вон те коники выигрывают.

Хотя никаких признаков бури, по-видимому, не замечалось, но слова опытного запорожца холодом прошли по сердцу молодых казаков. Они слышали от старых казаков об этих морских бурях, они слышали даже думу, как два брата-казака потопали в море и прощались заглазно с отцом и матерью — просили их помолиться за погибающих, вынести их со дна моря, и как потопал с ними третий казак — «чужий чуженица», у которого не было ни отца, ни матери и за которого некому было даже помолиться... Дума говорила, что они потопали в чужом море за свои грехи, за неуважение к старшим, за свою беспутную жизнь.

А дельфины все чаще и чаще показывали из воды свои отвратительные головы, черные, лоснящиеся спины и плесы. В воздухе марило... Над казаками, в вышине где-то, с жалобным криком пролетел сокол-«б.лоэ.рець»... Что-нибудь да предвещают эти таинственные вестники!..

Но вот на востоке показалась туча. Она росла какими-то причудливыми образами, быстро менявшими свой вид, и, словно живая, вздувалась, ползла из-под горизонта все выше и выше и постепенно заступала собою небо. Поверхность моря, до этого совсем синяя, стала чернеть и местами как бы вздрагивать. Что-то, как бы живое, забегало по морю, дуло в разгоревшиеся лица казаков, свистело в снастях, трепало в воздухе взмокшие чубы гребцов...

— Гай-гай! — почесал у себя за ухом Небаба, поглядывая на небо.

Послышался вдали глухой, протяжный гул, как бы что-то тяжелое перекачивалось по горам.

Небо и море все темнели и темнели. По воде стали ходить какие-то белые гребни, которые, словно живые, словно

белые дельфины, выскакивали из воды и снова ныряли... В воздухе опять пронесся жалобный крик сокола... Казацкие чайки все более и более ныряли и прыгали с гребня на гребень, держась, по возможности, в линиях...

На чердаке атаманской чайки показался Сагайдачный; он снял шапку и внимательно стал вглядываться в то, что совершалось кругом и в особенности впереди. Седой чуб его, как значок на бунчуке, трепался в воздухе...

— А быть чему-то,— тихо обратился он к стоявшему тут же Небабе.

— Быть, батьку,— отвечал Небаба.

Сагайдачный, вынув из кармана хустку — платок — махнул им в воздухе. Из числа казаков, сидевших в разных местах атаманской чайки, отделился один широкоплечий молодец и подошел к чердаку. Это был пушкарь.

— Дай вестовую,— сказал ему Сагайдачный.

Пушкарь молча пошел к передовой пушке, сильно покачиваясь от толчков, которым подвергалась чайка. Ветер крепчал в порывах, визжал, словно от боли, словно его кто самого гнал неволю...

Скоро грохнула пушка, но голос ее был так слаб перед ударившим тотчас громом, что казаки изумились. Между тем вся флотилия, услышав вестовой выстрел, стала скупчиваться к атаманской чайке и скоро совсем окружила ее.

— Панове отаманы и все верное товариство! — начал громким голосом Сагайдачный. — Вот сами видите, что бог дает нам роботу дуновением своим божим... Это встает хуртовина — надо с *нею* бороться, и милосердный бог нам поможет, ибо мы идем за его святое имя, на ворогов креста господня... Держитесь докупы, чтоб нас по морю не раскидало, да держитесь против валов... А воды не бойтесь,— воду шапками козацкими выливайте. Чуете, детки?

— Чуем, батьку! — заревела вся флотилия.

Но другой рев — стихийный — осилил голос горсти храбрецов.

Началась буря, настоящая буря, неожиданная, внезапная, совсем шальная, какая только бывает на юге. Гром, сначала перекатывавшийся из края в край над совсем почерневшим морем, теперь, казалось, гвоздил тут, над головами казаков, и сверлил обезумевшее море среди сбившейся в кучу флотилии. Молнии, как изломанные раскаленные железные шины, стремительно падая в море, вот тут, у самых чаек, скрещиваясь, перерезывая одна другую, слепи-

ли глаза. Дождь хлестал так, что, казалось, само море опрокинулось и захлестывало собою тучи.

Казаки, привыкшие бороться с этою бешеною стихиею на Днепровских порогах, где так же их утлые чайки низвергались с высоты в пропасть, вертясь на вспененной поверхности, точно сухие листья, и потом вскакивая на седые буруны водопада, — казаки отчаянно боролись с взбесившимся морем и работали все до одного. Рулевой и гребцы смело отбивались от налетающих валов, разрезывая гребни водяных гор и падая в водные же пропасти, чтобы взлетать на седые гривы бушующих по морю чудовищ, а все остальное товарищество работало черпаками, ведрами, шанками, выливая затопляющую их воду... Удары грома, скрип и треск дерева — весел, рулей, чердаков, снастей, гул и хлопотанье моря, свист ветра, ободряющие крики старых казаков — все это сливалось в один невообразимый концерт, в какую-то адскую музыку, от которой и у самых мужественных волосы шевелились у корней...

Но буря, видимо, осиливала. У несчастных гребцов руки отказывались служить. Некоторые весла вырвало из ослабевших ладоней и унесло в море, другие расщепило в куски. Вода в чайках все прибывала — сначала по щиколотки, потом все выше и выше..

— Господи! Погибаем! — слышались отчаянные стоны. — Милосердный боже, помоги!

— Удержи хляби твои, отче вседержителю! Покарай меня одного! — упав на колени и подняв руки к грозному небу, молился Олексий Попович. — Я один грешный!

— Братцы! Панове! Исповедаемся богу милосердному! — слышались голоса с разных сторон вместе с ревом бури.

— Исповедуй нас, батьку! — кричали с других чаек. — Исповедуй, отамане! Потопаем!

Сагайдачный слышал эти отчаянные вопли. Он видел, что мужество начинает оставлять его храброе войско и что если оно покорится этому роковому моменту, то все погибло. Надо было во что бы то ни стало поддержать дух потерявших надежду и энергию. Зная хорошо привычки моря, он знал также, что эта внезапно-негаданно налетевшая на них бешеная буря так же неожиданно должна и стихнуть. Вот-вот скоро стихнет... Он это знал, он это видел по удаляющимся змейкам молнии, по более медленным ударам грома. Но надо выдержать этот последний момент — надо поддержать упавший дух товарищества... Он хорошо знаком

был также с предрассудками людей, с которыми прожил полвека: это были дети, верившие сказкам... Он видел, что всем им в этот отчаянный момент вспоминалась дума о буре на Черном море, дума, распеваемая кобзарями по всей Украине и принимаемая всеми с глубокою верою, точно евангелие... И он решился действовать сообразно указаниям думы, тем более, что и казаки требовали исповеди, требовали того, о чем вещала дума — и он решился пожертвовать одним человеком для спасения всего войска...

Мгновенно решившись, он взшел на чердак и, держась за балясину, громко, подлинными словами думы, провозгласил:

— Панове братия мои и детки! Слушайте! Может, кто меж вами великий грех за собою имеет, что злая хуртовина на нас налегает, судна наши потопляет... Исповедайтесь, панове, милосердному богу, Черному морю, и всему войску днепровскому, и мне, отаману кошевому! Пускай тот, кто наиболее грехов за собою знает, в Черном море один потопает, войска козацкого не загубляет!

Многие упали на колени и подняли руки к небу.

— Я грешен! Я наиболее грехов знаю! — слышалось с разных сторон.

В этот момент выступил Олексий Попович. Он был бледен, мокрые волосы падали ему на лицо, по щекам текли слезы. Честный по природе, но горячий, несдержанный, он был жертвою своего порывистого сердца. Он сделался пьяницей, буянном, со всеми ссорился; но он и легко мирился и берег в себе честное сердце, что чаще приходится встречать у пьяниц, чем у непьющих...

Он решился пожертвовать собой, и пожертвовать так, как указывает та же знакомая всем дума.

— Братия! Панове! — громко воскликнул он. — Я тот грешник великий — меня карайте... Добре вы, братия, учините, червонною китайкою мне очи завяжите, до шеи белый камень прицепите, карбачем пришибите, в Черном море утопите... Пусть я один погибаю, войска козацкого не загубляю...

С изумлением, страхом и жалостью глядели на него товарищи, не замечая, что буря и без того утихает, гром удаляется все дальше и дальше, ливень перестает...

Выступил усатый Карпо, что победил тура: он был приятель Олексия Поповича.

— Как же, Олексий, — сказал он тоже словами думы, — ты святое письмо в руки берешь, читаешь, нас, простых

людей, на все доброе наставляешь, как же ты за собою наибольший грех знаешь?

Попович глянул на него и грустно покачал головой.

— Э! — сказал он. — Как я из города Пирятина, брате, выезжал, опрощения с отцом и с матерью не брал, и на своего старшего брата великий грех покладал, и близких соседей хлеба-соли безвинно лишал, детей малых, вдов старых стремени в груди толкал, против церкви, дому божьего, проезжал, шапки с себя не снимал. За то, панове, великий грех за собою знаю и теперь погибаю. Не есть это, панове, по Черному морю буря бушует, а есть это отцовская и материна молитва меня карает.

Все слушали его с глубочайшим вниманием, серьезно, благоговейно, словно бы это была проповедь в церкви, чтение святого письма. Один Сагайдачный, видя, что буря почти совсем стихла и опасность для его флотилии совсем миновала, прятал улыбку под седыми усами и решился довести до конца это — ставшее теперь комедийным — действие. Но он уже не хотел губить человека, а поступить только сообразно народному предрассудку: бросить в пасть разъяренного моря несколько капель человеческой крови.

— Панове, братия и дети, — громко сказал он, — добре вы дбайте, Олексия Поповича на чердак выводите, у правой руки палец-мизинец отрубите, христианской крови в Черное море впустите... Как будет Черное море кровь христианскую пожирать, то будет на Черном море супротивная буря утихать.

— Смотрите, панове, уже и тихо стало! — неожиданно воскликнул Грицко, только что пришедший в себя.

— Ай-ай, и вправду тихо.

— Слава тебе, господи, слава милосердному богу!

— Ведите, ведите Поповича! Рубите ему палец! — кричали другие.

Олексий Попович сам взошел на чердак, перекрестился на все четыре стороны и положил мизинец правой руки на перекладину балясины... Тут же стоял и Небаба... Он вынул из ножен саблю, обтер ее мокрую золою и перекрестился.

— Боже помогай — рраз!

И кончик пальца свалился с балясины, стукнулся о борт и упал в море. Закапала в море и кровь казацкая.

Все перекрестились. Перекрестился и Олексий Попович и окровавил свое бледное лицо.

Буря между тем совсем улеглась. Глянул на это улегшееся море и Олексий Попович — и лицо его совсем просветлело.

— А прочитай нам святого письма, Олексий,— заговорили некоторые, совсем повеселевшие,— а мы послушаем да помолимся, поблагодарим бога за спасение.

Попович достал свою толстую книжицу, которая была совсем мокра, развернул мокрые страницы, поискал чего-то и остановился.

— Разве вот это,— сказал он,— послание апостола Павла к Тимофею — о почитании старших.

— Да Тимофея ж, Тимофея! — отозвались некоторые.

Чтец откашлялся, перекрестился и начал все еще дрожащим голосом:

— «Чадо Тимофие! Старцу не твори пакости, но утешай яко же отца, юноши — яко же братию, старицы — яко же матери...»

— А вот и солнышко! Солнышко! — радостно закричал дурный Хома и прервал чтение.

### XIII

Несколько дней уже находились казацкие чайки в открытом море. После бури погода установилась прекрасная, тихая, и казаки успели обогнуть весь западный берег Крыма, держась в таком от него расстоянии, что земля издали представлялась восходящим над морем продолговатым облачком,— и теперь очутились против южного берега. За все это время они нигде не встречали в море ни турецких кораблей и галер, ни крымских судов, а если и замечали подозрительный предмет, то, исследовав своими дальнотзорными глазами, по какому направлению двигался этот предмет, они брали в сторону и исчезали в туманной дали.

Теперь они уже второй день, держась на таком расстоянии, чтоб их не заметили с берега, с изумлением, смешанным с суеверным страхом, созерцали величественные красоты южного берега, этого сказочного царства, про которое столько таинственного, страшного и увлекательного они слышались от своих же, находившихся с ними старых казаков, перебывавших в этом волшебном крае волею и неволею — во время морских набегов на Крым или в качестве крымских невольников, полоняников.

Перед ними в туманной дали возвышались вершины и зубцы гигантских скал, иногда как бы грозивших упасть в море или взлетающих на недостижимую высоту, среди



глубоких долин в зелени и в неизобразимом беспорядке набросанных то там, то здесь серых каменных масс. Казалось, подземные духи, какие-то могучие дьяволы боролись здесь с морем и выворотили из его пучин эти грозные зубья каменных гор, эти гранитные кряжи, уходившие в голубое небо и заслонявшие его своими вершинами от полумночных стран для того, чтобы и ветер не дунул с полумночи на это сказочное царство, на его волшебную природу, на это очаровательное темно-голубое море.

Бывшие невольники-казаки показывали издали своим товарищам, не бывавшим в этом сказочном царстве, на все эти чудеса природы, от которых невиданная ими чужая бусурманская сторона казалась еще загадочнее, еще страшнее. Эти острые, зубчатые скалы Ай-Тодора, Ай-Петри, Ай-Буруна, Аюдага, эта узкая в скалах прорезь Шайтан-Мердевен, которую бывалые казаки называли «Чортовою драбиною», эта звероподобная гора Бабуган-яйлы, а там громадный Чатырдаг — каменный шатер, подпиравший небо, — все это наводило священный страх на детей степей или престлстных равнин Украины...

— Так это тот Крым, — шептали они, — так это та земля неверная, бусурманская, разлука христианская, господи!..

— Где ж тут живут татары? Где их города? — спрашивали иные.

— Вот погодите, увидите: и татар увидите, и Кафу, а может, и Козлов, а может, и бедных невольников увидите, — отвечал старый Небаба, всего выдавший на своем веку.

Наконец они, действительно, увидели издали и Кафу — этот знаменитый памятник владычества генуэзцев в Крыму, этот всемирный невольнический рынок XVI и в особенности XVII века, когда на базарных площадях его и на пристанях огромными сворами сидели или бродили невольники всех стран, побрякивая цепями, или же, прикованные к уключинам и скамьям, работали веслами на турецких галерах — каторгах, с именем которых и доселе соединяется представление о неволе, о тяжелой работе вдали от родины.

Окутанный дымкою дали, предстал пред изумленными глазами казаков этот страшный город — город неволи, эта юдоль плача и проклятий всего тогдашнего христианского мира. В туманной дали высились над голубым морем его серые башни и зубчатые стены, тянулись к небу белые минареты с золотыми на них полумесяцами. Затем — серые горы, покрытые темною зеленью. На пристанях чернелся лес мачт всевозможных кораблей, каторг и галер, судов

итальянских, испанских, голландских, которым удавалось пробираться в голубой бассейн Понта Эвксинского...

Трудно было разглядеть что-либо отчетливо, в отдельности, потому что казацкие чайки остановились в море очень далеко, чтоб их нельзя было заметить из города, но тем таинственнее и волшебнее казался казакам этот неведомый город, как бы вынырнувший из моря вместе с серыми горами, как бы вышедший с того света, откуда, как и из неволи, нет выхода на этот свет, туда, далеко, на милую Украину, в землю христианскую.

— Так это-то Кафа проклятая — неволя турецкая! — говорили казаки, задумчиво покачивая головами.

— Она ж, она, иродова! — отвечал Небаба, взясь с погашею трубкою и вспоминая свои сто копанок.

Солнце, освещавшее утренними золотыми лучами Кафу и весь южный берег Крыма, смотрело в тыл казакам и позволяло им любоваться чарующею и пугавшею их панорамой этого заколдованного царства, в таинственную область которого они собирались вступить, может быть, затем, чтобы остаться здесь навеки с смертельною раною в груди или с оковами на руках и ногах, без надежды снова возвратиться на родину, на тихие воды, в край веселый, в мир крещеный...

Вдруг Небаба, стоявший на чердаке, рядом с Сагайдачным и писарем Мазепою, стал к чему-то особенно приглядываться.

— А ну, пане писарю, — обратился он к Мазепе, — у тебя очи молодые, мелкое письмо читают, — погляди-ка что оно там такое мельтешит.

— Где, пане Филоне? — спросил Мазепа.

— А вон там... чернеет что-то на море.

Небаба показал на что-то, черневшее левее Кафы в море. Мазепа приставил ладонь выше бровей.

— Вижу, вижу: либо татары-рыбалки едут, либо что другое.

— А не галера?

— Нет, не галера.

— Да то, дядьку, каик татарский, — отозвался снизу Олексий Попович, который снова начал скучать без горилки, хоть недавно и каялся в своих грехах и который уже знал Крым, изведав крымской неволи.

— Да каик же, я и сам вижу, — подтвердил Сагайдачный.

Черные задумчивые глаза его вдруг блеснули какой-то мыслью. Он приложил руку ко лбу, как бы что-то раздумывая, припоминая или не зная, на что решиться. Но

потом он выпрямился и быстро оглянул свою флотилию, тихо качавшуюся на бирюзовой поверхности моря.

— А нуте, хлопцы, за весла! — громко сказал он, хлопнув в ладоши.

Общее движение и изумление было ответом на этот оклик. Гребцы бросились к веслам. На всех чайках встретилось товариство.

— Панове отаманы и все войсковое товариство! — отчетливо проговорил старый гетман. — Стойте тут вы на стороже, дожидайтесь меня, а я хочу «языка» добывать.

— Добре, добре, батьку! — отвечали со всех чаек.

— Мочи весла, хлопцы! Гайда! — скомандовал гетман. — Догоняйте черную муху, что вон там, на море, села! — пояснил он, показывая по тому направлению, где вдали чернелся предполагаемый татарский каик, небольшая весельная лодка.

Гребцы омочили весла в море, и чайка понеслась птицею. Скоро черная точка стала вырисовываться яснее и яснее. Она, видимо, двигалась к Кафе. Лениво, чуть-чуть заметно поблескивали на солнце два весла, и вместе с ними так же лениво покачивалась человеческая фигура. Это, действительно, был каик.

Чайка догоняла его. На каике заметили это, но не прибавили ходу, вероятно, полагая, что это плыла в Кафу турецкая кочерма или фелука, а то и другая какая-нибудь большая морская лодка.

Но вот чайка уже у самого предмета погони. Хома, который усердно работал на веслах, расстегнув от жары сорочку до самого пупа, поглядывал на каик, коварно улыбался и подмигивал веселому Грицку, с которым успел совсем подружиться.

— Вот дурень! — ворчал он, делая хитрое лицо. — Вот испугается, как меня увидит!

— Где уж такого не испугаться! — подтвердил сидевший тут же усатый Карпо Колокузни. — Ты такой страшный, что тебя и мать испугалась и дурнем родила.

Когда уже чайка была бок о бок с каиком, на последнем послышался крик испуга.

— Алла! Алла! — завопил татарин, опуская весла, и стал метаться по каику. — Казак, казак!

Со дна каика испуганно вскочили еще две фигуры, по видимому, заспавшиеся татары.

— Алла! Алла! Алла-акбер! — повторились отчаянные возгласы.

Но казацкий багор уже зацепил каик за борт, и жилистые руки Карпа тащили его к чайке.

— Не кричите! Не войте, аспидовы цуцики! — окрикнул он пленников.

Скоро несколько казаков, в том числе и Хома, прыгнув с борта чайки в каик, тотчас же перевязали своими поясами пленников, которыми оказались два старых татарина и один молодой.

— Добре, детки! — похвалил Сагайдак. — В чайку их!

Здоровенный Хома, схватив в охапку разом двух татар, поднял их к борту чайки. Те отчаянно метались и колотились в его засученных, волосатых, как собачьи лапы, руках.

— Да не вертитесь, аспидовы, а то утонете, — уговаривал он своих пленников.

Их подхватили другие казаки с борта чайки и втащили к себе. Хома нечаянно потерял равновесие и, словно бревно, бултыхнулся в море.

— Ой, лишечко! Хома утонул! — слышались испуганные голоса.

Но молодец Хома не утонул. Его огромная с русым чубом голова показалась на поверхности, и он, весь красный, фыркал, как купаемый казаком жеребец.

— Вот я ж говорил, чтоб они, аспидовы, не вертелись! — ворчал он, цепляясь за весло.

Весло придерживали, и он стал карабкаться на чайку, постоянно отплевываясь.

— Какая же поганая вода в море... соленая да горькая.

Пленных татар перетащили на чайку. Они испуганно поглядывали по сторонам, как затравленные собаки. Младший из них в отчаянье падал на колени и бормотал молитву, часто, даже слишком часто повторяя имя аллаха и безнадежно поглядывая на родные горы и зелень, заливаемые жаркими лучами солнца: он, казалось, мысленно прощался с ними. Старые татары тоже шептали что-то — конечно, прощались с жизнью и с своим прекрасным краем, думая, что эти усатые и загорелые шайтаны сейчас их пришибут.

В каике оказались корзинки с огурцами, вишнями, морковью и прочею зеленью. Видно было, что татары везли все это в Кафу на рынок, да слишком отбились от берега и попались в руки страшных гостей.

Сагайдачный, Небаба, Олексий Попович и некоторые из казаков заговорили с пленными по-татарски, и хотя иные с грехом пополам, но татары все-таки их понимали. Их допрашивали, кто теперь правит Кафою — кто там санджа-

кует, сколько в крепости турецкого и татарского войска, есть ли на пристани цареградские военные и купеческие галеры и сколько их. На все это пленные отвечали большею частью незнанием или повторяли только «алла» да «алла-акбер».

Тогда Сагайдачный велел прибуксировать каик к своей чайке и ехать к флотилии. Там очень обрадовались привезенной добыче и бросились на каик, чтобы сейчас же полакомиться огромными зелеными и желтыми огурцами, вишнями да морковью; но Сагайдачный приказал ничего не трогать.

— Я сам повезу это добро на рынок,— пояснил он.— Хочу сам в Кафе разузнать, почем там продают ковш лиха.

Небаба на эти слова моргнул усом, а Мазепа прибавил:

— Да оно, батьку отамане, лихо товар дешевый.

— А чтоб быть хоть на час купцом, надо купцом и одеться,— добавил Сагайдачный и, обратясь к казакам, стоявшим около пленных татар, сказал: — А нуте, детки, разденьте их до самого татарского тела, чтоб было нам во что одеться, коли торговать задумали.

Казаки бросились раздевать татар. Несчастные, думая, что пришла их последняя минута, что их или в море бросят, или обезглавят, отчаянно защищались, бесполезно взывая к своему бородатому аллаху и его пророку. Но казаки были неумолимы: схватив их за руки и за ноги, они ободрали несчастных, как липку, и оставили голыми.

— Накиньте полог на татарское тело! — приказал Сагайдачный.

Несчастных приодели старыми полостями, которые служили и конскими попонами, а в татарское одеяние облачились: сам Сагайдачный, Небаба и Олексий Попович, как уже бывавший в турецкой неволе и хорошо понимавший, а при нужде и болтавший по-татарски.

Казаки так и заливались от радости, глядя на это переодевание.

— Вот татары, так татары! — хвалил Хома.

— Такие татары, что Хома испугался бы, коли б увидел их у себя на печи,— подзадорил его Карпо.

— Эге! Испугаюсь я лысого беса! — огрызнулся Хома, сушась на солнышке.

Одевшись совсем по-татарски и спрятав под татарскую же шапку свою седую чуприну, Сагайдачный на минуту задумался, а потом обратился к стоявшему тут же своему Джуре:

— Ану, джуро, подай мою булаву.

Джура бросился с чердака и скоро явился с гетманскою булавою в руках. Сагайдачный, взяв из его рук знак своего гетманского достоинства, высоко поднял его над головою.

— Панове отаманы и все славное войско Запорожское! — громко, отчетливо произнес он на всю флотилию. — Коли я завтра утром не вернусь до вас, чего боже борони, то добывайте без меня славный город Кафу и сами выбирайте себе батька, а теперь без меня пускай гетманствует пан писарь.

И он передал свою булаву Мазепе.

Через несколько минут татарский каик, под ровными ударами весел, быстро удалялся от казацкой флотилии. В кайке сидели Сагайдачный, Небаба и Олексий Попович.

Казаки долго провожали глазами эту небольшую лодочку, пока она не превратилась в муху, а потом в едва заметную черную точку и, наконец, совсем исчезла из виду в туманной дали.

Каик между тем медленно приближался к Кафе. Все яснее и яснее вырисовывались на голубом небе и на горной покатоности полукругом спускавшиеся к морю мрачные остроконечные башни крепости с их черными, как пасть зверя, зиявшими окошками и бойницами. Ниже шли, извиваясь змеею и делая крутые изломы к горе, такие же мрачные зубчатые городские стены с железными гаками, крючками, на которых часто вешали за ребра провинившихся христианских пленников, кости которых иногда целыми скелетами, объединенные червями и птицею, долго висели и стучали от ветра. Из-за этих мрачных стен выглядывали мечети с их круглыми, словно глазастыми, куполами, тонкие, как иглы, минареты с позолоченными полумесяцами наверху и узкими, черными, продолговатыми окошечками внизу. Оттуда же, из-за стен, выглядывали расположенные по склону горы в виде амфитеатра дома с плоскими крышами, оплетенные густыми гирляндами вьющейся зелени и иногда осененные темными, иконоподобными, словно бы вечно задумчивыми, кипарисами.

Это было для украинца действительно волшебное, пугающее своей невиданностью зрелище... Так сердце и ныло почему-то при виде этих чудес...

А оно ныло вот отчего... Кафинская пристань запружена была кораблями, галерами, каторгами и всякими судами. Невиданные всех цветов и величин флаги и значки на вершинах мачт и на снастях реяли в голубом воздухе, точно сказочные птицы или змеи. Виднелись чуждые образа, чужие лица, странные, невиданные одеяния. Раздавался гул

незнакомых языков... Но резче всего, пронзительнее звякали недалеко от пристани какие-то цепи... На чем они?.. На ком?.. Кто это звякает?..

Казаки осмотрелись и увидели огромную, черную и неповоротливую, как черепаха, турецкую галеру, на которой у каждой уключины стояли и сидели, скованные иногда по двое, галерники, прикованные притом гремучими кандалами к скамьям, и неустанно работали на веслах, потому что галера вела на буксире несколько судов из Анатолии, нагруженных тяжелыми товарами. Вглядевшись в работавших, как волю, и обливавшихся потом галерников, казаки узнали их и затрепетали от жалости: они узнали в них «б.дних невольників», большею частью своих казаков, а также москалей и ляхов... Казацкий элемент господствовал, однако... Это были не люди, а какие-то страшные привидения, обросшие волосами и бородами, почти совсем нагие, с железом и ремнями, вьевшимися в кости, ибо тела на них почти не оставалось... Они работали как автоматы, плавно покачиваясь взад и вперед, а по их рядам ходили турки-приставники, и если видели, что который-либо из них, изнемогая от непосильной работы, от голода или бессонницы, неровно работал веслом, то стегали его по голым плечам, по спине и по косматой голове либо сыромятным крученым ремнем, либо гибкими деревянными хлыстами — червонною таволгою... Их было набито на галере целое стадо — старые, с седыми, даже пожелтевшими от времени волосами и бородами, и юные, с неоперившимися еще подбородками, но уже постаревшие от горя и физических страданий... Когда взвизгивала в воздухе червонная таволга и впивалась в голое тело невольника, он не смел даже отнять рук от весла, чтоб, по животному влечению, схватиться за уязвленное место, а только извивался всем телом и бросал жалобный, безнадежный, как бы полный немого укора взор к этим прекрасным, то таким же немым и безжалостным, как турецкий приставник, небесам...

— Мати божа! — вырвался невольный стон из груди старого Небабы, а по загорелым щекам Олексия Поповича текли слезы и скатывались на его татарскую куртку.

Один Сагайдачный как бы не замечал галеры и не смотрел на нее: он сидел мрачный, безмолвный, устремив из-под густых черных-черных — при седых усах — бровей неподвижный взор на пристань.

— Не глядите на галеру, — тихо сказал он, — может, который невольник узнает кого да еще от радости крикнет.

И Небаба, и Олексий Попович отвернули свои лица от потрясающей картины невольничества. А галера продолжала медленно двигаться, а в воздухе и в душе наших казаков продолжало кричать и плакать звонкое железо кандалов...

Пробираясь среди всевозможных судов, над которыми стоял невообразимый гул неведомых языков, казаки поражены были какими-то особыми, стройными звуками, какой-то стонущей из глубины души мелодией. Глянув по направлению этого мелодичного стона, они увидели новую партию невольников, значительно отличавшихся внешностью от сейчас ими виденных. Эти были, казалось, еще ободраннее, еще голее, если только это возможно было, и большею частью русые и рыжие, и что особенно бросалось в глаза — это лапти на ногах у них; каковы были эти лапти, из чего свиты и сплетены — об этом нечего и говорить; но это было подобие лаптей. На каждого из них был надет, как на коноводную лошадь, кожаный хомут, а от хомута шла бичева, оканчивавшаяся канатом, который тянул огромную посудину, нагруженную камнем. У каждого на ногах звякали тоже кандалы, но такие узкие, что ноги схомутованных невольников могли делать только маленькие шаги. Их было нахомутовано у каната несколько свор, и они, покачиваясь в такт, опустив к земле головы и руки, которые болтались, словно парализованные или вывихнутые, стонали как видно перенывшею и переболевшею грудью: «Эй, дубинушка, ухнем!»

И около них также шли приставники и то одного, то другого постегивали...

Наконец, толкаясь между спящими лодками и купающимися черноголовыми татарчатами, производившими в необыкновенно прозрачной воде всевозможные кувырки, каик пристал к берегу.

Еще дорогой порешено было Небабу оставить на берегу стеречь каик, а чтоб к нему не приставали татары, продает ли он свой товар и почему продает то и то, и чтоб, таким образом, не догадались, что тут дело не ладно, — решено было, что Небаба расположится в каике на своих огурцах и моркови и притворится спящим, а Сагайдачный с Олексием Поповичем, уже бывшим в неволе в этой самой Кафе, изучившим ее вдоль и поперек, должны были отправиться в город на разведку.

Так они и сделали.



#### XIV

С названием Кафа, Кефа, ныне Феодосия, связано много исторических воспоминаний, которые питают воображение далекими, поэтическими и потому всегда в то же время и близкими нам картинами прошлого, столь подчас заманчивыми.

Уже за 500 лет до нашей эры милетские греки основали свою колонию у живописного залива, вдавшегося в землю у подножия гор, которые еще поэтическому Гомеру представлялись чуть ли не горами страшных лестригонов, упоминаемых в X рhapsодии его «Одиссеи». Во время основания Феодосии милетцами Крым населен был тавро-скифами, которые очень любили земледелие, и надо думать, что это были наши предки, славяне-скифы, или даже предки наших предков, славяне-лестригоны, которые казались столь страшными поэтическому воображению грека и перед которыми пасовал даже хитроумный Одиссей, оставивший в дураках даже такое чудище, как циклоп Полифем...

И как далеко казалась грекам и какую суровую и холодною представлялась им с острова Милета эта страна, чуть не гиперборейская!.. Это был для них край света...

Как бы то ни было, они основали тут свою торговую колонию, потому что при Гомере, и при Перикле, и при Александре Македонском греки всегда были в душе торговцами. Наши же предки — лестригоны и тавро-скифы, как и нынешние тамбовцы, саратовцы, самарцы и полтавцы, — всегда любили сеять хлебушко и всегда продавали его почти задаром хитрым милетцам, как и теперь почти задаром продают их потомкам, а также французам, сами же питаются мякиною, «аки зверь некий»...

Новую свою колонию греки называли Феодосиею — даром божим, потому что колония обогащала их за счет всегда простоватых славян-лестригонов и тавро-скифов.

Так процветала Феодосия несколько столетий. Рай был, а не житье! Тут распевались по площадям аттические песни — Сафо и Анакреонта, декламировались рhapsодии Гомера, игрались на театре Эсхил, Софокл... До слез смешил Феодосию и ее богатых торговцев Аристофан... По улицам и площадям стояли пластические изображения греческих богов — Дианы, Венеры, Амура, а наши предки, тавро-скифы, нечесанные, немытые, в лаптях, как они изображены на Трояновой колонне, свозили на эти площади свою пшеничку и, почесывая то историческое место своего тела, в которое

всякий имел право заглядывать, качали головами, созерцая голую Афродиту, и робко шептали: «Ишь, бесстыдница!»...

Видела в своих стенах Феодосия и гордого Митридата, царя понтийского, и не менее гордых, но, быть может, более глупых солдафонов — римских консулов.

Потом нагрянули в благословенную Тавриду и в Феодосию наши молодцы — гунны, и как вообще наши молодцы, где бы ни проходили, то все делали чисто, потому что всегда рады стараться — то они постарались: голых Афродит и Амуров попривязывали к конским хвостам, а все остальное в лоск положили... «Бей их, лстивых гречишек, растак их»...

От Феодосии осталась только куча развалин...

После выросла тут маленькая деревенька Кафа, о которой упоминает Константин Багрянородный, но уже хлебушком нашим предкам торговать было не с кем.

Потом опять пришли наши — уже наши поляне и кияне — основали Тмутараканское царство, «измерили море по льду», пригрозили тмутараканскому болвану и загадывали что-то впредь...

Но тут случилось нечто: пришли к нашим уже не наши, а восточные человеки — чингисханы и батыи — и наши, вложив свою богатырскую шею в ярмо, забыли и о тмутараканском болване, и о Кафе.

Но и о ней вспомнили новые торгаши средних веков — генуэзцы, и Кафа, Кефа уже, как феникс, возникла из пепла. Это было нечто волшебное, чарующее. Вся роскошь, все искусство, дворцы, храмы, статуи, фонтаны — все, чем так гремели в средние, золотые свои века Генуя, Венеция, Рим, все это пересажено было в Тавриду, в Кафу, и Кафа стала обширным, богатым городом, дорогим алмазом среди итальянских колоний...

Как древняя Феодосия видела в стенах тесного римлянами Митридата, так генуэзская Кафа видела в своих стенах безбожного сыроядца Мамай, разбитого русскими на Куликовом поле и укрывшегося в Кафе, где генуэзцы и порешили этого страшного зверя...

В 1475 году, когда турки угрожали потоптать ногами и копытами своих коней всю Европу, они отняли Кафу у генуэзцев. И стала Кафа — Кефе — гордость и слава правоверных. К тому, что дали Кафе генуэзцы, турки прибавили еще своего, своей роскоши и своего восточного блеска: воздвигли богатые мечети с высокими минаретами, роскошные здания бань... И стала Кефе Крым-Стамбулом, или Кучук-Стамбулом, — малым Константинополем... Она на-

считывала в себе до восьмидесяти тысяч жителей; в ее порту часто стояло до семисот судов... Богатство и внешняя роскошь поражали глаз, пугали непривычного...

И вот этот-то волшебный город предстал во всей своей чарующей красе и во всем своем многолюдстве перед глазами наших «сіроМах» — Сагайдачного и Олекся Поповича.

Пройдя вместе с прочими, сновавшими из города в город, под массивными крепостными воротами, татарами, турками, армянами, греками и эфиопами в своих до невообразимости пестрых нарядах и лохмотьях, наши казаки вступили в кипучий, блестящий и смрадный, полугеопольский, полуазиатский муравейник, который оглушал и ошеломлял разнообразием, дикою нескладностью шума, говора, криков, возгласов и какой-то адской музыки, которую звучали узкие, запруженные народом и скотом улицы, широкие, как бы заваленные снующим и гамящим людом площади и площадки. Лязг и брызг всевозможного оружия, железа, стали, меди, серебра и золота, которым обвешивал себя дикий человек, живший больше чужою кровью, чем своим трудом и потом, скрип арб, способный вымотать всю душу, ржание лошадей, ослиный рев, крики погонщиков, водоносов, всевозможных продавцов, хлопанье бичей, дикие взвизги и выкрикивания дервишей, около которых толпились кучи ротожевающих правоверных, и в довершение всего этого ноющий и режущий душу скрипучий невольничий плач где-то, который отчетливо выделялся из этого адского хаоса звуков и точно резанул по сердцу наших казаков, — вот первое, что встретило их в этом городе неволи и христианского плача. Самое роскошное воображение поэта не может представить себе того, что поражало наших странников на каждом шагу: роскошные генуэзские здания и дворцы, испещренные и обезображенные восточною, какою-то сверкающею, режущею глаз роскошью, золото и грязь, гранит и мусор, шелк, весь залитый золотом, и нагота, загорелая, пыльная, жалкая нагота, сквозящая и сверкающая из-за лохмотьев; жаркое солнце, еще ярче выставляющее всю эту дикую пестроту, громоздкость и грубую раззолоченность; наглые лица пашей и янычар; черные со страшными белками курчавых евнухов и пугливые, приниженные лица рабов и невольников; журчащие фонтаны и где-то знакомый плачущий под треньканье бандуры голос — свой, родной голос среди этого ада чуждых звуков и голосов; красные, словно кровавые, фески на черномазых лицах, раззолоченные и увешанные шнурами и всякой мишурой

куртки, пестрые, белые, зеленые чалмы над седыми и красными бородами и горящими диким блеском глазами азиатов, яркость позументов на кафтанах и халатах, позолоченный сафьян богатого сапога и плетеный из осоки лапоть пленного москаля, оружие на золотых цепях пашей и железные цепи на ногах и на руках, а иногда и на горле у людей; лошади, наряженные в шелк и златоглавы, и людские спины, ничем, кроме рубцов от плетей, не прикрытые; чудные, но грустные кипарисы, и в тени их — эти стоящие голуби, которые не похожи на их голубей, на украинских, как кипарисы не похожи на милую, родную вербу в леваде — все чужое, все поражающее, страшное, роскошное, цветущее, сверкающее — и все враждебное, злое, немилое этим самым блеском и роскошью, режущее этой яркостью и сверканием, утомляющее и слух и зрение, поражающее контрастом рая и ада, бешеного, безумного довольства и такого же безумного горя, которого не выплачешь, не выкричишь, и — ни одного женского личика...

Но нет... вот оно, милое женское личико под кипарисом, в тени — и личико плачущее...

Это невольничий рынок!.. Казаки натолкнулись на невольничий рынок...

Окаймленная по всем четырем сторонам роскошными пирамидальными тополями и стройными, темными иглами как бы тоскующих кипарисов, бросавших ровные тени по направлению знойных лучей южного солнца, вся залитая горячим светом этого знойного светила, которое сверкало алмазами в серебряных струях ниспадающих брызг фонтанов, эта площадь — площадь слез — представляла теперь пеструю, волнуемую переживаниями цветов и теней, ярких и мрачных, не передаваемую никакими красками картину. Шло торжище — смотрины невольников и невольниц, выставка их качеств — похвальба их силою, выносливостью или красотой, говор, крик, смех, дикие звуки базарной татарской музыки — и среди всего этого тихий женский плач и такая же плачущая мелодия невольничьей канты... Казаки узнали эту канту, этот знакомый им с детства невольничий плач, под звуки и горькие слова которого они плакали когда-то, еще маленькими хлопчиками, у себя на родине. Около плачущей под кипарисом девушки и полуголого хорошенького мальчика стояли татары и, показывая на них пальцами, о чем-то горячо спорили. А посреди площади, у главного фонтана, на самом припеке, в невозможном рубище, сидел ветхий старик с глиняною

мисочкою на коленях, в которой лежал недоеденный огурец и кусок черствого хлеба. Видно было, что старик был слепой, и что сейчас только он всенародно пообедал огурцом и поданным ему кем-то куском хлеба, а потом, перекрестившись на восток, стал пить из глиняного кувшина воду, почерпнутую каким-то загорелым и босоногим татарчонком из бассейна и поданную нищему старику. Вокруг него, скучившись толпою, стояли скованные по двое и по трое невольники, которые недавно пригнали на своей каторге грузы из города Козлова и, подобно волам, сходявшим в ходку за солью и отработавшим свое, теперь выгнаны были на кафинский рынок для перепродажи с барышом, ибо в Кафе невольники ценились дороже, чем в Козлове — Евпатории.

— Сколько ж лет вы тут в неволе, старче божий? — спросил нищего один из невольников.

— Был тридцать лет в неволе, а теперь тридцать без году в великой пригоде, — усмехнулся старик.

— Сколько ж вам, дедусю, было лет, как вас татары забрали?

— По двадцатому году взяли.

— А вы ж тогда не слепой были?

— Нет, видющий был.

— А когда очи потеряли?

— Перед самою волею, — снова усмехнулся старик.

— Как же это так, дедушка?

— Да так: как захотел я воли, то раз как-то и бежал с галеры, а меня поймали, да в горшие кандалы заковали... Я бежал другой раз — еще горше было. А как на тридцатом году ушел в третий раз, то меня поймали и очи выкололи... С того часу я и стал вольным: двадцать лет носил воду, и как стал недужий да старый, то и выгнали меня, как пса, на улицу, и вот уже десятый год, как я старцю.

Глядя на эту живую развалину, невольники грустно качали головою. Каждому представлялось, что и его ждет такая же горькая участь.

Сагайдачный и Олексий Попович слушали этот разговор, затершись в толпе, и обоих волновали свои думы. Сагайдачному думалось, что рано или поздно, если только бог продлит ему веку, он уничтожит это разбойничье гнездо, весь этот Крым; истребив на всем полуострове последний след татарского владычества, он перенесет Запорожскую Сечь сюда, в Крым, поместит ее там, где когда-то был город Корсунь и где Владимир принял крещение. Старому мечтателю казалось возможным, увеличив Запорожское

войско до ста тысяч, даже более — до двухсот, до трехсот тысяч, осадить свой кош у той богатейшей в мире бухты, которая вдается в землю у Корсуня, ныне Севастопольская бухта, и оттуда громить поганных, выбить турок из Анатолии, из всего Черноморского побережья, а потом перенести из Киева митрополичий престол — шутка сказать! — в самый Царьград. Долой всех турок из христианской Европы!

А Олексию Поповичу вспомнилось, как и он был тут, в этой Кафе, в неволе, видел и этого старика, который и тогда уже был таким же ветхим и все пел своим разбитым голосом невольничьи и иные казацкие думы, а татары, слушая его и ничего не понимая, клали ему из жалости кто мелкую монету, кто кусок хлеба или дешевую овощь.

— Какой же вам? — долетал до них опять разговор старика с невольниками.

— Да невольничьей же, старче божий.

— Добре, заплачу и невольничьей...

И старик, ощутив вокруг себя землю, нащупал свой нехитрый инструмент, сложенный из какого-то деревянного ящика и перетянутый струнами, которые наворачивались на вколоченные в один бок ящичка колышки. Он потрогал струны, прислушался к их нестройному дребезжанью, повертел колышки, подстроил свои самодельные гусли и, вскинув к небу свои выколотые, вытекшие и давно закрывшиеся глаза, затянул что-то хриплое, жалкое, болезненное.

Невольники набожно перекрестились, словно бы это началась обедня или печальная лития.

Беззвучное, дребезжащее треньканье, деревянные звуки инструмента, скрипучий и жалкий голос покачивавшегося из стороны в сторону старика казались скучившейся группе несчастных украинцев такую божественную мелодию, а слова песни, проникавшие каждому в душу и падавшие елею на изболевшее и истосковавшееся сердце — такую священною, надгробною литанию, что у многих из них по изможденным лицам текли слезы. Они невольно взглядывали на железо, на ремни, на эту «с.р.ую сирицю», и на потертые кандалами ноги.

Вдруг слепой певец, который все тише и тише перебирал струны своей скрипучей коробки, совсем умолк; коробка свалилась с его колен на мостовую, и он, закрыв лицо руками, заплакал, как плакали и слушавшие его невольники.

— Ничего, детки, потерпите, — сказал, наконец, старик, — может, Сагайдачный и к нам с козаками прибудет...

Сагайдачный невольно вздрогнул, услышав свое имя. Ему даже показалось, что слепец повернулся в его сторону.

— Да что-то ничего про Козаков не слышно на море,— тихо сказал кто-то.

— А не слышно, так услышите,— наставительно отвечал слепец.

— Дай-то, господи!

— Пошли их, пресвята покров.

— Они придут! — глухо прозвучал чей-то незнакомый голос.

Все вздрогнули, всполошились. Оглядывались кругом, но никого не видали, кроме татар, толкавшихся и горланивших по всей площади.

— Мати божя! Кто это сказал? — в недоумении поглядывали друг на друга невольники.

— Точно из воды что-то гукнуло...

— А может, с неба...

— С неба, детки,— подтвердил слепец.

— Ой! Ой! Ой! — послышались болезненные крики, и невольники кучею бросились от слепца в сторону.

Это налетели на них турецкие приставники, которые не-вдалеке сидели в тени чинар и тополей и, попивая из маленьких чашек кофе, курили трубки. Теперь они кончали свой кейф и должны были показывать покупателям товар лицом. Они погнали бичами свое «стадо» к другой стороне рынка, где их ожидали анатолийские купцы, искавшие рабочей силы для отвоза товаров в Трапезонт.

За невольниками побежал и татарчонок, поивший водою слепца, а слепец посылал вслед своим землякам недослущанный ими невольничий плач. Его дрожащий голос плакал теперь на всю площадь.

Сагайдачный и Олексий Попович, улучив удобный момент, подошли к слепцу.

— Добрый день, Опанасовичу! — тихо сказал Олексий Попович.

Слепец вздрогнул и с изумлением на лице поднял на прищельца свои выколотые глаза.

— Кто знает тут Опанасовича? — спросил он тревожно.

— Я, Олексий Попович.

Слепец чуть не вскрикнул — не то от радости, не то от испуга: так велико было его изумление.

— Олекс.ечку! Р.днесенький мш!

Олексий Попович, нагнувшись к слепцу, положил ему в

чашку серебряную монету и рылся в набросанных туда медячках, показывая вид, что ищет сдачи.

— Олексичку, разве ж ты опять в неволе? — тревожно спрашивал слепец.

— Нет, дедушка... Я пришел к тебе с батьком отаманом войсковым, с гетманом Сагайдачным.

— Сагайдачный!.. Мати божа!

— Я тут, Сагайдачный, старче божий, — тихо отозвался предводитель казаков, тоже нагибаясь к нищенской чашечке, — козаки стоят в море... Нам надо добыть ключи от города...

— Чтоб ночью на Кафу мокрым рядом упасть, — пояснил Олексий Попович.

— Господи! — радостно перекрестился слепец.

Но Сагайдачный торопливо спросил:

— Санджакова бранка Хвесе жива еще?

— Живенька-здоровенька, пане гетьмане, дай ей бог счастья, здоровья! — отвечал радостно старик.

— Еще не потурчилась, не побусурманилась?

— Бог милостив, пане гетьмане.

— И ты к ней ходишь, старче?

— Иногда, бывает, хожу, — она добрая, меня, старого, жалует.

— А по Украине убивается?

— Очень, бедная, убивается.

— Так скажи ей, старче, что мы ее вызволим из неволи... Пускай она только от своего пана санджака, наши турецкого, ключи городские добывает, да ночью ворота отпирает, и нас к себе в гости ожидает.

Слушая это, старик весь трепетал от счастья... Сам Сагайдачный тут, Сагайдачный, одно имя которого наводит ужас на татар и турок, — разве же это не божие послание!

— Скажу, скажу Хвесе... пойду сейчас к ней, — бормотал он.

Сагайдачный и Олексий Попович, простившись со стариком, затерялись среди пестрого рынка.

## XV

Ночь. Темною пеленою раскинулось над таким же темным морем южное небо, по которому, точно золотом, брызнуто было мириадами звезд. Все кругом окутано мраком, все застыло в сонной тишине — и море, едва-едва плескавшееся



у берега, и горы, выступавшие из мрака бесформенными массами, и город, убаюканный этою сонною ночью.

Не спали только казаки. Еще засветло, по возвращении Сагайдачного, Небабы и Олексия Поповича с берега, они занялись приготовлением к решительному делу — осмотрели и привели в порядок оружие, запаслись лишними зарядами, трупом и натертою порохов паклею, распределили между собою предстоящую им работу — працю и, вместе с спустившеюся на землю ночью, тихо, в стройном порядке, двинулись к Кафе.

Казацкая флотилия разделилась на две части: одна, под начальством Небабы и других старших куренных атаманов, осталась на воде — сторожить издали корабли в гавани, другая пристала к берегу несколько левее Кафы, где и укрылась за возвышением. Этою командовал сам Сагайдачный.

В необыкновенной тишине высадились казаки из своих чаек, оставив в них только для охраны по несколько казаков из самых младших, конечно, из «бузимків». Тишина нарушалась только неясным шуршанием мелких прибрежных гольшей-валунов, производимым сотнями и тысячами казацких ног, осторожно пробиравшихся в темноте, да и это шуршанье заглушалось тихими прибоями моря, ровные, гекзамером катившиеся валы которого с плеском разбивались о прибрежные камни.

Как ни осторожно, как ни медленно пробирались казаки, постоянно останавливаясь и прислушиваясь, однако к полночи они перебрались через южный мысок, в который упирался город правым, так сказать, крылом и который господствовал над Кафою, и увидели под собою темные изломы крепостной стены, мрачные башни и торчавшие из мрака тонкие иглы минаретов. Слышно было, как над городом и над горами пронесся полуночный ветерок, заставив залепетать листья в сонных вершинах тополей и в темной зелени, кое-где разбросанной по полугорью. Явственно донеслось потом до казаков полуночное куроглашение, — кое-где запели петухи в городе, — и Сагайдачному, который шел рядом с Мазепою и Олексием Поповичем, почему-то в этот момент спала на мысль старая-старая песня, которую он слышал еще в детстве: «Ой, рано-рано птицы запели, а еще раньше пан господарь встал — пан господарь встал, лучком забрызчал...»

В этот момент брызнула чья-то сабля...

— Какой там чорт звенит! — послышалось тихое, но грозное предостережение.

Ответа не последовало... Где-то на городской стене зло-  
веще прокричал филин...

— Это прикмета из города, это наши,— прошептал Олек-  
сий Попович.

— Смотрите, смотрите, хлопцы!.. Это она, она летит! —  
послышался сдержанный шепот.

— Кто она? Где?

— Вон — по небу летит... Белая бранка.

— Та, что утопилась в море?

— Она...

Все взглянули на небо. В темно-синей выси, заслоняя  
собой Млечный Путь и созвездие Лебеда, двигалось по  
небу, как бы плыло в эфире, белое продолговатое облачко,  
образовавшееся, может быть, у вершины Чатырдага и те-  
перь плывшее над сонным городом... Многим, действи-  
тельно, в очертаниях облачка представилось подобие челове-  
ческого тела, закутанного в белый покров, и тотчас же вспоми-  
нился рассказ о белой бранке, невольнице, утопившейся в  
море от тоски по Украине и с тех пор пролетающей над  
Кафюю всякий раз, когда город ожидало какое-либо не-  
счастье<sup>1</sup>.

— В Украину летит, бедная...

— На тихие воды, на ясные зори.

Даже суровому и задумчивому Сагайдачному казалось,  
что это летит по небу чистая душа той бедной девушки,  
которую он любил когда-то и которая умерла от тоски в  
далекой неволе, за синим морем, в проклятом Синопе, вспо-  
миная о дорогой Украине и о козаченьке чернобровом, о  
Петрусе Сагайдачном... Но он тотчас же отогнал от себя  
эти грезы, далекие видения золотой молодости... Предстояло  
страшное дело — и, может быть, святая душа той, что про-  
летала теперь по небу, утешится, зная, что она и там —  
идеже несть болезнь, ни воздыхание — не забыта.

Он приказал одному куреню с атаманом своим Джен-  
джелием отделиться от всего войска, обойти кругом и обло-  
жить снаружи всю городскую стену, а когда подан будет  
сигнал криком филина, зажечь вокруг крепостных стен  
стоявшие в разных местах стоги сена и разные предго-  
родные постройки, чтоб вызвать переполох в городе и  
осветить его для предстоящей потребности.

<sup>1</sup> Предание это давно было записано Н. И. Костомаровым, но утра-  
тилось в бумагах покойного Погодина, которому сообщено было для напе-  
чатания в «Москвитяине». (Прим. авт.).

Палии — так их называли по аозложенному на них поручению. — получив этот приказ, отделились от остальных казачков и скрылись в темноте. Сагайдачный же повел все войско далее, руководствуясь указаниями Олексия Поповича, которому местность и город были хорошо известны: находясь тут несколько лет в неволе, он вместе с другими невольниками немало поработал, подгоняемый бичами приставников, и в городе и за городом, и в садах и на пристани, мел улицы и поливал цветы, таскал камни и подбивал грядки в виноградниках.

Наконец они очутились у крепостных ворот... Тихо кругом, точно в могиле...

Послышался крик филина... Из-за крепостных ворот отвечало мяуканье кошки, и одна складня ворот с тихим скрипом отворилась.

— Мати божа! — послышался тихий женский крик, и жесткую шею Сагайдачного обхватили нежные холодные ручки.

— Хвесья! Дитятко!

— Тятя! Тятечка мой! О-ох!

— Полно, дитятко! Некогда теперь от радости плакать... Возьмите ее, детки, стерегите, как золотое яблочко, — распорядился Сагайдачный, вырываясь из объятий девушки.

Тут же, в глубине ворот, с фонарем в руках стояла еще одна фигура в турецком одеянии...

— Ивашко! Потурнак! — всплеснул руками Олексий Попович.

— Я, Олексичку! Я сторожей напоил, покотом лежат...

В этот момент в разных местах вспыхнуло зарево, и высокие иглы минаретов как бы загорелись багровым румянцем... Зарделись и вершины тополей, словно бы ночью всходило солнце...

— За работку, детки! До брони! — раздался повелительный голос Сагайдачного.

Крепостные ворота распахнулись настежь, и в них, как в пробоину корабля врывается захлестывающая его вода, хлынули запорожцы. Толпы их с пылающими на ратищах пучками пакли, которая у них была раньше припасена и тотчас же при входе в город зажжена, рассеялись во все концы, зажигая все, что могло гореть, и оглашая воздух неистовыми криками...

Кафа разом превратилась в пылающий костер. Отчаянные крики проснувшегося населения, треск и гул горящих зданий, рев скота, плач женщин и детей, страшные вопли

убиваемых и бросаемых в огонь несчастных жертв казачьего мщения, радостные вопли вырвавшихся на свободу невольников, тут же на улицах, на площадях, среди зарева пожара разбивающих о камни свои оковы, и к довершению всего шумные порывы ветра, поднявшегося вместе с пожаром, — вся эта адская картина вполне выразила собою то ужасное время, когда люди были те же звери и как звери обращались с себе подобными. Как ни пронзительны были крики женщин и детей, вопль и стоны убиваемых, звериное рыканье обезумевших от крови казаков, как ни оглушителен был гул и треск пожара, но над всем этим господствовал общий отчаянный вопль: «Алла! Алла!» Улицы и площади покрылись трупами убитых и рыдающими над ними женщинами, которых казаки не трогали. Другие искали спасенья в бегстве, кидались с городских стен, и если оставались в живых, то или спешили укрыться в садах и горах, или бросались в море, чтобы достигнуть какого-либо корабля.

Скоро невольничий рынок стал наполняться кучами всякого добра — товарами, выносимыми из лавок, дорогими одеждами, уносимыми из горящих домов, мешками и бочонками золота и серебра, драгоценными вооружениями и конскою сбруею...

И тут же на рынке, у знакомого нам фонтана, в струях которого отражалось теперь кровавое зарево, сидит слепой невольник и, покачиваясь из стороны в сторону, перебирает своими костлявыми пальцами жалкие струны своего жалкого инструмента и поет что-то своим плачущим голосом. Но рев пожара и вопль людей заглушают его строгое рыдающее пение...

При зареве пожара видно было, как прекрасные тополи и кипарисы, охваченные пламенем, чернели и превращались в тонкие, обугленные иглы. В воздухе, над длинными языками пламени, носились испуганные птицы и, застигнутые дымом, охваченные горячими струями ветра, стремглав падали в пылающую бездну и погибали... Все, казалось, горело: и дома, и мечети, и минареты, и мрачные, теперь светящиеся крепостные стены с башнями, и красные лица снующих в пламени казаков, и их одежды, освещаемые багровым заревом...

— Бей о камень младенцев их! — кричал Олексий Попович, показываясь на площади, сильно пошатываясь.

Он, по-видимому, успел шибко хватить после продолжительного казачьего поста и теперь находился в самом возбужденном состоянии, грозил кому-то кулаком в воздухе и путался с саблей, которая колотила его по ногам и мешала идти.

— Бей о камень младенцев! — орал он. — А! Какой это черт меня за ноги хватает!.. Бей! Режь!

В это время какой-то маленький ребенок, по-видимому, татарочка, курчавенькая и босоногая, очутившись одна на ярко освещенной площади и не зная, куда бежать и кого искать, громко плакала.

Олексий Попович наткнулся на нее и остановился.

— Чего ты плачешь? — вдруг ласково заговорил он к татарочке.

Девочка, увидев незнакомого, еще пуще заплакала.

— Да не бойся, дивчинко... А! Аспидове! Какое ж оно хорошенькое! — И пьяный добряк нагнулся к ребенку, гладил его головку, заглядывал в глаза. — Вот хорошенькое! Ай-ай! Ну, иди ко мне на ручки, не бойся. — И он, несмотря на слезы девочки, взял ее на руки, продолжая гладить. — Постой, не плачь, я пряник дам... У меня хорошие пряники, сладкие... — И он, действительно, достал из кармана пряник, захваченный им где-то в ограбленной лавке. — Где твоя мама? — допытывался он у девочки, забыв, что она его не понимает, и суя ей пряник. — Я понесу тебя к маме...

Другие казаки, нагруженные добычей, завидев пьяного товарища с ребенком на руках, не могли удержаться от смеху, как ни была ужасна картина, окружавшая их.

— Эй, Попович, где ты ребенка достал?

— Да это его ребенок, это ему привела татарка, как он еще в неволе был.

— Что ж, ты его грудью кормишь, что ли?

В это время вспыхнуло зарево и на море: это распорядился Небаба, зажегший турецкие корабли в гавани.

— Гей, братцы, сторонись! — кричал кто-то неистово.

Все оглянулись: освещаемый багровым пламенем и весь согнувшись под какою-то тяжелою ношею, шел Хома. Увидев его, казаки и руками всплеснули: силач Хома нес на плечах пушку!

— Да это Хома! Смотрите, панове: он пушку несет!

— Батечки, целую гаковницу прет!

— Вот Вернигора, один пушку тащит!

Хома, весь запыхавшись, красный и растрепанный, бережно сложил свою ношу около прочей добычи.

— Вот иродова, какая ж тяжелая, — ворчал он, утирая с красного лица пот.

— Что это ты, Хома? Где ты ее взял? — любопытствовали казаки.

— Да на башне ж, — лениво отвечал тот.

— Да на что она тебе?

— Эге! Она медная... А батько говорил, что нехорошо, что у нас в Сечи нет ни одной медной пушки. Вот я и принес эту гаковницу... Да и тяжела ж иродова... аж плечи болят!

Казаки не могли надивиться буйволово́й силе простака Хо́мы.

— Вот так богатырь! Да ты скоро, Хома, будешь на себе коня своего носить! — говорили шутники.

— Эге! Я и носил было маленького стригунца, так нет — не то.

— А что? Тяжел?

— Нет, брыкается, иродова детина!

Казаки опять засмеялись.

А между тем пожар в гавани разрастался. Видно было, что горело по всему побережью.

— Это Небаба запалил свою люльку!

— Добре старый справляется...

На площади показался Сагайдачный с старшинами. Он, как и окружавшие его атаманы куреней, был уже на конях, в богатой турецкой сбруе, взятых из конюшен пашей и янычар. Они сели на коней для того, чтобы посевать во все места и за всем наблюдать.

— Спасибо, детки! — обратился Сагайдачный к казакам, бывшим на площади. — Добре справились.

— Спасибо и вам, батьку, что дали нам работу! — закричали в ответ казаки.

— Не забудет нас Кафа проклятая!

— Будет ей казацкими душами, как скотиной, торговать! Дали мы ей знать!

Увидев зарево в гавани, Сагайдачный подозвал к себе Мазепу.

— Беги, пане писарю, на берег, гукни до Небабы, чтоб он не все галеры турецкие палил, потому что при такой корысти (он указал на груды добычи) нам без галер нечем будет взяться, да и немало с нами будет бедных невольников: было б на чем их до городов христианских довести.

Мазепа поскакал по направлению к гавани.

Площадь все более и более заполнялась казаками, которые стекались со всех концов пылающего города, обремененные добычею. Груды последней росли с каждым часом. Казаки, свалив в общий кош принесенное добро, снова уходили, чтоб добирать остальное и добивать татар, которых не успели

перебить сразу или которые не успели спастись бегством. А пламя все свирепело, пожар разрастался, и злополучный город представлял сплошное море огня. Из прежних генуэзских дворцов и роскошных палаццо, из богатых турецких и татарских домов, из мечетей и общественных бань в окна и двери вырывалось наружу пламя и огненными языками лизало и коптило стены зданий, топило свинец и олово водопроводов, съедало дотла все, что было в городе деревянного.

К утру пламя начало утихать — ему уже не доставало пищи...

Утреннее солнце осветило развалины Кафы, еще вчера такой роскошной... Олексий Попович стоял на чердаке своей чайки, держа на руках заснувшую татарочку, и глядел на развалины города, в котором он когда-то томился в неволе... По лицу его катились слезы...

## XVI

«Опровергши до фундаменту» прекрасный город, казаки, обремененные добычей, опять ушли в открытое море. Они захватили с собой несколько турецких галер, пощаженных Небабою при сожжении всего находившегося в гавани, и нагрузили их награбленным добром, а также поместили на них и всех освобожденных в Кафе невольников.

Грустно было смотреть на удалявшийся из глаз все еще дымившийся город, в котором еще накануне жизнь была таким широким ключом; но казаки глядели на него-как на убитого гада и беспечно отдыхали после кровавой работы. Флотилия их держалась прямо на полдень, все более и более удаляясь от берегов, так что в тот же день казаки увидели себя окруженными безбрежно расстилавшеюся во все стороны синей пучиною и таким же, как море, безбрежным небом. Они вспоминали и пересказывали о том, что осталось у каждого в памяти об этой роковой ночи, передавали потрясающие подробности о том или другом эпизоде своих походов, перевязывали друг другу раны, ожоги, шутили, смеялись, тешились простоватостью Хомы, в жару кровавой работы потерявшего свою шапку и ни за что не соглашавшегося надеть на себя дорогую, шитую золотом ермолку, которую он нашел в своем кармане. Всеобщую веселость возбуждал и Олексий Попович, который, проспавшись, увидал себя обладателем маленькой, хоро-

шенькой, как херувимчик, татарочки и не знал, что с нею делать: ребенок постоянно плакал, показывал ручками куда-то вдаль, конечно, туда, где осталась его мать, и Олексий Попович изо всех сил бился, чтоб утешить малютку. Девочка, впрочем, скоро завоевала любовь всех казаков. Да и то сказать — нигде ребенок не возбуждает в людях взрослых, в сердцах даже черствых, закоснелых, никогда не любивших не только чужих, но и своих детей, — нигде, повторяем, не возбуждает ребенок такого глубокого умиления и нежности, как на море, вдали от земли, где чувствует-ся полная оторванность от земли, где невинное существо, тоже оторванное от своего гнезда, напоминает другой мир, другие, милые, далекие образы. Но еще более чувство умиления и нежности к ребенку вырастает среди такой суровой обстановки, как война, — скитанье между жизнью и смертью, страшная неизвестность с неизбежными кровавыми спутниками. Даже собачка в такой обстановке вызывает к себе особенную жалость и нежность.

Так было и с пленной татарочкой. Олексий Попович, желая утешить ее, то играл с нею в ладки, то выделял на ее маленькой, пухленькой ладони, как «сорока-ворона на притчку сидла, діткам кашку варила»; то, нежно обняв своими корявыми ладонями ее курчавую головку и покачивая ее из стороны в сторону и ласково заигрывая, он распевал, стараясь подделаться под нежный женский голос: «Печу-печу хл.бчик, меншому — менший, старшому — більший...» Другие казаки старались ее забавлять то тем, то другим: один играл на губах, как на балалайке, другой показывал ей своими бревноподобными пальцами козу и кричал самым усердным образом «мекеке». Усатый Карпо Колокузни смастерил ей из разных лоскутков куклу, приделал ей из лозы рога, и кукла плясала. Даже суровой Небаба забавлял девочку: становился на четвереньки и лаял собачкою... Глядя на его улыбающееся, седоусое, доброе, но смешное лицо, девочка, забыв свое горе, заливалась звонким смехом... Это всех казаков приводило в восторг: на четвереньки становились и другие — кто лаял по-собачьи, кто мычал коровою...

Куда же девалась Хвесья, «санджакова бранка», которая достала казакам ключи от Кафы, с такою радостью бросилась на шею к Сагайдачному, к своему крестному отцу, и которую еще этот самый Сагайдачный велел беречь, как золотое яблочко? Ее нет теперь с казаками. Неужели они не устерегли ее? Неужели она погибла в эту ужасную



ночь? Никто этого не знал. Казаки, попечению которых она была поручена Сагайдачным перед началом грабежа города, говорили, что Хвесья велела им идти с нею к дому ее господина, «пана господаря», который купил ее на рынке в Козлове, а потом сделал ее своею любимую «бранкою», невольницею, господствовавшею над всем его сералем. Этот ее господин и был санджак — губернатор Кафы. Когда казаки, сопровождавшие Хвесью, пришли к дому ее господина, в разных местах города уже вспыхнул пожар. Хвесья сказала, чтоб казаки подождали ее около дома, что она сбегает захватит разные дорогие вещи, подаренные ей господином, а потом можно будет и грабить его дом. Само же санджака, — говорила она, — не было в городе. Но из дома она уже не возвратилась. Когда же потом казаки, соскучившись долгим ожиданием и опасаясь, не случилось ли чего с их землячкою, вошли, скорее вломились, в дом санджака, то ни Хвеси и никого из людей там не нашли: дом оказался пустым, словно выморочным. Они перешарили все углы, перевернули все вверх дном, кричали по всем комнатам, на дворе, звали Хвесью, но никто и ничто не откликнулось на их голос. Скоро они увидели, что и этот дом горит, поторопились захватить из него лучшее, что бросалось в глаза, — и уже только под конец заметили потайную дверь в стене дома; когда выломали эту дверь, то увидели, что она ведет в ближайшую крепостную башню, а из башни едва заметная дверка выводила прямо в горы. Этим путем, вероятно, как полагали казаки, скрылась их соотечественница. Но зачем? Или, может быть, ее увлекли туда насильно? Или она сама, как Маруся Богуславка, захотела остаться в неволе?.. Кто угадает тайные движения сердца женщины!.. Оно так же скоро забывает то, что недавно любило, как вот эта маленькая татарочка забыла свою мать, переходя с рук на руки от одного казака к другому.

Так думал Сагайдачный, блуждая взором по безбрежному морю. Думалось ему и многое другое, — то, что всю жизнь не выходило у него из сердца и о чем никто не знал, как не знали и теперь казаки, куда он ведет их... Вот разрушена Кафа — «до фундаменту опровергнута...». Та же участь ждет и прекрасный Синоп, этот поэтический город любви, как его называли турки... Не первый уже раз казакам приходится «плундровать» Синоп, — надо еще дать ему чосу. Надо и Царьград окурить мушкетным дымом, припугнуть самого султана в его серале, а оттуда махнуть до города Козлова и разорить это невольничье гнездо

дотла, вырезать турок и татар до ноги, чтоб и на расплод, на семена никого не осталось от этой саранчи. А тогда и домой — до городов христианских, на тихие воды, на ясные зори, в мир крещеный, в край веселый...

Но этого мало ему — он шире загадывал беспокойною мыслью. Ему хотелось совсем отгородить христианский мир от мира некрещеного. Но как? Сделать Черное море совсем казацким морем, упереться пятою в Крым, запрудить все море казацкими човнами и кораблями, настроивши их в самом Крыму по истреблению там саранчи и по уничтожении самого царства Крымского, и, соорудив несокрушимую фортецю на самой вершине Чатырдага, гукнуть оттуда за море: «Сидите, турки, смирно!»

Одна мысль гнала другую, переноса его и в далекую Украину, всю, казалось, сверкавшую переливами света, и в блестящую, с ног до головы залитую золотом, златоглавами и оксамитами Польшу, и на милую далекую родину, в горный Самбор, и в хмурую, метельную Московщину.

Сагайдачный глянул на казаков, которые беззаботно играли с татарочкой, и грустно улыбнулся. Он велел своей чайке повернуть к большой галере, которая шла недалеко, вся наполненная освобожденными невольниками. Чайка подошла к галере, Сагайдачный взшел на последнюю. За ним последовал Мазепа, а там и Небаба. Маленькая татарочка тоже забормотала, показывая ручками, что и она туда же хочет пойти.

— Ишь ты — и она за батьком.

— Возьмите ее, панове: пускай и она посмотрит.

Олексий Попович взял девочку на руки и тоже взшел на галеру, бережно неся ребенка.

Галера представляла поразительную картину пестрого смещения — жалких лохмотьев нищеты, прикрытых яркими, нередко дорогими одеждами: лохмотья — это остатки невольничества, остатки того жалкого одеяния, которым в неволе драпированы были полунагие тела турецких и татарских рабов; на ногах, не у всех еще обутых, но у всех уже раскованных, виднелись следы кандалов — то живые раны, то заживающие или гноящиеся струпья; дорогие одежды — это добыча, взятая с прежних господ и мучителей, снятая нередко с убитого или умирающего «господаря» и оттого иногда окровавленная или полуразорванная в момент схватки с врагом. Почти все невольники были более или менее приодеты в это добытое в разрушенном городе платье... Невольники — москали, донские каза-

ки, поляки, украинские «гречкосм», «винники», «броварники», и в особенности казаки — все это, бывшее недавно в тяжелой неволе, все эти давно не стриженные или обкарнанные, как овцы летом, головы смотрели теперь не то татарами, не то турками, не то армянами... Только истомленные, изнуренные, загорелые лица выдавали, что все это сейчас только вырвалось из каторги, сорвалось с цепи...

Говор на галере был невообразимый: звучала речь польская, московская, украинская, в особенности эта последняя. Кто спал, раскинувшись на солнце, как бы досыпал недосланные в неволе ночи; кто ел — что успел захватить с собою, расставаясь с городом слез и крови христианской; кто рассказывал другому о своих похождениях в неволе, о своей далекой родине, о тех милых и далеких, которых, быть может, давно уже нет на свете. Москали братались с казаками, «гречкосм», «винники» и «броварники» — с ляхами, которых всех поравняла неволя и червонная таволга. Какой-то старик, оборотившись лицом к северу, клал земные поклоны. Молодой худой парень с длинными русыми волосами, одетый в турецкую куртку с позументами поверх голого загорелого тела и в широкие турецкие шаровары, подперев худую щеку рукою, пел, скорее горланил со слезами на голубых, задумчивых глазах:

Как по-о мо-орю! как по-о мо-орю!  
Как по морю, морю си-инему!

Но особенно поразила Сагайдачного и его спутников среди этого хаоса какая-то молодая красивая женщина, в богатом турецком одеянии, с откинутой назад чадрой: она сидела, отвернувшись лицом к морю, и горько плакала.

Сагайдачного удивили эти слезы среди общего, по-видимому, счастья. Он думал, что это татарка или турчанка-полонянка, захваченная казаками, и подошел к ней. Женщина сидела, не поворачивая головы. Видно было только, как вздрагивали ее плечи... «Мати божия!» — слышалось сквозь плач.

Сагайдачный понял, что это не бусурманка. Ему стало жаль ее — он не знал, чему приписать это горе, выливающееся такими горькими слезами.

— Молодица, ты чего плачешь? — тихо спросил он.

Плачущая женщина не отвечала. Она плакала еще горше. Маленькая татарочка, увидав ее, стремительно бросилась к ней и громко закричала: бедный ребенок вспомнил мать, которую начал было уже забывать, — костюм татарки напомнил девочке то, чего она лишилась, и она, обливаясь слеза-

ми, уткнулась головкой в колени неизвестной женщины. Это была единственная женщина, которую увидел ребенок после того, как потерял мать среди пламени и стонов.

Неизвестная женщина быстро обернулась, сверкнув на всех своими ясными, прекрасными, но заплаканными глазами, и, припав лицом к головке девочки, жалостно, но безмолвно рыдала.

Слезы сверкали на глазах сурового Небабы. У Олексия Поповича задрожали губы. Мазепа как-то растерянно тербил концы своего саяетового пояса, моргая глазами и нерешительно взглядывая на Сагайдачного, который показывал вид, что смахивает со щеки муху...

— Что оно такое? Не наша? — тихо указал Сагайдачный на плачущую женщину.

— Да она, ваша милость, сказать бы, воруха, — заговорил оборвыш, глядя в глаза Сагайдачному и заискивающе улыбаясь.

— Воруха? — удивился гетман.

— Точно, боярин, воруха — воровского казака, значит, жонка-полонянка: в полону, сказать бы, была. А вон тамotka муж ейный будет, вон песню играет: «Как по морю...»

И оборвыш указал на поющего парня.

— Муж этой молодежи? — указал Сагайдачный на молодую женщину, которая уже перестала плакать и утешала всхлипывающую татарочку.

— Ейный, ваша милость, воровской казак будет — полоняник же... А вот как он, казак-то, увидел здесь-тка эту самую бабу и спознал в ей свою жену законную, да как узнал, что она бусурманена, вот он и не признает ее: поганая, говорит, бусурманка... А мы сами, ваша милость, будем орловски, из Орла-града — орлянин я, ваша милость, — и в прошлых годах, в спожинки, татаровя полонили нас... А как таперево, ваша милость, вы нас, значит, из полону агарянского ослобонили, и мы ваши вечные богомольцы будем — молить, значит, вечно за вашу милость бога будем и с ребятками и животов наших не пожалеем... А ежели чего свечку поставить за здравие вашей милости, и мы тово не пожалеем, — богомольцы мы ваши. Коли ежели и животишки наши испутошены, и скотинкою, може, без хозяина подбились — ино бог нам пошлет свою милость, а мы ваши богомольцы по гроб живота.

Тут только словоохотливый орлянин спохватился: начал за здравие, а свел на упокой — совсем заболтался. Он разом оборвал, тряхнул волосами, засеменял на месте и испуганно

поглядел на Небабу, который казался ему очень страшным.

Сагайдачный между тем пошел дальше, а назойливый орлянин не отставал от него.

— Зовут ее, ваша милость, Офимьцей, — скороговоркой досказывал он недосказанное, — казачья Онисимкина жена Бурыкина. А взяли ее нагайски татарова на Дону, в подъезде, и с Дону свели в Азов-град, а из Азова-града продали в эту самую Кафу; и в Кафе она, Офимьца, бусурманена, и по середам, и по пятницам, и в великие посты мясо и всякую скверну и нечисть бусурманскую едала; и взял ее, Офимьцу, за себя татарин-чауш во вместо жены, без венца, и жила она, Офимьца, с ним без молитвы, и прижила сыночка ребенка, и по-бусурмански маливалась, и веру бусурманску держала, а веру русскую проклинала с неволи и каном мазана с неволи ж; и муж ейный, татарин, велел-де ей палец подымать, и она-де, Офимьца, палец подымала с неволи ж.

Но Сагайдачный уже не слушал болтуна, который, впрочем не досказал самого главного. На душе плакавшей казачки было величайшее горе, какое в состоянии понимать только матери. Она, действительно, была несколько лет тому назад полонена на Дону вместе с молодым мужем, с которым не прожила и месяца в замужестве. Ее продали в Кафу, а его в Синоп. Сколько она ни плакала, сколько ни молилась, а в конце концов должна была подчиниться воле своего господина-татарина: она стала его женой. Года два тому назад у нее родился сынок — злой татарчонок, как поется в песне, но для нее он был не злой татарчонок, а родной сынок Халилюшка, которого она обожала в своей горькой неволе и как бы отождествляла в своем сердце с милосердным другом, с Онисимком, пропавшим для нее навеки. И вдруг не далее как вчера утром она, сидя у окошка, которое выходило в море, на гавань, услышала знакомое, давно не слыханное пение, родные голоса: «Разовьем мы березу, разовьем-ка кудряву». Сердце оборвалось у нее. Она глянула в окошко и увидала, как невольники тянули по берегу лямкой какую-то тяжелую посудину и пели, скорее стонали, «Дубинушку»... Слезы брызнули у нее из глаз, и когда она их отерла, то среди оборванных полуголых и худых невольников она увидела — кого же? Своего мила друга Онисимушку!.. А тут вдруг ночью нагрянули казаки, вспыхнул город — крики, стоны, резня... Казаки напали на их дом. Она с Халилькой на руках бросилась им навстречу, вопя: «Родимые, не губите! Кормильцы, не стеряйте робе-

ночка!..» Ее, конечно, не тронули, а вместе с другими освобожденными невольниками повели на берег, к галерам и чайкам. Там она увидала своего первого мужа — Онисима, бросилась к нему, забыв даже, что у нее на руках не его ребенок. Онисим узнал ее, затрепетал весь и, выхватив из ее рук малютку, с криком — «а, злой татарчонок!» — размогил его о береговые камни...

Вот о чем плакала несчастная мать.

Торжествующих казаков ожидало, однако, горе: к вечеру их общая любимица и забавочка, их золотое яблочко, маленькая татарочка «разгасилась». Она все хваталась за головку, которая была как в огне, тихонько плакала, все тянулась пить и металась на куче кожухов, из которых ей сделали постельку под чердаком. Казаки совсем растерялись, не зная, как возиться с больным ребенком. Они и придумать не могли, с чего в он о расхворалось. Отроду не знавшие, что такое значит простуда, казаки просто не уберегли, простудили ребенка и теперь не знали, что и подумать. Все были того мнения, что дытну зглажено, что кем-нибудь ей «наврочено» и всего скорее сглазил ее чей-либо недобрый глаз на той галере, где много москалей-невольников; наверное, «москали» сглазили. А может, сглазила и та молодлица, подончиха, что плакала над ней. Просто беда да и только!

Кинулись казаки лечить девочку, и каждый предлагал свое средство: Хома слышал от старых людей, что для того, чтобы дытну не испортили, не «наврочили», надо вколоть иголку в шапку, и он это сделал: засадил в свою шапку огромную иглу.

— Эге, дурный! — замечали ему на это. — Надо б было тогда втыкать иголку в шапку, как дитя было еще здорово, а теперь оно не поможет.

Долго возились с татарочкой, но, наконец, она уснула, убаюканная тихим волнением моря, уткнувшись заплаканным личиком в кожух, на который ее положили.

Казаки окончательно присмирели. Олексий Попович велел даже снять всем чеботы, чтоб, ходя по чайке, не стучали чеботищами, а наконец, и уложил всех спать, хоть многие порядком отоспались за день, а иные даже распухли от сна.

— Сон на сон не беда, — утешал их Попович.

— Вот кий на кий так беда, — пояснял Карпо Колокузни, развалившись на шкуре убитого им тура, которую он предлагал было под татарочку, но Олексий Попович не принял:

— Еще ребенок испугается либо самого тура во сне увидит.

Сам Олексий Попович, успокоившись насчет сна девочки, лег, съжившись, около нее, чтоб всегда быть наготове, и скоро захрапел на всю чайку, потому что не спал весь день.

Покойно спала и юная пленница. В течение ночи Небаба, старую голову которого не брал сон, несколько раз тихо подкрадывался к тому месту, где лежала татарочка, прикрывая казачьим жупаном до самой головки, и осторожно прислушивался к ровному дыханию спящего ребенка.

Утреннее солнце, вынырнув из моря половиною пурпурового диска, осветило необычайно живую, поэтическую картину. Казачья флотилия быстро неслась к полуденной стороне на всех веслах. Весла в сухих уключинах кричали тысячами голосов, словно бы это кричало по заре несметное лебединое стадо. Другие казаки, не сидевшие за веслами, те, которых «черга» еще не наступила на начинающийся день и которые, следовательно, могли спать дольше, теперь просыпались и совершали свой нехитрый туалет и все то, что казаку бог велел делать; те, почерпнув из моря ведром или водоливным ковшом воду, мыли свои загорелые казачьи лица, богатырские усы и чубы, фыркали и гоготали, как стадо жеребцов на водопое, приправляя это дело казачьими жартами — остротами — над добродушным Хомою и всякими словесными и телесными выкрутасами; другой, отфыркавшись от «гаспидської» соленой воды и утерев лицо рукавом, полою, хусткою, а то и расшитым рушником, подарком матери, сестры или дивчины, а то и вовсе ничем не утершись, с серьезным лицом стоял, оборотясь к востоку, к солнцу, и бревноподобными пальцами тыкал себя в лоб, в пузо и в богатырские плечи, бормоча иногда то, что только ему было ведомо, да и то едва ли: «Господи, мати божа, свята покрова з п'ятницею, та святий Юрко з конем, та Іван-голова ОсіКа, та МаковІя з шуликами, з маком і есі святІ, помилуйте козака Ониська! АмІнь». Тот, сняв с себя сорочку и поставив свои голые плечи и спину под ласкающие лучи утреннего солнца, усердно зашивал гигантскою иглою дорожные прорехи в своем белье, более похожем на половик в дегтярном складе, чем на якобы «бІлу сорочку». А этот, совсем без сорочки и без штанов, став на краю чайки, у свободного борта, неистово тряс над водою свое казачье одеяние, чтоб «чортовІ блохи» в море попадали и не кусали бы больше казачьего тела.

Татарочка проснулась здоровенькая, без жару, хотя немножко бледненькая; сначала, видимо, не поняла, где она и что с ней, — заплакала; но, увидав знакомые уже лица казаков, успокоилась. Олексий Попович, зачерпнув из моря воды в ковшик, стал было осторожно своими мозолистыми ладонями мыть нежное личико девочки, но она заплакала, и Небаба, давно помолившийся богу и сосавший свою люльку, которая теперь не гасла, вступился за татарочку.

— Полно тебе, Олесию, вередовать над ребенком, — ворчал он.

— Да оно не умыто, — оправдывался Попович.

— А ты думаешь его своими копытами умыть?

— Тю! Какие у меня копыта! — обиделся Попович. — Я не жеребец.

Вдруг с чердака гетманской чайки раздалось протяжное завывание вестового рога. Вся флотилия как бы встрепенулась, точно стая птиц взмахнула разом белыми крыльями: это все чайки разом взмахнули веслами, вынув их из воды и сверкая на солнце, словно тысячами алмазов, спадавшими с них каплями.

Рог Сагайдачного трубил сбор. Все чайки, услышав этот призыв, поспешно стали собираться вокруг гетманского човна. Они скоро сошлись вплотную, борт к борту, так что можно было перебежать через всю флотилию и не попасть в воду.

— Панове отаманы и все войсковое товариство! — громко сказал Сагайдачный, показывая имевшуюся у него в руке зрительною трубкою по направлению к западу, — там идет по морю турецкая галера... Та галера, вероятно, какого-нибудь богатого княжаты либо паши, вся барзо добре украшена — злато-синими киндяками обвешана, пушками унизана и турецкою белою габою покрыта. Надо нам, детки, ту галеру добыть: может, и в ней бедного невольника немало...

— Добыть! Добыть! — закричала вся флотилия.

— Либо добыть, либо дома не быть! — раздались отдельные голоса. — Веди нас, батьку, хоть на самого черта!

— Раз родила мать, раз и умирать!

Сагайдачный, когда голоса смолкли, тотчас распорядился, как застукать этого зверя среди открытого моря, чтоб он не улизнул, и велел трубачу трубить погоню.

Завыл рог. Чайки снова рассыпались, как птицы, оставив под командою Дженджелия несколько лодок для прикрытия взятых в Кафе галер с освобожденными невольниками, и полетели на запад тремя купами — средняя на-



перерез турецкой галере, боковые в обход ей с севера и юга. Чайки буквально летели стрелой: это было что-то живое, трепетавшее на поверхности моря белыми, сверкавшими жемчугом брызг и пены крыльями...

Скоро показалось на море стройное, красивое чудовище, на котором полоскались в воздухе разноцветные флаги, злато-синие киндяки и сверкала, как снег, белая габа. Чудовище заметило погоню и как бы дрогнуло всем телом: над палубой взвился белый дымок, что-то грохнуло, и ядро, не долетев до средних чаек, с визгом упало в море.

— Вот так!! — послышался голос Карпа Колокузни, и казаки ответили реготом с всех чаек.

Пока галера успела дать залп изо всех пушек, чайки уже так близко подлетели к ней, что ядра перелетали через головы казаков и шлепались в вспененное веслами море.

Словно черные ласточки, стаей окружившие коршуна со всех сторон, окружили галеру чайки... Послышался голос Сагайдачного — раздался ружейный залп, задымились дула мушкетов, и, как снопы, попадали на палубу и в море защитники галеры... «Алла! Алла! Алла!»... В одно мгновение сотни багров, как клещи или гигантские тысяченожки, впилась в бока галеры... Казаки уже на палубе — режут, добивают... Стон, вопли... Галера во власти казаков... Из-за воплей умирающих слышался отчаянный детский плач: то плакала татарочка...

— А, чтоб вас! Только ребенка напугали! — спохватился Олексий Попович и бросился к татарочке.

Вновь добытая галера была действительно богато разукрашена. Но жаркая схватка, в которой весь экипаж ее был вырезан и перебит казаками, оставила кровавые следы на палубе, на снастях, и на вычурных, резных наметах, и на чердаках, обитых разноцветною матерною и перевитых лентами. Казаки тотчас же принялись очищать галеру от трупов, которые все были брошены в море, не исключая и раненых, смывать кровь, обильно пролитую по всей палубе, а другие отправились в трюм и выпустили на свет божий посаженных туда и прикованных друг к другу невольников.

Оказалось, что галера эта, закупив партию невольников в Козлове, на тамошнем невольничьем рынке, везла их в Трапезонт, на галеры и для садовых и полевых работ у Осман-паши трапезонтского. Галерою командовал молодой моряк, племянник трапезонтского паши, Беглер-Капудан, который, пораженный казацкими пулями, в числе первых

защитников галеры свалился в море, окрасив своею пурпуровою кровью бирюзовые волны вспененного чайками моря.

Между невольниками казаки нашли много знакомых. Радость спасенных не знала пределов.

Спасители были также довольны, что им удалось оказать добро «б.дному невольнику».

Сагайдачный, оставив атаманскую, или гетманскую, чайку в распоряжении Нечая с казаками его куреня, сам с писарем Мазепою, с Небабою, Олеksiем Поповичем и другими казаками перешел на галеру, тем более, что она была хорошо вооружена и приспособлена для дальнего плавания.

Маленькая татарочка также перешла на эту галеру и была в восторге, могла лазить по высоким чердакам и любоваться украшениями галеры.

Так как на галере оказался небольшой очаг, сложенный из кирпичей и приспособленный для варки пищи, то казаки, отыскав между галерными запасами сорочинское пшено, тотчас же развели огонь в очаге и сварили для своей любимицы кашку.

Между тем Карпо Колокузни и сероглазый Грицко с своим черномазым приятелем Юхимом возились с несчастным друкарем Федором Безридным, которому при атаке галеры турецкая пуля навывлет пробила правую руку выше локтя. Они перевязывали товарищу рану и старались его утешить.

К ночи казаки были уже в виду большого красивого города, стоявшего на берегу моря: флотилия их пересекла Черное море поперек, «*per diametrum*» как выражался знаменитый Жолкевский в донесении королю.

В полумраке неясно вычерчивались стены и башня города, и тонкими стрелами тянулись к небу минареты да стройные тополи. Это был Синоп.

Многие из невольников, освобожденных казаками в Кафе, долго жили в Синопе и хорошо знали как расположение города и его укреплений, так и слабые стороны его защиты. С ними долго советовался Сагайдачный и прочая казацкая старшина, и тут же порешено было напасть на беззаботный город, одною половиною казацкого войска высадившись и ударивши на замок, а другою — занявши гавань и все что в ней находилось.

Когда город был уже в руках у казаков и по всем местам

шло широкое «плюндрованье», в утреннем воздухе, среди треска, гула и стонов, раздался пронзительный крик:

— Ратуйте, кто в Бога верует!

Через базарную площадь, заваленную добычей, бежал мальчик лет шестнадцати-семнадцати, в богатом турецком одеянии, с красною фескою на голове, а за ним, махая саблей, гнался усатый Карпо.

— Ратуйте! Ратуйте! — повторял преследуемый юноша.

На покрытом потом и гарью лице усача выразилось величайшее изумление.

— Вот дьявол! Еще и по-нашему кричит! — пробормотал он. — Стой, аспидова детина, а то зарублю.

Преследуемый остановился, дрожа всем телом и испуганными глазами ища кругом спасения. Усач подбежал к нему, держа над головою саблю.

— Ты кто такой? — спросил он.

— Я казак... казацкий сын, — отвечал юноша, заикаясь.

— Как же ты попал сюда?

— Меня взяли в неволю.

— Как же ты вырядился в такие шаты? — спросил Карпо.

— Меня так вырядили... Баша... Осман-паша... вырядил.

— А откуда ты родом?

— Из Суботова.

Подшли другие казаки, стали расспрашивать — что и как?

— Те-те-те, да это же Зинько Хмельниченко, — отозвался один из казаков, — я его узнал... Ты Зинько, хлопче?

— Я Зинько, дядьку, — отозвался юноша, — меня и Богданком дразнят.

— Так, так, панове, это Зинько и есть: его еще третьего года татары в поле взяли.

— Старого Хмельницкого мы знаем, — отозвались другие казаки, — добрый казак.

— Только немного ляхом пахнет, — заметил кто-то.

— И сына, говорят, в латинской школе учил... Правда, хлопче?

— Правда, — отвечал юноша, — меня в Ярославле учили, в Галичине.

С берега донесся протяжный вой: казаки узнали голос призывной трубы и поспешили каждый нагружаться добычею, которая еще не вся была перенесена на чайки и на галеры.

— Скоренько, панове, батько кличет.

— Час до сбора.

— А все казаки живы и здоровы?

— Бог поможет — все живы будем.

Со всех сторон навьюченные казаки спешили к берегу. Солнце уже золотило верхушки минаретов и ближайшие горы. Над пожарным дымом вились голуби и галки, которым не удалось выспаться в эту тревожную ночь. Слышен был рев скота, не находившего своих хозяев, ржание лошадей, распуганных пожаром, блеяние овец. Ветром гнало дым на море, на котором, словно стая птиц, колыхалась казачья флотилия.

Берег был весь запружен казаками, таскавшими на ближайшие чайки свою «користь» и передававшими ее с чайки на чайку и на галеры.

— Смотрите! Смотрите! — раздались голоса. — Кто-то несет на руках козла.

— Да то дурный Хома!

Действительно, Хома тащил на руках белую ангорскую козу, которая билась в его руках и мекекекала отчаянным голосом. Хома, весь красный от натуги, сердито ругался, таща в то же время на веревке корову, которая упиралась и редела, и волоча сверх того почти целую копну сена.

— Что это ты, Хома? — окружили его казаки, надрываясь от смеху. — На что тебе козел?

— Да это не козел, а коза, — сердито отвечал простоватый Хома, — да еще и брыкается.

— Да на что она тебе, дурень?

— Эге! Я ее буду доить, она молоко даст...

— На что тебе, дурню, молоко?

— Овва! Татарочку кормить.

— Вот так Хома! Вот так голова! Он разумнее всех нас и татарочку не забыл, — смеялись казаки.

Звонкая труба между тем продолжала скликать казаков. Звуки ее становились все резче и резче.

— Скорей, братцы, до чаек! Батько сердится! — заторопились казаки.

— Пускай сердится.

— Хома! Бери корову на руки да неси до чайки.

Растерявшийся Хома не знал куда повернуться. Наконец, отчаянно махнул рукой и бросился вслед за другими казаками.

## XVII

Пока запорожцы гуляют по морю и «завдають страх» татарам и туркам, перенесемся на крыльях воображения на тихие воды, на ясные зори и посмотрим, что делается на Украине.

Мы в Переволочне, на самом рубеже мирной Украины, там, где с одной стороны кончаются тихие воды и ясные зори, а с другой, к югу, начинаются и тянутся на необозримое расстояние безбрежные степи.

Душная летняя ночь, словно бы перед грозой. На горизонте часто вспыхивает зарница и освещает на краткие мгновения спящее село. За селом, на выгоне, раздастся иногда одинокий девический голос и тотчас же смолкнет. Не поется, видно, в душную ночь даже молодости.

Отблеск зарницы отражается иногда и на лужайке у берега Ворсклы, и на темной, совсем почти черной зелени развесистой вербы, и на белой сорочке сидящей под вербою неподвижной человеческой фигуры. Голова фигуры наклонена низко и неровно покачивается. Это голова мужчины. Что же он — плачет, кажется?

Отблеск зарницы падает по временам и на белые спины не загнанных беспечною хозяйкою и тут же пасущихся коров. Одна из них подходит к сидящему под вербою, нюхает его голову и усиленно дышит на него.

— Ну тебя, кума, не целуй меня,— бормочет сидящий и качает головой,— теперь пост.

Корова тут же продолжает щипать траву. Сидящий поднимает голову.

— Хоть я и пьяненький, а знаю, что теперь петровка, скромного ни-ни, кума,— бормочет он снова.

Корова опять дохнула на него.

— Да не лезь же, кума, какая ты!

Пьяный увидал, наконец, что перед ним не кума, а корова.

— А, аспидская скотина! Тпррруськи! Гей додому!

Он встает и, пошатываясь, старается ударить корову шапкой, но не попадает.

— Гей-гей, чертова!.. А где ж кума?

Шатаясь, он идет по лужайке, спотыкаясь нетвердыми ногами, и сам с собой рассуждает:

— Эге! Глупый... Коли жена бить станет — пойду в козаки, ей же богу!.. Чем я хуже Алешки Поповича либо Карпа? Вон они теперь на море... Кафу, говорят, зруйновали...

Он спотыкается и падает на копну сена.

— Чур тебя, чертова ведьма!.. Так под ноги копной и подкатилась... Ой!

С трудом отбиваясь от воображаемой ведьмы и сиюсь перелезть через копну, он только тыкался в нее носом, царапал себе лицо, бранился и снова лез на копну.

— Ой! Рятуйте, кто в бога верует... Задушит проклятая баба...

Он сделал еще усилие и перекувыркнулся через копну.

— Ох, убила, проклятая! Ой! — С трудом он поднялся на четвереньки и пополз «раком», отплевываясь и повторяя:

— Чур-чур меня.

Недалеко в ночной тиши прозвучал одинокий женский голос; ему ответил мужской — и оба смолкли.

— Это, должно быть, улица идет... Поют...

Блеснула зарница, другая. Где-то защелкал соловей.

— Соловейко щебечет... Вот дурень — не спит... Да, может, он немножко пьяненький...

Опять кто-то запел. И соловей защелкал усерднее..

— Пойду на улицу до дивчат... А к куме не пойду — пост...

Он пошел на голос, но опять о что-то споткнулся, выругался и полетел на землю... Захрюкала сердито свинья, завизжали поросята,— оказалось, что он споткнулся о спавшую с поросятами свинью.

— Ой батечки! — заорал он.— Еще ведьма... Свиньей перекинулась... Чур-чур меня!.. Вот проклятая сторона! Ведьма на ведьме...

Наш герой пустился бежать и только тогда опомнился, когда наткнулся на какого-то человека.

— Тю! Вот оглашенный! — осадил его чей-то голос.— Или ты взбесился? Что бежишь на людей?

— Да я... это я тово... от ведьмы...

— От какой ведьмы?

— Да тут ведьма на ведьме...

Послышался хохот мужских и женских голосов: герой как раз попал на улицу.

— Да это Харько, хлопцы.

— Это Макитра пьяненький.

— Откуда вы, дядьку?

— Да от проклятых ведьм!

Тут только наш герой стал приходить в себя. Он видел себя в безопасности от «в.дьом», и к нему не только вер-

нулась обычная храбрость, но даже в некотором роде геройство.

— У, да и ведьмы ж у нас тут, хлопцы! Вот прорва! — начал он хвастаться. — Как напали на меня, так насилу отбился — сущая татарва!

— Да где ты их видел, дядьку?

— Гу! Где видел! Там их видимо-невидимо... И уж я бился-бился с ними, аж кости болят!

Все слушали пьяного героя с величайшим интересом, потому что все верили рассказам о ведьмах и их превращениях.

В это время за Ворсклою в далекой степи что-то вспыхнуло на горизонте. Это уж не была зарница, — видно было, как что-то огненною змейкою взвивалось к небу. Потом такой же огонек, только уже яснее, показался ближе и, словно живой, перебирался все выше и выше... Все с испугом повернули головы в ту сторону...

— Ох, лишечко! Да это татары!

— Мати божия! Татары идут.

— Татары, татары... Это «варта» знак дает...

— Господи! Покрова! Что ж с нами будет!

— Бежим, дивчатоньки, домой!

— Надо в звоны звонить — людей будить!

С криками и отчаянными воплями «улица» рассыпалась...

Через несколько минут набатный звон стонал над всею Переволочною и глухо разносился по Днепру, за Днепром и по сонной степи...

Огни, вспыхнувшие в разных местах степи за Ворсклою и за Днепром, действительно означали, что на Украину шли татары.

Соседство таких хищников, как крымцы и ногаи, которые почти каждое лето делали набеги на Украину, заставило украинцев изобрести очень своеобразный способ ограждения своих границ от беспокойных соседей. По всем границам Украины и так называемых Запорожских Вольностей, по границам, которые тянулись на сотни и тысячи верст, и по разным возвышенным местам своих степей, большею частью на могилах, на курганах, они ставили известного рода фигуры, нечто вроде сухопутных маяков, около которых всегда находилась казацкая варта — сторожа, заведывавшая этими оригинальными телеграфами или, вернее, «пироскопами». Едва только какая-либо варта или просто какой-либо казак, бродивший в степи или ловивший

где-либо в низовьях Днепра и других рек рыбу или зверя, — едва кто-либо узнавал каким-нибудь случаем, что татары вышли из Крыма, чтобы тайно нагрянуть на Украину, как тотчас же спешил к ближайшей варте и сообщал, что татары идут. Варта немедленно приводила в действие свой «пироскоп», который состоял из высокой фигуры или деревянной указки, торчавшей к небу и обвитой соломой или сухой травой, — солому зажигали, пламя и дым взвивались над вартою и тем давали знать ближайшей варте, что идут татары. Вспыхивала вторая фигура, за ней третья, четвертая, десятая — и таким образом в несколько часов всю Украину облетала весть о нашествии хищников.

Когда за Ворсклой и за Днепром вспыхнули огни в описываемую нами ночь, вся Украина проснулась и встала как один человек.

Татары выбрали на этот раз удобную минуту для нападения. Когда Кафа была взята казаками и предана огню, весть об этом быстро облетела весь Крым. Казаки в море — значит, Украина открыта для набега, ее некому защищать. Надо отомстить Украине за Кафу — и татары ринулись на север несколькими «загонами».

Переволочане под тревожный гул набатного звона торопливо собирались на площади, на которой стояла церковь, — то было место для общественных, «громадских», сходок. Скоро площадь вся была запружена народом, а набат все не умолкал, что делалось с тою целью, чтобы оповестить об опасности и тех земляков, которые в это время находились не дома, не в Переволочне, а где-нибудь в степи, на поле, на охоте или на рыбных ловлях. Во мраке ночи и набатный звон, и народный гул, и общий тревожный говор, и детский плач, завыванье недоумевающих собак, рев испуганной скотины — все это казалось еще страшнее, чем могло бы быть при свете солнца. Где-то голосила и причитала молодница о том, что муж ее поехал «у далеку дорогу» и теперь его поймут татары.

— Панове громадо! — повысил голос один старик, опираясь на палку. — Слышите, татары идут.

— Да, идут проклятые! Видим, что идут, — отозвались некоторые из громады.

— Что ж мы будем делать, панове? — продолжал старик. — Казаки теперь в море, войска нет у нас, некому нас оборонить.

— А мы на что? — возвышали голос некоторые из парубков. — Мы им дадим чосу!



— У нас есть и кони, и сабли, и мушкеты.

— Так-то так, детки,— отвечал старик,— да мало вас, а их целая орда.

— Нет, нам с татарами биться невмочь,— подавали свой голос другие громадяне.

— Нам надо прятаться, и добро прятать, и самим бежать.

— А куда убежишь? А господарство? А скотинка?

— А наши хаты, а наш хлеб? Они все попалят.

— Что ж нам делать? Придется, верно, помирать.

Поднялся невообразимый говор. Один говорил одно, другой другое. Женские голоса и плач становились все громче и отчаяннее, безутешнее. Дети, глядя на матерей, плакали еще сильнее.

— Да, может, они не на нас идут, а на тот бок,— отзывались некоторые утешители.

Но это утешение казалось слишком слабым.

— И на тот бок пойдут, и на нас придут,— возражали другие.

— Они идут, может, на три дороги, а может, и на четыре.

Тогда в средину протиснулся Харько Макитра. Хотя хмель его еще не совсем покинул, однако, он смотрел трезво и смело.

— А постойте, панове громадо, что я скажу,— возвысил он голос, откашлявшись.

— Говори, пане Харьку, послушаем.

— Вот что, панове,— начал Харько, крикнув словно из пустого бочонка,— нам биться с татарами не рука — мало нас.

— Да мало ж, мало...

— Харько дело говорит...

— А все ж таки, панове, нам прятаться не след,— продолжал оратор.

— Не след, не след, это правда! — подтверждали громадяне.

Харько еще крикнул, посмотрел кругом и опустил голову, как бы что-то очень хитрое и очень сложное соображал своею мудрою головой.

— Так вот что, панове,— продолжал он,— мы им, поганцам, в очи плюнем.

Он остановился, видимо рассчитывая на пуший эффект своей речи.

— А знаете, панове, чем плюнем? — спросил он неожиданно.

— А чем же? Не знаем.— отозвались громадяне.  
— Пожаром! — отрезал Харько.— Огнем плюнем в поганые очи!  
— Как пожаром? Каким огнем?  
— Степным... Мы теперь запалим за Ворсклю степь со всех концов, так огонь и пойдет навстречу татарам. Мы такого полымя напустим, что аж небо потрескается, как горшок.  
— Так-так! Вот так Харько! Вот так мудрая голова! — раздались оживленные голоса.

Старик, до этого времени молчавший и грустно опиравшийся на палку, теперь поднял голову. Старые глаза его заискрились.

— Спасибо, сынку, что напомнил мне про молодые лета мои,— сказал он, вскидывая на Харька радостными глазами,— а я было, старая собака, и забыл про это... Мы и сами когда-то так отбивали татар от Украины; запалим, бывало, степь, да так и выкурим всю татарву.

Площадь оживилась. Решено было утром же привести в исполнение план Харька Макитры, который стал всеобщим героем.

Едва лишь начало светать, как уже вся Переволочна от мала до велика высыпала за Ворсклу. И старые и молодые, женщины и дети, здоровые и даже недужные — все это тащило по охалке соломы, сена, пакли, труту и всякого горючего материала. В голове шествия гордо выступал Харько с подбитым глазом — это его уже успела угостить рогачом свирепая женушка за ночные похождения.

Отойдя на значительное расстояние от Ворсклы, переволочане растянулись ниткою поперек степи на несколько верст, чтоб на всем этом протяжении разом, по сигналу с переволочанской колокольни, зажечь степь.

Принесенные охалки сена и соломы были положены на траву по всей линии. Началось вырубание огня. То там, то здесь чикнет огниво об камень — чиканье пошло по всей степи. Задымилась кусты трута в сотнях рук. С переволочанской колокольни донесся один удар колокола, потом другой, третий.

— Скидайте шапки, панове! Молитесь богу! — скомандовал Харько.

Все сняли шапки и перекрестились. Крестились и бабы, и дети.

— Зажигай разом! Вот так! Господи, благослови!

Лежавшая перед Харьком охалка сухого сена вспыхнула,

разгорелась в пламя. Вспыхнула вся линия. Ветерок погнал пламя на полдень. Закорчилась высокая, высохшая от жаров, степная трава, ковыль, тырса — вспыхнула и она... Пламя, как живое, поползло все дальше и дальше, и через несколько минут вся степь представляла огненное море, которое колыhalось ветром и неудержимо катило свои огненные волны к югу.

Татары шли на Украину тремя загонами. Выйдя из Крыма целою ордою под предводительством брата крымского хана, Калги-салтана, татары в Черной Долине разделились на три партии; две из них, переправившись через Днепр у Кызыкермена, двинулись Черным шляхом на Правобережную Украину, а одна — мимо Молочных Вод, через Конскую, Волчью, через Самару и Орел — на Левобережную.

Перейдя Самару, первый загон расположился на отдых — на хороший покорм для коней и верблюдов, чтоб потом с свежими силами саранчою налететь на беззащитный край.

Беспорядочное, но страшное зрелище представляла раскинувшаяся по степи многотысячная орда. На несколько верст разбрелись табуны коней и верблюдов, щипля роскошную, никем не тронутую и не помятую зеленую траву, которая по течению Самары, вследствие близости воды, была особенно роскошна. Гул и гам над степью стоял адский: рев верблюдов, ржание лошадей, лай собак, крики и перебранка чередовых пастухов, говор нескольких тысяч народа, пение, дикое завывание рогов, дикая музыка разгулявшихся правоверных — все это стоном стонало в воздухе и оглашало степь на много верст в окружности.

Вечерело. Разводились костры, дым от которых северным ветерком гнало на Самару. Белелись и пестрели шатры, раскинутые там, где имели свои ставки разные начальные люди и зажиточные.

Вдруг со стороны степи послышались необычайные крики, ржание лошадей и рев верблюдов. В этом новом шуме и крике слышалось что-то тревожное: ясно, что там произошло какое-то неожиданное смятение. Но отчего? Как? Не казаки же нападают — казаки далеко, в море.

Смятение и крики усиливались. Испуганные чем-то лошади и верблюды неслись прямо на костры, на народ, на шатры. Что бы это было? Каждый вскакивал с места и не

знал, что ему делать, за что ухватиться, куда и зачем бежать. Взбесившиеся лошади топтали и гасили своими ногами костры, ржали и бились, опрокидывали шатры, людей, бросались в Самару. За ними бежали пастухи, отчаянно крича что-то непонятное.

Но тут случилось нечто еще более непонятное и более страшное. За лошадьми и верблюдами неслись целые стада сайгаков, ревущие туры, точно бешеные или кем-либо гонимые дикие кабаны, лисицы, волки, зайцы. Это было что-то непостижимое, наводящее ужас. Все это несло на татарский стан, все опрокидывало в своем неудержимом стремлении, бросалось в Самару, ревело, стонало. Казалось, вся степь всколыхнулась, или небо обрушилось на землю, или ад раскрыл свои страшные врата и выслал на землю все свои разрушительные силы.

Да — это ад. Вон и пламя, — кровавое зарево охватило половину горизонта, всю северную окраину неба. Теперь только поняли обезумевшие от неожиданности и страха татары, что это такое. Это горела степь. Огненное, безбрежное море шло прямо на них.

— Алла! Алла! Алла!.. Аллах-керим! Аллах-керим!

Надо было спасаться, уходить от воли этого огненного моря.

## XVIII

В одной из боковых пристроек обширного замка князей Острожских, в небольшой, обитой голубой материей комнате, белокуренькая, с пепельными волосами, панна Людвиг, стоя перед большим зеркалом, совершает свой туалет. В голубых с длинными ресницами глазах панны светится что-то похожее на затаенную радость. Ей прислуживает красивая, невысокого роста, смуглая, как цыганочка, с серыми задумчивыми глазами, покоювка<sup>1</sup> в белой, расшитой заполочью, сорочке, голубой юбочке и красных с подковками черевичках.

— Что ты, Катруню, такая невеселая? — спрашивает польски панна, вплетая в косу нитки крупного жемчуга и глядя на отражение в зеркале своего оживленного лица и задумчивого лица покоювки.

Горничная (пол.).

— Я ничего, панна,— ласково, тихо, с затаенным вздохом отвечает девушка также по-польски.

— Как ничего! С самой весны тебя узнать нельзя.

Девушка молчала, опустив глаза на поднос, на котором лежали нити жемчуга, булавки и другие мелочи туалета панны.

— Тебя теперь и не слышно,— продолжала панна,— а прежде ты, бывало, постоянно распевала ваши хорошенькие хлопские песни.

— Не поется что-то,— по-прежнему тихо отвечала покоювка.

— Вот еще!.. Хоть ваши хлопы и грязны, и воняют, а песни их очень миленькие.

— Панна называет хлопов вонючими, они не все такие,— немножко вспыхнув, возразила девушка.

— Ну, уж!.. А грязны они всегда.

— Как же им не быть грязными, панна? Они всегда работают...

— Работают! Вздор какой! Вон и я работаю, и ты работаешь, а мы же всегда чистенькие.

— У панны такая работа: то шелк, то бисер, то канва; а у меня часто руки бывают грязны.

Панна отошла от зеркала, повернулась, глянула в зеркало через плечо и улыбнулась сама себе.

— А хорошо играет жемчуг в волосах, Катруню? — спросила она.

— Ах, как хорошо, панна! — отвечала покоювка.

Панна перекинула косу через плечо и стала ее рассматривать.

— А что, панна, о казаках слышно? — немного покраснев, нерешительно спросила покоювка.

— О каких казаках?

— Да вот, что ушли в море из Запорожья.

— А, эти разбойники!

— Они, панна ласкава, не разбойники. Они за веру стоят, бедных невольников из турецкой неволи выручают.

— То-то! А за них мы, паньство, должны разделяться с турками и татарами. Вон и теперь, говорит дядя, татары напали на Украину, и гетман Жолкевский собирает все наше рыцарство, чтоб защищать матку Польшу.

Потом, повернувшись к покоювке и глядя ей в смущенные глаза, панна лукаво прищурилась.

— А, плутовка! Так я угадала... Ты о каком-нибудь казаке тоскуешь? А?

Покоювка вся вспыхнула и молчала.

— А! О каком-нибудь усатом и чубатом великане? А! Хитрячка!

Покоювка силилась непринужденно улыбнуться.

— Говорят, они Кафу взяли, панна ласкава.

— Ого!

— И Козлов... и еще какой-то город...

— Так и твой там? — лукаво улыбнулась панна.

Покоювка не отвечала. Панна, наконец, справилась с своей косой.

— А он такой же грязный, как и все хлопы?

Покоювка опять не отвечала. Она старалась переменить разговор.

— А какое сегодня к обеду платье панна наденет? — спросила она.

— Палевое с кружевами,— был ответ.

При этом ответе покоювка в свою очередь улыбнулась.

— В палевом панна так понравилась пану господаричу,— лукаво сказала она.

Пришлось самой панне вспыхнуть.

— Какому господаричу?

— Да вон тому красивому черноволосому паничу — пану Могиле.

— А! А ты почему это знаешь?

— Я сама слышала, как он говорил пану Замойскому, что панна в палевом — настоящая мадонна.

— Ну, уж!

— Вот ей же богу! Так и сказал — мадонна.

— Да ты не знаешь, что такое мадонна.

— Нет, панна ласкава, знаю,— вон в кабинете у ясно-вельможного князя...

— Так я похожа на нее?

— Нет... панна красивее...

— Ну уж!

Вечером того же дня замок князей Острожских горел огнями. На террасе, закрытой зеленью, играла музыка, причем особенно давали себя знать духовые инструменты, словно бы в замке шла охота по крупному зверю, а блестящее, раззолоченное панство под звуки краковяка и мазурки травило прелестных лисичек в образе очаровательных полек, литвинок и нобилитованных украинок. Князь Януш давал роскошный бал герою «вавилонского пленения» московских царей, славному гетману Станиславу Жолкевскому, и потому в Острог съехалось самое блестящее панство со всей Польши,

Литвы и Украины. В то время, когда одна часть гостей занята была танцами, другая, уже оттанцовавшая, прохлаждалась и отдыхала на чистом воздухе, в роскошных аллеях замкового парка, казавшегося волшебным от разноцветных огней, обливавших фантастическим светом открытые аллеи парка и погружавших в полный мрак его уединенные, уютные уголки.

Среди воя и визга музыки в парке слышался громкий и сдержанный говор, смех, иногда таинственный шепот прекрасных парочек, мелькавших по аллеям парка или укрывавшихся от несносного света в тени каштанов, лип и высоких тополей. И темное небо при этом освещении, и зелень с ее яркими бликами, полутенями и полным мраком, и сверкающие всеми цветами радуги и таинственно журчащие фонтаны, и веселые, подмывающие звуки музыки, и самое это освещение, и замок с его стенами — все это казалось волшебным, чарующим.

Такое впечатление, по-видимому, производил этот волшебный вечер на одну парочку, уединившуюся в дальней аллее и сидевшую на скамье под ветвями роскошного каштана. Они молчали, и, казалось, прислушивались не то к веселой музыке, не то к своим, может быть, не совсем веселым, но для них чарующим мыслям.

— Я думаю, как пан веселился в Париже, — прервал это молчание тихий, как бы робкий голос панны Людвиги.

— Панна напрасно так думает, — также тихо и задумчиво отвечал мужской голос.

— Почему же так?

— Панне известно, что я в Париже учился, и...

Фраза не была договорена, и мужской голос смолк: его заглушили стройные, сильные, подмывающие звуки мазура.

— И? — подсказала панна. — Пан не досказал.

— И... тосковал по моей несчастной родине, — со вздохом отвечал мужской голос.

— По какой? По Польше?

— Нет... Панна знает, что Польша не несчастна.

— Так по Влощизне?

— Да... Она мне дорога, как родина.

— И как наследие отцов... Ведь пану должна принадлежать валашская корона?

— Должна... Но панна знает, что она не принадлежит мне: корона господарей валашских упала с головы Могилы...

— Так пан ее поднимет и наденет на свою голову.

— Да... надену — или корону, или... клобук монаха.

Мужской голос выговорил это с дрожью и смолк.

— Почему же клобук монаха? — с такою же дрожью прошептал женский голос.

^— Потому что у меня ничего не остается в жизни.

— А самая жизнь? В ней так много прекрасного.

— Да, когда это прекрасное принадлежит нам... Но когда оно не наше — так бог с ней, и с жизнью!

Слова эти были сказаны с едкою горечью: в них слышались слезы.

— Я не понимаю пана, — еще тише проговорил женский голос.

— И панна желает понять?

— Желаю.

— И простит мне то, что я невольно должен высказать?

— Что же это? Что пан выскажет? — еще более дрогнул женский шепот.

— Панна! — с пламенным порывом и с прежнею горечью зазвучал мужской голос. — Все, что есть прекрасного для меня в этой жизни, все мое счастье, все мои надежды — все это олицетворили для меня вы, одна вы, божественная панна!

— Ах! — не то с испугом, не то с радостным трепетом вскрикнула панна Людвиг и встала.

Встал порывисто и молодой Могила — это был знаменитый впоследствии киевский митрополит Петр Могила.

— Панна, простите меня! — с тем же порывом проговорил он. — Простите мое безумие... Я не хотел оскорбить вас... Если я выговорил вам мое дерзкое признание, то это — мой вопль, моя молитва... а молитва и бога не оскорбляет...

Панна Людвиг молчала. Белая роза, которую она держала в руке, дрожала.

— Простите! — еще с большей силой выговорил Могила.

Панна продолжала молчать. Могила взял ее за руку.

— Скажите хоть одно слово, слово прощения, — умолял он.

— Я... пан не обидел меня... я... я не знаю... у пана... — бессвязно бормотала девушка.

— Так панна прощает меня?... Да?

— Да... да... пан так добр...

Могила припал к рукам девушки и горячо целовал их... Людвиг почувствовала, как его слезы закапали ей на ладони, которые он целовал... Она чувствовала, что он рыдает...



— Что с паном? Езус, Мария! Что с вами?

— О! Я хочу смерти... смерти! Вот тут же, сейчас!

Он обнял девушку и в страстном порыве припал лицом к ее плечу. Людвиг растерялась задрожала вся и, обхватив руками его голову, стала целовать ее...

— Мой пан! Мой добрый!.. Что с вами!

— Я не хочу жить... я не могу так жить... убейте меня сейчас, вот тут, в ваших объятиях!

— Пан мой... добрый... милый... я не хочу вас убивать...

— Но вы не знаете всего! — со стоном вскрикнул он.

— Чего же, мой пан милый?

Он, казалось, несколько опомнился, взял ее опять за руки и, глядя заплаканными глазами в ее светлые глаза, которые тоже искрились слезами, тихо подвел к скамейке...

А там, в конце аллеи, эта несносная музыка словно бы на зло гудела и трещала, как бы издеваясь над человеческим горем.

— Выслушайте меня, дорогая панна,— опять тихо заговорил Могила.— Я не должен говорить вам это, не должен бы смущать покой вашей невинной души, ваших чистых помыслов... Но, видит бог, я не могу, не могу, да и не смею унести с собой в могилу мою тайну, которая в то же время и ваша.

— В могилу, пан? — испуганно спросила девушка.

— В могилу, дорогая панна... Я... я умираю для вас, и, может быть, скоро татарское копьё пронзит сердце, которое билось только для вас... Я люблю вас!

Девушка ничего не отвечала, только краска залила ее лицо, по которому текли слезы...

— Я люблю вас больше моей жизни,— продолжал Могила со слезами в голосе,— люблю больше вечного спасения... но... но вы не можете быть моею...

Девушка испуганно подняла глаза: румянец щек сменился бледностью.

— Я говорил сегодня с вашим опекуном и дядей, с князем Янушем: я просил у него вашей руки, просил позволения поговорить с вами, нтобы узнать ваши чувства ко мне и от вас самих узнать свою судьбу... Но князь Януш разбил все мои мечты, разбил мое сердце... Он отказал мне!

Теперь румянец снова залил щеки панны и прекрасные глаза ее брызнули светом.

— Дядя? Князь Януш?... А кто дал право князю Янушу располагать моим сердцем и моею судьбою, как судьбою

своих хлопков? — гордо проговорила молодая девушка. — Я вольная полька!

Могила припал губами к рукам панны.

— Панна! Счастье мое! — шептал он страстно. — Но князь Януш говорит, что не он этого не позволит, а сам святой отец, папа.

— А какое дело, пан, святому отцу до моего счастья? — все так же гордо спросила гордая полька.

— Я для вас схизматик, дорогая панна... Я — православный.

— А разве пан не может принять католичество?

— Не могу, дорогая панна.

— Даже ради меня, пан? — дрогнул у девушки голос.

— Даже ради панны...

Девушка гордо выпрямилась. Румянец не то негодования, не то стыда опять покрыл ее щеки.

— Так пан говорит неправду, — резко сказала она.

— Какую неправду, дорогая панна?

— Пан сейчас сказал, что любит меня больше вечного спасения...

— Да... да... я сказал это — и повторяю...

— И не хочет переменить свою хлопскую, схизматицкую веру на истинную, шляхетскую?

— О панна! Вы терзаете мое сердце.

— Не я терзаю, а так пану угодно.

— Нет, нет! О боже мой!

Могила хотел снова схватить руки девушки, но она отстранилась.

— Я ради панны, ради тебя, божество мое, не могу этого сделать! — порывисто вскрикнул Могила.

— Как ради меня? Я не понимаю пана.

— Да, да! Только ради вас!

— Пан в Париже разучился говорить, — пожал плечами панна.

— О панна! Поймите меня: если я перемену веру моих отцов, я потеряю право на корону моей страны и панна потеряет это право!

— Корону? О, все короны мира не стоят моего личного счастья!

И гордая панна быстро, не оборачиваясь, обмахивая разгоревшееся лицо веером, пошла прямо к замку, откуда неслись задорные, подмывающие звуки мазура. Могила стоял бледный, провожая глазами удалявшуюся красавицу.

Когда она вошла в ярко освещенную залу, старый гетман,

«великий» Жолкевский, увидав панну еще издали, как подобает истому поляку, «закрончив вонса» и звеня острогами, пошел прямо к ней навстречу.

— Могу просить очаровательную панну на мазура? — шаркая ногами и церемоннейше раскланиваясь, несколько прошамкал беззубый герой.

— Благодарю за честь пана гетмана, — отвечала панна, приседая.

Старый гетман, согнув руку, не особенно свободно двигаясь по паркету подагрическими ногами, стал выделять этими ногами всевозможные глупости, называемые фигурами. Зато хорошенькая и грациозная панна выделяла эти глупости очаровательно, и у нее они даже не выходили глупостями, а чем-то очень милым.

— Панна танцует как ангел, — любезничал старый гетман, путая фигуры.

— А пан гетман был на балу у пана бога? — усмехнулась Людвися.

— О! Да прекрасная панна так же остроумна, как и очаровательна, — изловчался старый победитель Наливайка, еще более путая фигуры.

— А пан гетман столь же непобедим на поле чести, сколько слаб на паркете, — снова отшутилась красавица, сверкнув на старика своими прекрасными глазами.

— А это оттого, прелестная панна, — забормотал совсем очарованный старик, — что на поле чести я не вижу таких божественных глазок, а то я и там был бы так же слаб, как на паркете.

— Я слышала, что пан гетман опять ведет свои победоносные войска на врагов нашей дорогой отчизны, — заговорила панна серьезно.

— Да, прекрасная панна, я должен идти поневоле.

— Почему же поневоле?..

— Я бы желал отчизне покоя...

— Кто ж его нарушает?

— Да все эти лотры оборванные — казаки.

— А может, пан, они и делают это потому, что они — оборванные?

— Нет, прекрасная панна, они по натуре хищники.

— А что о них слышно теперь?

— Да слухи нехорошие: они нас совсем рассорят с султаном.

— А как пан думает — они благополучно вернутся из похода?

— А почему это так интересует прекрасную панну?

— Не меня, пан гетман,— улыбнулась Людвися,— а мою покоювку.

— Не знаю... Крымцы вон уже нагрянули на Украину... Я боюсь, что они нагрянут и на земли Короны Польской.

В это время к танцующим торопливо приблизился молодой красивый пан и почтительно вытянулся.

— Что скажет пан поручик? — нехотя спросил Жолкевский.

— Тревожные вести, ясновельможный пане гетмане,— тихо отвечал молодой поручик.

— Тревожным вестям нет места здесь, на паркете,— отрезал старый гетман.

— Гонец прискакал...

— Пусть ждет конца мазура,— осадил его гетман и продолжал танцевать, пыхтя и задыхаясь.

А в стороне, у колонны, стоял Могила, бледный и хмурый. Он никак не мог отвязаться от мысли, которая, как червь, точила его мозг: «Почему я должен переменить веру, а не она? Почему моя вера хлопская?..»

## X I X

Могила был по рождению молдаванин. Что-то римское, классическое было и в его наружности, и в характере. Хотя он был еще очень молод — около двадцати лет отроду,— однако в нем уже обнаруживались задатки будущего великого человека.

Прошедшее его рода покрыто было славой и знатностью. Дядя его, Иеремия, был господарем молдавским, а когда маленькому Петронелло, так звали будущего митрополита Петра Могилу,— было не более шести лет, отец его, Симон, вступил на престол валахский.

Все улыбалось в будущем маленькому, черноглазому, смуглому и задумчивому Петронелло. Семья его вступала в родство с знатнейшими польскими магнатами — с князьями Вишневецкими, Борецкими и Потоцкими, потому что черноглазые и большеносые сестрички его, по типу истые римлянки, очаровали собой этих вельможных панов и осчастливили собою их дома.

Когда серьезно не по летам Петронелло исполнилось четырнадцать-пятнадцать лет, он уже был наследником престола Молдавии и Валахии.

Надо было подумать о более широком образовании будущего господаря, и Петронелло отправили в Париж для изучения премудрости эллинской, римской и новейшей европейской. Молодой Могила оказал блистательные способности, и успехи его в науках превзошли всякие ожидания.

Но и среди парижского шума, среди блеска, среди золотой польской молодежи, тоже учившейся в Париже и набиравшей там европейского лоска, Могила оставался все тем же задумчивым, сосредоточенным в себе, тихим и скромным Петронелло. Когда его сверстники и почти земляки, польские юные магнаты, прожигали молодые силы в обществе ловких парижанок, нелюдим Могила в свободное от ученья время бродил по окрестностям Парижа, по полям и лесам, любуясь роскошью полей, зеленью рощ и прислушиваясь к разнообразному, чарующему голосу природы.

В этом немом созерцании поэтической жизни природы мысль его уносилась к далекой родине, к другим, более диким и девственным и потому-то дорогим ему картинам природы и жизни, блуждала по мрачным и величественным горам и по необозримым степям родины, по берегам величественного, синего Дуная и извилистого Прута. Он мечтал сделать эту милую родину счастливою и могущественною. «В союзе с Польшей и Украиной она станет,— думал молодой мечтатель,— охраной и оплотом христианского мира от всепоглощающих волн мусульманского моря», которое все более и более надвигалось на Европу.

Но молодым мечтам его не суждено было осуществиться: ему не пришлось видеть не только короны своей родной земли на мечтательной черноволосой голове, но и самой родной земли... Могилы потеряли престол Молдаво-Валахии, и юного изгнанника из отчизны, мечтательного господаря, приютила гостеприимная Польша.

Ученый мечтатель поступил в ряды польских воинов, под начальство славного гетмана Жолкевского.

Но ни военная слава, ни польская жизнь не удовлетворяли требования молодого мечтателя. «Не война призвание человека,— думал он,— не мечом приобретается человеческое счастье».

Не возбуждала в нем симпатии и другая сторона польской жизни — аристократизм. В иезуитах и ксендзах он видел не последователей Христа, а тех же неискренних панов, у которых военные доспехи только прикрывались рясой.

Он думал было остановиться на лютеранстве; но оно,

казалось ему, иссушило дух христианства; в нем не было поэзии. И он предпочел православие, в котором взлелеялось его золотое детство.

В этот период душевного разлада и борьбы с самим собой он встретил существо, которое очаровало его своею невинной, целомудренной красотой. Это была панна Людвися, племянница князя Острожского. Молодой мечтатель видел в ней идеал чистоты и непорочности. И он полюбил эту чистоту всеми силами своего могучего духа. И девушка полюбила этого задумчивого изгнанника, в глубоких, кротких глазах которого ей виделось что-то такое, чего не видела она ни у кого из тех, кого знала на свете.

Но когда они признались друг другу в любви, то увидели, что их разделяет пропасть. Могила только теперь понял, какая пропасть отделяет Польшу от его родины, которую он потерял, и от Украины, которая стала его второю родиною. Девушка, которую он любил всеми силами души и которая его любила, — эта девушка вдруг говорит ему, что его вера хлопская...

— Хлопская... Нет, она не должна быть хлопскою!.. Она должна быть такою же высокою и могучею, как та, которую гордится эта гордая красавица...

И Могила стал чаще и чаще задумываться над хлопскою верою. Он стал изучать ее, поставив это изучение целью всей своей жизни. Он стал изучать и ее — панскую — веру и все думал, думал, думал над истинами той и другой.

И в конце концов он надумал то великое, выполнить которое была способна только его великая душа. И он выполнил его: он дал презираемым панам хлопам науку, и хлопы до основания потрясли то здание, под сению которого процветала панская вера и панская неправда.

Но после панны Людвиси он уже никого не любил; свое горячее сердце он спрятал под монашескою рясою, и никто не слышал, как и чем оно там билось, страдало и радовалось.

На другой день после бала Могила уехал в Киев, а из Киева — в лубенское имение князя Михаила Вишневецкого, который был женат на двоюродной сестре Могила — на Раиде.

Но ни князя Михаила, ни княгини Раиды тогда уже не было. в. живых. Всеми несметными богатствами и бесчисленными имениями князей Корибутов-Вишневецких на Волыни, в Подолии, в Галичине, Литве и Левобережной Украине владел молодой их сын, князь Иеремия Вишневский. Он недавно женился на хорошенькой панне Гризельде из знат-

ного и богатого рода Замоиских и теперь, справляя медовые месяцы и возя свою молоденькую жену по своим бесчисленным имениям, временно отдыхал и забавлялся охотой в своих украинских майонках, именно — в роскошном своем замке под Лубнами.

С глубокою тоскою в душе ехал Могила к своему знатному родственнику, чтоб хоть в дальних, еще не виданных им краях Левобережья размыкать тоску, отогнать от себя милый образ, который стал теперь для него источником невыразимых страданий.

Какая скучная дорога! Как унылы эта зелень, этот лес, это небо и это облачко, тиходвигающееся по небу туда, туда, к Острогу... Вспоминает ли она о нем?... Нет, она танцует и смеется с старым Жолкевским, болтает с молодым Замоиским, слушает любезности князя Корецкого, а о нем — забыла...

А недавно еще целовала в голову и плакала — «мой пан» говорила... И будет это же говорить другому, а он все будет думать о ней, ее одну помнить, ее одну любить...

А в душе все звенит эта музыка, которая тогда играла, когда он плакал у нее на плече...

— Назад! — крикнул он своему вознице, который, натянув вожжи, сдерживал лихую взмыленную четверку коней, несших грузную коляску ровным лубенским полем.

Возница дрогнул и обернул свое усатое и загорелое лицо.

— Что пан велит? — недоумевающе спросил он.

— Ничего, это я спрононок, — досадливо отвечал Могила.

Вдали, на горе, из-за темного, освещенного заходящим солнцем леса выглянули вершины башен.

— То замок князя Вишневецкого?

— Замок и есть, пане, — был ответ.

Дорога пошла в гору, гладкая, укатанная, широкая, окаймленная высокими, стройными тополями, которые сторожили ее, словно часовые. Золотые лучи солнца играли на зелени тополей, от которых вдоль дороги ложились длинные, косые тени. Между тонкими стволами кое-где виднелись женщины и дети, возвращавшиеся из замка, и кланялись незнакомому чернявому пану, сидевшему в богатой коляске. Лошади, чуя близость стойла, весело фыркали и все усерднее забирали в гору.

Скоро показались темные крыши замка, мрачные стены, ряды колонн, поддерживающих балконы. Окна горели заходящими лучами солнца, как будто в замке зажжены были все свечи и канделябры. Мрачность замковых стен еще более увеличивали каменные устои, на которые как бы опи-

рались основания стен и которые, казалось, были изъедены и источены временем. Видно было, что немало веков прошло по этим стенам и их каменным устоям.

Внутренний фасад замка, обращенный к Суле, выходил в парк, раскинутый на берегу этой красивой реки. Из замка в парк выход был крытою галереею, словно повисшею над кручею, а из галереи вниз вели две каменные лестницы, уставленные тропическими растениями и прекрасными мраморными статуями. Отсюда открывался великолепный вид на Засулье и на широкие украинские степи, сливавшиеся с горизонтом.

Много хлопских и всяких других рук и голов поработало над парком. Огромные, нагроможденные друг на дружку камни изображали собою искусственные скалы, и под этими титаническими сооружениями чернелись искусственные гроты, повитые плющом и всякою зеленью. С других скал низвергались водопады, блестя на серых камнях и обдавая водяною пылью роскошные клумбы всевозможных цветов. В других местах били фонтаны... Вся вода, какая только была в окрестностях замка, была собрана в разные резервуары и подземными, а подчас и висячими трубами проведена в парк и превращена в шумные каскады и прелестные фонтаны.

Ниже замка, по направлению к Лубнам, тянулись вне-замковые постройки, длинные, в несколько рядов курени — казармы на три тысячи грошевого и кварцаного, а также дворцового войска, которое оберегало сон вельможного пана, а подчас служило его панским потехам — набегам на провинившихся соседей. Там же раскинулся целый квартал разных официн — построек для приезжей или постоянно прихлебающей мелкой шляхты и для всей оравы дворской челяди. В стороне от всего этого, окруженный лесом, стоял особый палац — собачий: это была княжеская псарня с особыми отделениями для всевозможных пород собак, из коих многие за выслугою лет получали пожизненные пенсии и аренды, а другие обучались в этом собачьем университете, слушая лекции опытных собачьих профессоров — доезжачих, псарей, «довудцев», дозорцев и многих собачьего ранга людей.

Когда коляска Могилы, гремя колесами по плотно утрамбованному полотну двора, подкатила к главному крыльцу и лакеи доложили о приезде высокого гостя, князь Иеремия, приветливый хозяин и знаток обычаев высшего панского круга, сам вышел на крыльцо среди целой шеренги челяди и парадных гайдуков. Это был молодой, сухощавый, высо-



кого роста человек, приветливая улыбка которого совершенно не гармонировала с серыми, точно оловянными глазами, по-видимому, никогда не светившимися ни радостью, ни жалостью. Острая рыжая борода окаймляла его острый, точно лисий подбородок, а над высоким белым лбом торчал рыжий клок, как бы говоря о непреклонном упрямстве головы, над которою он вырос. В выражении лица князя, несмотря на всю его изысканную вежливость, виднелась какая-то усталость, словно бы ему в жизни, и уже очень давно, все пригляделось, все надоело и не представляло ничего нового и интересного: ни люди, ни богатство, ни добро, ни подлость, ни природа — ничто не могло заставить забиться его сердце, блеснуть теплотою его оловянные глаза, умилиться, обрадоваться или опечалиться.

На князе был богатый алтебасовый кунтуш с серебряными пуговицами и бесчисленным множеством чудно переплетенных шнурков, подпоясанный широким гранатового цвета поясом. На ногах желтые буты с серебряными подковами и такими же острогами — шпорами. На боку позвякивала карабеля, усыпанная по золотой и серебряной оправе драгоценными камнями.

— Бесконечно рад дорогому гостю... цену великую честь, — рассыпался ловкий хозяин.

— Благодарю княжескую милость... много чести, — то-ропливо отвечал смущенный Могила.

— Пан из Острога?

— Из Острога, князь.

Они вступили в обширную приемную, пол которой устлан б-ыл свежескошенной травой и полевыми цветами, а по стенам, и особенно в углах, на пунцовых горках, блестели груды серебра и золота в старинной посуде, рогах и кубках.

— Что нового в Остроге слышал пан?

— Пан гетман собирается в поход.

— Да, пора... Поганцы уже жгут Украину, а казачество все выбралось в море, разбойничает...

По знаку явившегося маршалка лакеи принесли серебряное блюдо с умывальником, и гость совершил обряд омовения рук, который строго соблюдался в польском обществе.

— Прошу пана к княгине — она с гостями на галерее...

— Очень рад видеть прекрасную княгиню.

— И она вам будет несказанно рада.

Хозяин повел гостя через внутренние покои замка, и

они вскоре вышли на галерею, с которой открывался прелестный вид на раскинутый внизу парк, на Засулье и на степи.

При виде молодого Могила княгиня Гризельда и другие гости шумно приветствовали его. Тут были и князья Четвертинские, и Сангушки, и Кисели, и другая левобережная и правобережная польская знать.

Княгиня Гризельда была еще совсем маленькое существо с круглыми, розовыми щеками, с ямочкой на пухлом подбородке, маленьким носиком и игривыми черными глазами под тонкими дугообразными и такими же черными бровями.

— Что Людвися? Все такая же хорошенькая? — спросила молодая хозяйка после первых приветствий.

Могила невольно опустил глаза; щеки его вспыхнули.

— Да, княгиня, — пробормотал он.

— А пан не забыл охоту по первой пороше? — продолжала хозяйка.

— О какой охоте княгиня изволит говорить? — спросил Могила.

— А нынешней зимой в Остроге по первой пороше...

— Не помню, княгиня.

— О, коварный! И лисичку забыли?

— Какую лисичку, княгиня?

— О, какой же пан! Забыл лисичку!.. Припомните, как лисичка выскочила из кустов, а вы за лисичкой, а за вами на вороном коне панна Людвися... И, кажется, там, за лесом, где-то пан поймал лисичку с пепельными волосами — вы и панна Людвися воротились такие красные...

Могила и теперь сидел весь пунцовый.

— Ах, если бы скорей зима, скорей пороша — как хорошо было бы поохотиться по первому снегу! — продолжала болтать княгиня.

— Так ты желала бы снега? — вдруг спросил ее князь Иеремия.

— Ах, как желала бы!.. Снег, белые деревья — как это очаровательно.

— Летом княгиня желает снега, а зимой пожелает зелени — это в порядке вещей, — улыбаясь, заметил пан Кисель.

— Конечно, всегда хочется того, чего нет, — отвечала избалованная княгиня.

— Так княгиня желает себе старости? — улыбнулся Кисель.

— Нет, только снега... .

— Так снег завтра будет, — громко сказал хозяин. — Панове, завтра прошу вас разделить со мною охоту по первой пороше.

— Охотно, охотно! — загремели гости.

Князь Иеремия многозначительно взглянул на жену, на гостей и, улыбаясь, сказал:

— Прошу извинить, панове, я отлучусь на минуту, чтобы сделать распоряжение на завтрашний день.

И он, поклонившись гостям, торжественно вышел, покручивая правый ус.

## Х Х

Когда на другой день утром, совершив, при помощи полдюжины покоювок, свой роскошный туалет, княгиня, вся сияющая молодостью и красотой, вышла на галерею, она поражена была необыкновенным зрелищем.

Из-за роскошной зелени плюща, дикого винограда и других ползучих растений, которые непроницаемою сетью защищали галерею от лучей солнца, она вдруг увидела за Сулою... — не сон ли это? не грезит ли она после вчерашнего разговора?... — она увидела снег! Целую снежную равнину, сверкавшую на солнце первым, чистым, ярким и блестящим зимним покровом... И кусты на поляне, и высокая трава, и деревья в роще — все сверкало первым девственным снегом; от всей засульской равнины, казалось, веяло чудным, волшебным холодом, настоящею зимою, тогда как здесь кругом цвело самое роскошное украинское лето...

— Езус, Мария!.. Что это? В самом деле снег! — вскричала княгиня.

Выходили на галерею вчерашние гости и, вместо приветствия хозяйке, вместо пожелания ей доброго дня, останавливались в немом изумлении и как бы в испуге. Одни только лакеи, стоявшие навывтяжку у дверей и вдоль стены, скромно, почтительно улыбались.

— Да это сон! — воскликнул долгоногий князь Четвертинский, протирая глаза.

— Это волшебство, панове! Чары! Княгиня волшебница, фея! — изумлялся не то притворно, не то искренне кругленький пан Кисель.

— Мы живем в век чудес!

— А как солнце сверкает в снежинках!

— Да это из «Тысячи и одной ночи»!

Действительно, предшествовавшая этому дню ночь была поистине выхвачена из «Тысячи и одной ночи». В начале вечера, накануне, князь Иеремия, оставив своих гостей, пришел в свою главную вотчинную контору и приказал позвать к себе всех главных управителей по заведыванию именьями и принадлежавшими ему на этой стороне Днепра городами, а равно начальников кварцаного, грошевого и дворцового войска. Он отдал им следующий приказ: тотчас же взять из замковых магазинов соль, которой у него запасено было несколько сот тысяч пудов, и, кроме того, скакать немедленно в Лубны, закупить на наличные деньги, не жалея ничего и не взирая на цены, всю имеющуюся в городе соль, как в городских магазинах, так и у частных обывателей, а если попадутся чумацкие обозы с солью, то их все скупить и вести всю эту соль за Сулу, на равнину, и при помощи всего войска, а также всех окрестных хлопов и лубенских обывателей засыпать этою солью всю равнину от берега Сулы до леса и по обеим сторонам, вправо и влево, сколько можно из замка глазом окинуть; потом точно так же, взяв из замковых и из городских магазинов всю молотую пшеничную муку, с помощью садовых складных лестниц, служащих для собирания плодов с высоких деревьев, — обсыпать этою мукою все листья на деревьях в той роще за Сулою, которая видна из замка, а равно посыпать мукою и весь мелкий, видимый из замка кустарник.

И вот закопошились тысячи народа — войска и хлопы, чтоб в течение ночи исполнить этот грандиозно-безумный план безумного родителя будущего безумного короля польского Михаила Вишневецкого.

Мало того, князем отдан был приказ, что когда весь план посыпки равнины и леса солью и мукою будет выполнен до конца, то чтоб войско и все согнанные для этого дела хлопы оцепили всю равнину и лес живою цепью, рука в руку, но спрятавшись так, чтоб этой цепи из замка не было видно. Из имевшегося при замке зверинца он велел взять всех зверей — волков, лисиц, сайгаков и зайцев — переправить их бережно в особо для этого приспособленных клетках за Сулу и там распустить их по равнине, по кустарникам и по лесу. Это — для предстоящей охоты.

Безумная работа закипела, и к утру Засулье представляло снежную равнину с заиндевевшим лесом и таким же кустарником.

— Мама, мама, какая зима! — зазвучал в дверях свежий мелодический голосок и радостно, и испуганно вместе.

Все оглянулись, и на всех лицах расцвела веселая, добрая улыбка, с какою обыкновенно люди смотрят на прелестного ребенка или на очень уж юную особу.

Это была Софья Кисель — общая любимица всего блестящего общества. Она показалась на галерее вместе с своею черноглазую, яркого, южного типа мамою, и, возбуждив общее внимание своим стремительным восклицанием: «Мама! Мама!» — теперь стояла вся пунцовая от смущения.

Хотя ей было восемнадцать лет, но она смотрела совсем ребенком. Видно было, что ее головка, обремененная массивными пасмами великолепной золотистой косы, которая, казалось, так и давила ее, постоянно работала, во все вслушиваясь, все замечая и обдумывая; но заговорить самой, спросить о чем — ни за что! И едва лишь кто в этом обширном и блестящем обществе обращал на нее внимание, хотел заговорить с ней, как глаза ее мгновенно вспыхивали вместе со щеками, и она подобно хорошенькому кролику, который стремительно улепетывал в куст при виде собаки, — вся уходила в себя, точно мысленно прячась за маму или за няню, как кролик за куст. Если с кем она была смела, даже, можно сказать, за панибрата, так это с котенком Васькой, которого она закармила так, что он уже до мышей и не дотрагивался, а охотно ел из ее рук икру.

— Ах, Соня, ты все хорошеешь! — приветствовала ее хозяйка, видя крайнее смущение девушки. — Ты, конечно, поедешь с нами на охоту, да?

— Как мама... — был торопливый ответ.

— Что мама! — улыбнулся старик Четвертинский. — Панна теперь совсем уже большая.

На галерее появился сам хозяин, князь Иеремия, гости приветствовали его возгласами «браво!» и дружными аплодисментами. Холодные, оловянные глаза князя светились, как холодная сталь; он, видимо, сам доволен был своей выдумкой.

Тотчас же заговорили о предстоящей охоте, которую страстно любит всякий истый поляк.

— А ведь охоту-то, пане ксенже, откладывать нельзя, — весело сказал Сангушко, — вон как солнце печет, как бы наш снег не растаял!

— О, мой снег не растает! — самодовольно отвечал хозяин, закручивая усы.

— Да, правда, скорее мы растаем, — подтвердил Кисель, который не выносил зноя, — правда, Соня?

— Правда, — отвечала она, вся вспыхнув.

Общим голосом решено было тотчас же отправиться на охоту, и потому гости разошлись по своим комнатам, чтобы переодеться к предстоящему выезду.

Прислужники и конюхи тем временем чистили и седлали коней, псари выводили и наставляли собачьему благо-разумию и всем псовым мудростям своих воспитанников — гончих, медвежатников, волкодавов и иных специалистов собачьего дела, — того хлестали арапником, другого драли за ухо, на третьего надевали почетный ошейник. Лай и визг собак, ржание коней, завывание рожков — это была такая мелодия, от которой восторгом трепетало сердце каждого доброго пана.

Наконец, панство торжественно выступило на замковый двор. Все были одеты самым блестящим образом; везде блистало серебро и золото. У князя Иеремии висел через плечо огромный турий рог в золотой оправе. Изящный рожок, висевший у корсажа княгини Гризельды, горел бриллиантами. Такие же бриллианты сверкали и на ее прелестной охотничьей шапочке с пером. Высокий гайдук не отходил от княгини, держа над нею широчайший зонтик из тончайшей золотистой соломы и защищая от солнца прелестное личико своей госпожи. С нею рядом была и Соня Кисель; она была необыкновенно оживлена и счастлива, как ребенок. Да и все были необыкновенно оживлены. Один Могила как бы сторонился от всего этого и был глубоко задумчив. Только по временам он переносил свой тоскующий взгляд на Соню — и глаза его точно теплели. Соня напоминала ему далекое, невозвратное счастье.

К дамам подвели оседланных коней. Княгиня Гризельда потрепала своей маленькой ручкой лебединую шею белого, как снег, и тихого, как овечка, аргамака; тот ответил ей ржанием.

Старый Сангушко с ловкостью юноши подлетел к княгине, шелкнул острогами, изогнулся и протянул вперед правую руку ладонью кверху. Княгиня стала своей маленькой ножкой на эту широкую ладонь и птичкой вспорхнула в седло, держась рукою за гриву коня.

К Соне, волоча подагрические ноги, но стараясь изловчиться, фертом подошел старик Четвертинский, хотел звякнуть шпорами, но не мог и, с усилием согнув свои старые ноги, стал на одно колено и также протянул правую руку ладонью кверху.

— Мам гонор, очаровательная панна, — прошамкал он.

Панна вспыхнула, как мак, но ножку все-таки поставила на широкую ладонь старика и ловко вскочила в седло.

— Падам до ног,— пошамкал старый любезник,— и целую след ножки очаровательной панны.

И он театрально поцеловал свою ладонь, но с земли уже подняться не мог, и его поспешили поднять гайдуки.

— Что за ножки! — шамкал он, обращаясь к Соне и кланяясь ей.— Они обе с трудом бы закрыли мои губы.

Скоро все были на лошадях. Князь Иеремия затрубил в свой турий рог, и блестящее общество двинулось из замка, сопровождаемое сотнями псарей и собак. За замковыми зданиями, при повороте к Суле, перед глазами охотников снова раскинулась снежная равнина Засулья с покрытыми инеем деревьями. Даже собаки неистово залаяли, увидав перед собою необычайное явление.

Но никто, по-видимому, не обратил внимания на другое явление, хотя, может быть, менее необычайное, но зато грозное, страшное. Только юная Соня Кисель заметила это последнее явление, и детское оживание мгновенно сбежало с ее хорошенького личика; глаза ее, за минуту горевшие счастьем, широко раскрылись от ужаса, и губы дрогнули. Прямо к югу, за далеким горизонтом, на синеве чистого неба, где-то далеко за Днепром, клубились дымные облака и, гонимые южным ветерком, зловеще ползли к северу. Она вспомнила рассказ своей старой няни, вчера только возвратившейся из-за Днепра, что на Правобережную Украину напали татары, жгут и режут все, что попадает им под руку, берут сотнями полоняников,— и бедные хлопы, бросив свои дома и имущества, толпами бегут спастись на эту сторону Днепра.

Под копытами лошадей уже хрустела белая соль вместо снега, всадники уже рыскали по всей равнине, крики загонщиков сливались в нестройный гул с воем рогов, лаем собак и ударами арапников. Хорошенькая княгиня звонко трубила что-то в свой изящный рожок, но ее никто не слушал.

А за далеким горизонтом дымные облака продолжали клубиться и тихо плыть на север.

## X X I

Мы снова в Черном море.

По темно-бирюзовой, колеблемой тихим южным ветерком поверхности его уже четвертый день плавно движется бо-

гатая галера, вышедшая из Трапезонта и держащая путь к Козлову, главному невольничьему рынку всего тогдашнего Черноморского побережья. Галера украшена роскошно — во вкусе поражающей азиатской пестроты: разноцветные флаги и всевозможных ярких цветов ленты то купаются в прозрачном воздухе, когда совсем падает ветерок, то треплются и извиваются, как змеи, при малейшем дуновении зефира. Чердаки и сиденья обиты белым кашемиром с золочеными кистями, которые так и горят на солнце.

Из люков громадной галеры выглядывают черные пасти пушек — галера вооружена солидно и может постоять за себя.

Обширные палубы, чердаки и подчердачья галеры вмещают до семисот богато разодетых и хорошо вооруженных турецких моряков и спагов, да до четырехсот пышных и своевольных янычар, которые не дадут в обиду богато убранную галеру и того, кто ею повелевает.

Наконец, до трехсот пятидесяти казаков-невольников, прикованные железами к галерным опачинам, попеременно, день и ночь работают на веслах, двигая это изукрашенное чудовище по морю.

На галере находится сам славный Алкан-паша, трапезонтское князя: его трапезонтское сиятельство изволит ехать в Козлов для свидания с своею хорошенькою невестой, дочерью Козловского санджака, или губернатора. Его обширная каюта, устланная богатыми коврами и уставленная по бокам низенькими турецкими диванами, убрана со всею восточною роскошью — серебром, золотом и бирюзой, блестящими кубками из золота и серебряною посудой.

Паша сидит на низеньком диване, поджавши калачиком ноги, и машинально тянет синий дымок из длинного чубука, поглядывая на море с полным бессмыслием человека, которому прискучили всякие наслаждения жизни. В тупом выражении его стоячих, немигающих глаз есть что-то, напоминающее оловянные, холодные глаза князя Иеремии Вишневецкого, как бы говорящие: «Все изведано, все надоело...»

Перед ним в почтительной позе стоит седоусый, сильно сгорбленный, с мигающими серыми, едва видимыми из-под седых бровей глазками, старик и молча, по старческой привычке, жует губами. Он очень стар, но лицо его все еще сохранило выражение лукавства и решительности. Это — доверенное лицо Алкана-паши, его главноуправляю-



ший Иляш-потурнак, ренегат, бывший казацкий переяславский сотник, родом поляк. Тридцать лет он был в турецкой неволе, а теперь вот уже двадцать четыре года как получил свободу и своею охотою потурчился ради панства великого, ради лакомства несчастного, подобно Марусе Богуславке.

— А что, мой верный раб, далеко еще до Козлова? — не поднимая глаз, спросил паша.

— Далеко еще, о тень падишаха! — отвечал Иляш-потурнак, низко кланяясь.

— Сегодня не доедем?

— Воля аллаха!

— А где мы теперь?

— Против Черного камня, недалеко от Сарыкермена.

Чтобы подтвердить свои слова, Иляш-потурнак раздвинул белый полог чердака, и перед сонными глазами Алкана-паши открылась дивная картина.

Из темно-синей глубины, направо от галеры, выползали, казалось, какие-то чудовища и тянулись к небу. То были мрачные базальтовые скалы, выходившие из моря, береговые стремнины с причудливыми изломами. То были грозные и в то же время обаятельно-чарующие очертания мыса Фиолента, где когда-то стоял храм Ифигении Таврической, — храм, с которым соединилось во все века столько поэтических преданий...

Кругом господствовала необыкновенная тишина, и только слышно было, как волны моря, словно живые, мерно разбивались о прибрежные скалы и где-то на камне или в воздухе плакалась чайка...

Влево синелось море, которому и конца не было; оно посылало свои волны к чудному берегу, и волны, плача мерным гекзаметром, рассыпались у берега белыми, как снег, слезами...

Ничего этого не видели бессмысленные глаза паши; только старые глаза Иляша-потурнака словно бы слезой заискали под хмурыми седыми бровями... При виде этого берега и дивных скал он вспомнил молодость, зеленый, холмистый берег Днепра, печерские горы и церкви с золотыми крестами... Он тихо вздохнул...

Солнце уже половиной своего диска окунулось в море и посылало багровый свет и облакам, и Крыму.

— Где ж мы ночевать остановимся? — снова спросил паша.

— Если прикажет мой повелитель, прибежище и щит невинных, если прикажет мой великий господин, то про-

тив Сарыкермена,— отвечал Иляш-потурнак, скрывая невольный вздох.

— В море?

— В море? о тень падишаха: так легче смотреть за проклятыми собаками, за невольниками.

— А ты их крепче приковывай.

— Крепко приковываю, мой повелитель.

Южная ночь скоро спустилась на море, и галера должна была остановиться. Иляш-потурнак, взяв с собою двух янычар и приказав им зажечь фонарь, с огромною связкою ключей на руке пошел по рядам невольников, чтоб осмотреть цепи и замки, которыми они приковывались к опачинам. Как ни привык он, в течение многих лет, к своему суровому ремеслу галерного ключника, однако всякий раз, как он становился лицом к лицу с несчастными каторжниками, в нем закипало что-то острое, жгучее — не то стыд, сверлящий сердце, бросающий кровь к старым щекам, не то тупая злоба на этих невольников, на себя, на пашу, на всю свою проклятую долю. Когда свет фонаря падал на ржавое железо, которое охватывало ноги и стан несчастного казака у опачины, на рубища, покрывавшие только нижнюю часть его тела, на это исполощенное червонною таволгою тело или изможденное казацкое лицо, обросшее волосами и изрытое морщинами тоски, голода и холода, Иляш-потурнак невольно отворачивался от этого лица или прятал свои глаза под седыми бровями, а в его душе сам собою звучал скорбный припев думы:

Потурчився, побусурманився,  
Для панства великого,  
Для лакомства нещасного,  
Для розкоши турецькеси...

Долго ходил Иляш-потурнак по рядам невольников, долго звякали в темноте ключи его и невольничьи цепи. Но вот кто-то окликнул его по имени.

— Пане Иляшу! Преклони ухо к молению моему! — слышался старческий голос.

— Кто меня кличет? — спросил Иляш, останавливаясь.

— Я, пане, Кишка Самойло, старец божий и бедный невольник, а когда-то гетман славного войска Запорожского.

Как ножом резануло Иляша-потурнака по сердцу. Он дрогнул и пошатнулся, когда янычары навели свет фонаря на говорившего невольника. Это был древний старик, хотя ни годы нравственных страданий, ни турецкие бичи, ни червонная таволга не согнали с его лица ни энергии молодости,

ни прежней величавости казака, каких на свете мало. Это был, действительно, Кишка Самойло, когда-то гетман славного Запорожья, а теперь, вот уже тридцать лет, бедный невольник.

— О чем твое моление, Кишка Самойло? — дрогнувшим голосом спросил Иляш-потурнак.

— Мое моление сице, пане Иляшу, — отвечал Кишка Самойло, стараясь говорить по-письменному, — зело стар есмь аз, пане, смерть моя за плещима моима стоит и в очи мои зазирает, аки орел-сизокрылец, хотяй очи мои из лоба выклевывать... Так молю тебя, пане Иляшу, когда я помру в земле турецкой, в неволе басурманской, то не вели тело мое козацкое ни земле турецкой предавать, чужим песком мои очи козацкие засыпать, ни турецким собакам на растерзание, ни турецким птицам на расклевание метать, а повели тело в Черное море с камнем на шее ввергнуть! Может, заплывет оно в Днепр, а Днепром до славного Запорожья...

Кишка Самойло замолчал. Иляш-потурнак стоял бледный и безмолвный.

— Так исполнишь мою волю, пане Иляшу? — помолчав, спросил Кишка.

— Исполню, — глухо отвечал потурнак.

— А мою? — послышался в темноте другой голос.

Иляш-потурнак обернулся на голос. Янычары навели фонарь на говорившего: это был тоже старенький, седенький невольник.

— Кто ты такой? — спросил Иляш.

— Я Марко Рудый, когда-то был судья войсковый.

— А об чем просишь?

— Не просьба моя до тебя, потурначе, а позыв, — я зову тебя на страшный суд перед самого господа бога... Как будешь помирать — вспомни мои слова: на том свете мы с тобой увидимся.

Потурнак нахмурился и молча вышел, позванивая ключами.

Между тем Алкан-паша, выкурив на ночь трубку гашиша, спал в своей роскошной каюте; но сон его был тревожный; вместо сладких грез и чарующих видений, сонный мозг его угнетали страшные картины. Он видел себя на море, на этой же богатой, роскошной галере, разрисованной и изукрашенной. Но что случилось с этой галерой! Она вся оборвана, обагрена кровью, разграблена; дорогие ткани ее в клочках, цветные ленты сорваны, дорогие вещи растащены. Все его янычары порубаны, поколоты, в море побросаны, а

все невольники раскованы и овладели галерою. Мало того: старый невольник Кишка Самойло его самого, Алкана-пашу, разрубил на три части и бросил в море... Но ни тогда, когда Алкан-паша видел гибель своей галеры и янычар, ни тогда, когда Кишка Самойло рубил его саблею на три части, Алкан-паша не проснулся, — он проснулся только тогда, когда голова его, отделившись от туловища и скатившись с чердака, упала в море и стала погружаться в холодную воду...

Мучительно билось его сердце, когда он проснулся; но сознание и радостное успокоение воротилось к нему, когда в каютное окошечко он увидел, что галера тихо стоит на море, а восток неба начинает розоветь утреннюю зарю...

— Слава аллаху! Это был сон! — невольно вырвалось у него из груди. — Но какой страшный сон!

Он задумался... Сон тревожил его...

Паша троекратно ударил в ладоши. На этот зов распахнулась занавесь у дверей каюты и пред мутные и тревожные очи паши предстал Иляш-потурнак и низко поклонился, приложив обе руки к сердцу.

— Да будет благословенно имя аллаха, пославшего сон и пробуждение тени падишаха! — сказал он, не подымая головы.

— Ля-иллях иль аллах Мухамед расул аллах, — пробормотал паша.

— Спокоен ли был священный сон прибежища и щита угнетенных?

— Нет, не спокоен.

— Что же тревожило сосуд мудрости и благости?

— Я видел страшный сон и не знаю, как понять его... Я желал бы, чтоб кто-нибудь истолковал его мне... Кто это сделает, тому я — если он янычар — подарю три города, а если невольник — то ему я дам фирман на свободу и никто его пальцем не тронет.

Иляш-потурнак стоял и смущенно переминался на месте.

— Какой же сон видело светлое око падишаха? — спросил он. — Может, и я угадаю, что он значит.

— Виделось мне, — начал паша, глядя куда-то своими черными, но какими-то бесцветными глазами и как бы созерцая то, что ему пригрезилось во сне, — виделось мне, что моя галера ободрана, ограблена, кровью вся залита, мои янычары все порезаны и в море потоплены, а невольники все раскованы и на галере хозяйничают... Меня же — о, сохрани аллах! — меня Кишка Самойло, старший неволь-

ник, разрубил саблею на три части и бросил в море... Вот какой я страшный сон видел!

— О, солнце правды, месяц добродетели,— воскликнул потурнак — аллах сохранит тебя... А этот твой сон ничего не значит, прикажи только построже наблюдать за невольниками, вели их покрепче заковать в железа, да чтоб и не думали о воле, прикажи янычарам взять по два прута червонной таволги и бить ею каждого невольника, чтобы кровь христианская твою галеру окрасила,— тогда ничего не будет.

Паша махнул рукой.

— Хорошо, делай как знаешь: я тебе верю.

Скоро галера прибыла к Козлову и, еще не подходя к пристани, сделала из пушек несколько выстрелов. С Козловской цитадели ей отвечали таким же числом пушечных приветствий.

С горьким чувством страха и какого-то немого укора смотрели невольники на этот ужасный город, в котором когда-то их, полоняников, словно скотину, татары на рынке продавали. Крепостные башни и тонкие иглы минаретов ярко очерчивались на голубом фоне южного неба. Пристань была полна турецкими галерами и кораблями других европейских наций. Пестрые флаги их, точно разноцветные птицы, реяли в воздухе. И над пристанью, и над всем городом стоял гул голосов, стук колес о камни — тот неуловимый рокот, которым, как бурным дыханием, дает о себе знать большой кипучий город. Невольникам казалось, что они издали слышат рыночный невольничий плач.

На берегу Алкана-пашу ожидала пышная встреча. Сам санджак, окруженный блестящей свитой из янычар и крымских татар, выехал на берег, чтобы как можно приветливее принять дорогого гостя и зятя, Алкану-паше подвели белого арабского коня с расшитым золотом и шелками седлом. Всю дорогу, от пристани до санджакова дома, играла музыка.

За Алканом-пашою пошли в город и его янычары, для которых уже было приготовлено угощение на рынке, на том самом рынке, где всегда в Козлове шел торг невольниками.

Алкан-паша пировал у самого санджака. Но и во время пира у него из головы не выходил страшный сон, виденный им в эту ночь. А что, если Иляш-потурнак изменит? Что, если он, пользуясь тем, что все янычары пируют в городе, отдаст галеру в руки невольников и уйдет с галерою и невольниками в море?

Он велел позвать к себе двух верных евнухов-наушников, исполнявших у него в Трапезонте роли гаремных смотрителей и доносчиков и для этой цели наученных языкам черкесскому, армянскому, греческому, польскому и украинскому. Евнухам он приказал тотчас же отправиться на галеру и наблюдать за Иляшом-потурнаком и за невольниками, в особенности за Кишкою Самойлом.

Пробравшись тихонько на галеру, стоявшую у берега, евнухи увидели, что Иляш-потурнак разговаривает о чем-то с Кишкою Самойлом. Они стали прислушиваться к разговору, спрятавшись за канатами.

— Иляше-потурначе, брате старесенький! — говорил Кишка Самойло. — Когда-то, брате пане, и ты был в такой неволе, как мы теперь... Брате! Добро нам учини — хоть нас, старшину, отомкни, пускай бы и мы в городе побывали, панское веселье повидали.

У потурнака глаза блеснули не то радостью, не то злобой и мгновенно опять погасли.

— О Кишка Самойло, гетман запорожский, батько козацкий! — отвечал Иляш, стараясь скрыть свою коварную улыбку. — Добро ты учини, веру христианскую под нози топчи, крест на себе поломи... Когда будешь веру христианскую под нози топтать, будешь у нашего пана молодого за родного брата пребывать.

— Ляше-потурначе, сотник переяславский, недоверок христианский! — с горечью воскликнул Кишка Самойло. — Пусть ты того не дождешь, чтоб я веру христианскую топтал! Хоть буду до смерти беду да неволю принимать, а буду веру вашу поганую проклинать: вера ваша поганая, и земля проклятая!

Теперь, в свою очередь, потурнак выпрямился и схватился было за саблю, но удержался.

Проклятая! Проклятая! — звеня кандалами, повторял старый гетман-невольник.

— Так вот же тебе, собака!

И потурнак со всего размаху ударил в щеку седого гетмана. Все невольники, как один, вскочили с мест, гремя цепями, но опачины, к которым они были прикованы, крепко держали их.

— Это тебе за веру христианскую, Кишка Самойло, гетман запорожский! — сказал потурнак, мрачно Глянув по рядам невольников. — Будешь ты меня верой христианской укорять, то буду я тебя паче всех невольников доглядать, старыми и новыми кандалами буду ковать, цепями попереk вязать.

Соглядатаи-евнухи видели всю эту сцену и не проронили ни одного слова. После этого они так же тихонько ушли с галеры, как взошли на нее.

— Ну, что? — спросил Алкан-паша, когда они воротились к нему.

— Будь покоен, могущественный повелитель! — отвечал один из них, низко кланяясь. — Твой раб верен тебе, как собака.

— Бесконечно веселись, источник нашего веселия! — добавил другой. — Твой ключник Кишку Самойла пощечинами кормит, собаку к правоте верию склоняет.

Успокоенный этими вестями, Алкан-паша велел отнести на галеру своему верному ключнику всякого корму и напитков, чтобы он пил за здоровье паши и его невесты.

Все было исполнено, как приказал паша.

Угостившись принесенными ему яствами и напитками, Иляш-потурнак глубоко задумался. Он разом почувствовал страшное одиночество, хотя вся галера была полна и все это было ему родное, близкое, из той земли, где когда-то беспечно бегали его маленькие ножки, а невинная детская головка загадывала быть казаком... Он и был потом казаком, мало того — казацким сотником... Что то было за время, что за пора золотая, невозвратная!.. Потом он попал в плен: вот в этом самом Козлове, полстолетия назад, его продали на рынке в Трапезонт, отцу вот этого самого Алкана-паши... Тридцать лет он был в неволе... А там — разум его помутился: он бросил свою веру, которой, однако, в глубине души продолжал сочувствовать... Он побусурманился, стал потурнаком... Стыдно ему было глядеть в глаза другим невольникам, и он возненавидел их. Он стал свирепым ключником, бичом невольников. И одиночество, сиротство его стало еще ужаснее...

Теперь, когда он так жестоко поступил с старым гетманом-невольником, ему стало еще тяжелее. В этом отчуждении от всего родного ему теперь мучительно вспоминалось все прежнее, далекое, милое, навеки утраченное. В виду этого чужого города, с чужим даже солнцем на небе, с этими высокими минаретами, ему вспомнились родные колокольни, родное солнце, знакомое пение в церквях...

Ему вдруг мучительно захотелось теперь поговорить с кем-нибудь об этой милой далекой родине, о родной вере, которую он променял на чужую, вспомнить молодые годы, перенестись мыслью в тот край, потерянный давно-давно, но постоянно живущий в сердце, как будто бы только

вчера он пил днепровскую воду, как будто вчера слышал, как мать его поет за пряткою.

«Господи! — думалось ему. — Есть у меня теперь всего вдоволь: и поесть, и попить, да нет души родной, с кем бы поговорить об Украине, о родной вере, о родных людях...»

Возбужденный и вином, и своими думами, он встал и пошел к старому гетману-невольнику. Тот сидел прикованный к борту и молча смотрел, как на высоких башнях и минаретах медленно погасал багровый свет солнца, спускавшегося в море. Сколько лет уже он смотрит на этот закат солнца в чужой стороне и всякий раз вспоминает закат его там, далеко, в незримом родном краю...

— Прости меня, батьку! — упавшим голосом заговорил потурнак, приближаясь к гетману.

Последний поднял голову и грустно посмотрел на говорившего.

— Прости, батьку, — повторял потурнак.

— Бог простит, и я прощаю...

Через минуту потурнак, припав на колени, дрожащими руками размыкал кандалы на руках и на ногах у гетмана.

— Пойдем, батьку, ко мне... Я тебя угощу... да об вере христианской поговорим...

У старого гетмана блеснул в глазах какой-то таинственный огонек, но он силою воли загасил его и молча пошел за потурнаком, провожаемый недоумевающими взглядами других невольников...

## XXII

Иляш-потурнак привел старого гетмана в свою каюту, что была бок о бок с роскошной каютою паши, и стал угощать его всем, что у него было. Гетман не отказывался от угощения, но пил очень осторожно, между тем как потурнак, уже и без того подвыпивший, теперь, на радостях, что по душе сошелся с почетным земляком, глотал разнообразные вина чарку за чаркою, постоянно чокаясь с дорогим гостем. Он уже не замечал, как гость, вместо того чтобы подносить чарку к губам, через каютное окошечко ловко выливал ее в море. Он только бессвязно бормотал об Украине, о проклятой турецкой вере, о том, что он поневоле сделался галерным ключником.

Кончилось тем, что потурнак, во время самого разгара



угощения, положив голову на стол и бормоча бессвязные речи, заснул.

Старый гетман, оглядевшись кругом и убедившись, что пьяный потурнак спит мертвецким сном, упал на колени и стал тихо молиться. Седая голова его долго лежала на полу каюты. Но вот он приподнялся...

— Господи! Изведи из темницы душу мою и души рабов твоих, Козаков,— шептал он, поднимая руки к небу.

Затем он встал, тихо отстегнул от пояса потурнака огромную связку ключей и спрятал их в карман широчайших, давно истрепанных казацких штанов своих.

Осторожно выйдя из каюты и затворив ее, гетман тотчас же бросился к невольникам и торопливо стал отмыкать их кандалы...

— Батьку!.. Мати божа! — невольно вырвалось у несчастных.

— Молчите, детки! Тише, тише! — останавливал их гетман.

— Батьку родный! Господи!

Расковав несколько человек, гетман разделил между ними всю связку ключей.

— Идите, детки, один другого отмыкайте, да только кандалы с ног и с рук не скидайте, а полуночной поры дождайте.

— Добре, батечку родный, добре!

— Да ключи, детки, назад мне принесите

— Принесем, батьку.

Казаки бросились расковывать друг друга. В несколько минут все невольники были раскованы, но кандалов с себя не снимали.

Получив обратно ключи, старый гетман пошел с ними в каюту потурнака. Тот продолжал спать, всхрапывая на всю галеру. Кишка Самойло снова прицепил ему ключи к поясу и осторожно взял за плечи.

— Брате Иляше! Брате Иляше! — будил он спящего.

— Какого тебе чорта! Прочь! — бормотал пьяный.

— Да ты бы лег на постель; иди — ^ я доведу тебя...

— А ключи где?

— Вот у тебя на поясе.

Пьяный ощупал связку ключей.

— Добре... веди меня... а сам пей...

С трудом Кишка уложил пьяного на койку и, трижды перекрестившись, вышел из каюты.

Воротившись на свое место, гетман, по примеру других

невольников, вложил свои руки и ноги в кандалы, да, кроме того, обмотал себя трижды особою железною цепью.

Между тем, ночь давно уже окутала мраком и землю, и море. По городу и по пристани кое-где мигали огоньки. Дневной шум стихал, замирая, тишина опускалась и на город, и на пристань, и на море; только лай собак от времени до времени нарушал ночное безмолвие.

Скоро, однако, берег оживился и замигал огоньками. Это Алкан-паша, в сопровождении янычар, возвращался к себе на галеру.

Он взошел на палубу с ,частью своего экипажа, так как большая часть янычар, наугощавшись в городе, повалилась спать прямо на пристани, вповалку. Менее пьяные остались с пашою, который, взойдя на галеру и увидев, что все невольники сидят на своих местах, прикованные к опачинам, остался вполне доволен порядком на судне и своим верным ключником, хотя этот последний, против обыкновения, и не вышел его встретить. Паша понял, что его ключарь пьян, и не велел его будить.

— Не шумите,— сказал он, обращаясь к своему экипажу,— пускай спит мой верный раб, ему нужен отдых. Пройдитесь по рядам невольников и осмотрите, все ли они хорошо закованы.

Янычары зажгли фонари и отправились на ревизию. Но так как и они все были порядочно навеселе, то и осмотр произвели поверхностный: убедившись, что кандалы у всех невольников на месте, они уже не обратили внимания на замки и доложили своему владыке, что все обстоит благополучно.

— Почивай спокойно, звезда Трапезонта! Аллах за тебя не спит,— сказал первый евнух.

— Не бойся ночи, солнце Анатолии! Верного тебе аллах послал ключника: он всех невольников рядами посадил, ручными и ножными кандалами их сковал, а Кишку Самойла тремя цепями связал,— пояснил другой.

Алкан-паша окончательно успокоился, и голова его, отяжелевшая на пиру еще, погрузилась в глубокий сон... Ему грезилась его золотокошая, с глазами газели, невеста, прекрасная Фатъма, и мрачные видения уже не терзали его... Он плыл с своею красавицею по Босфору и Золотому Рогу, а с берега им салютовали цареградские пушки...

Мертвым сном спала и вся галера...

Нет, не вся... Вон кто-то поднимается среди рядов невольников... Месяц, выглянувши из-за тучи, серебрит чью-то голову... Это седая голова Кишки Самойла... Он тихо сни-

мает с себя цепи, так тихо, что ни одно звено не звякнет, поднимает голову к небу, крестится, а потом нагибается через борт... Тихое звяканье цепей... Плеск воды... Это цепи рабства и неволи упали в море...

Старый гетман осторожно пошел по рядам невольников, из которых ни один не спал: все ждали рокового момента, и у всех в руках находились кандалы, снятые тотчас по осмотре их янычарами и евнухами.

— Ну, детки, панове молодцы, пускай вам бог помогает! — говорил Кишка, проходя по рядам. — Теперь кидайте кандалы в море, да только железом не брызчите: турчина не будите.

Сонное море, тихим, но могучим дыханием дышавшее у берега, сотнями всплесков отвечало на эти слова старого гетмана: это падали в море кандалы, столько лет до костей протиравшие казацкое тело в горькой неволе. Месяц, совсем выбравшись из-за туч, обливал бледным светом эти полуголые прикрытые рубищем тела, эти косматые, нечесанные, но теперь высоко поднятые головы, эти худые, загорелые, изможденные, но теперь трепетавшие счастьем и энергией лица.

— Детки! — продолжал тихо гетман. — Забирайте теперь у сонных янычар сабли булатные, да мечи острые, да мушкеты.

Казаки как кошки тихо расползлись по галере, ища оружие. Скоро они опять собрались около гетмана — кто с ружьем, кто с саблей, кто с кинжалом.

— А мой турчин было проснулся, так я его на месте заколол.

— А я руками, как собаку, задавил.

Так перешептывались казаки, добывшие себе оружие.

— А теперь, детки, — сказал гетман, — половина вас на пристань выходите, да там сонных янычар рубите, а мы уж тут другою половиною справимся с галерою.

Месяц снова спрятался за тучу как бы для того, чтобы не глядеть на то кровавое дело, которое должно было совершиться на его глазах. Темные тени, сверкая во мраке клинками кинжалов и шашек, сошли с галеры на берег и как бы растаяли во мраке и в ночной тиши.

Скоро в темноте послышались слабые крики и стоны: «О-о! Алла! О-о!»

И галера застонала и зазвенела оружием. Слышались глухие вскрики, удары, неясный говор, иногда отчаянный вопль и частые всплески воды — всплески падавших в море турок.

В этой поголовной сечи Самойло Кишка взял на свою долю Алкана-пашу, сказав предварительно казакам, чтоб не трогали одного Иляша-потурнака.

— Пускай он у нас, детки, за ярыгу войскового останется.

Когда старый гетман вошел в каюту Алкана-паши, этот последний сладко спал, раскинувшись на широком оттомане и улыбаясь чарующим видениям. Кишка остановился в глубоком раздумье. На обнаженной сабле, которую он занес над головою спящего и которая несколько дрожала, играл причудливый свет висячей лампы, тихо качавшейся вместе с плавным покачиванием галеры. Светом лампы искрились и мишурные с золотом и серебром украшения каюты.

Кишка глянул на всю эту роскошь, потом на свои лохмотья, снова перенес взоры на золото и серебро, сверкавшие на украшениях.

— То наши слезы,— прошептал он,— это кровь наша... Помогите, боже!.. Пускай спит вечно...

Сабля сверкнула и врезалась в толстую белую шею спящего. Глаза паши открылись, страшно глянули в глаза гетмана.

— Га! Узнал меня, башо!.. Так прощай же!

И сабля гетмана вторично еще глубже врезалась в белую шею. Голова паши отделилась от туловища и стукнулась глухо о пол каюты.

— Голова думала злое, а руки злое творили,— сказал раздумчиво гетман.

Сабля снова сверкнула — и правая рука паши отлетела прочь у самого плеча. Старый гетман, вздев на саблю мертвую голову и взяв отрубленную руку, с которых капала черная кровь, вышел на палубу. Его окружили казаки, уже покончившие с турками и переменявшие свои рубища на богатое платье янычар.

— Что, детки, порешили? — спросил гетман.

— Порешили, батьку,— был ответ.

— А это их matka,— пояснил гетман, высоко поднимая мертвую голову,— это его правая рука... Голова, голова! Злое еси думала, а еще злейшее твоя рука творила... пусть же вас земля не принимает!

И он бросил голову и руку в море.

Труп паши был вытащен за ноги и также брошен в воду. Это был последний глухой всплеск моря,— всплеск, которым завершилось кровавое дело на галере.

Затем Кишка распорядился, чтобы половина казаков тотчас же села за весла и выгнала галеру в открытое море,

подальше от Козлова, а другая занялась бы очисткою палубы от крови и приведением всего судна в надлежащий порядок.

— Сегодня, детки, у нас суббота, а завтра святое воскресенье,— сказал он,— так надо, чтоб было нам где на чистом помолиться, милосердного бога поблагодарить.

Утреннее солнце озарило галеру во всем ее блеске и красоте. По палубе ходили и сидели кучками казаки в богатых янычарских нарядах. Правда, кое-где на этих нарядах виднелась черная запекшаяся кровь, зияла прореха от сабли или кинжала, обведенная кровавою каймою, темнели кровавые пятна то на куртках, то на шароварах; но зато лица казаков были праздничные, оживленные. А тут это утро, тихое, яркое, роскошное; это голубое небо над головами, это темно-бирюзовое море под ногами... А вдали за ними, как бы все более и более утопая в море, тянулась дымчатая полоса земли — край прекрасный, роскошный, но проклятый по воспоминаниям горькой неволи... Крым все более и более уходил из глаз.

Вдруг на палубе появился Иляш-потурнак. Увидев казаков и заметив что-то необыкновенное вокруг себя, он дрогнул всем телом, глянул кругом на море, на небо, на дымчатую полосу земли, уходившую из глаз, и в изнеможении, в отчаянии упал на колени. Седая голова его повисла на грудь, руки сложились как бы для молитвы...

— Что, ляше? — тихо сказал гетман, подходя к нему.

Потурнак припал головой к ногам Кишки и застонал.

— Не горюй, брате,— так же тихо и ласково проговорил гетман,— теперь будет с кем об вере христианской поговорить.

Потурнак поднял свое бледное, искаженное лицо.

— Гетман! Батьку козацкий! — с силою отчаяния воскликнул он, всплеснув руками.— Батьку! Не будь же ты таким со мною, каким я был с тобою... Пощади мою седину! — Безнадежный взор его блуждал по небу, по морю.— О! Тяжкий мой грех, господи, тяжкий! — стонал он.

Но вдруг глаза его блеснули и приковались к чему-то далекому на синеве моря... Он весь превратился в зрение...

— Батьку! — воскликнул он громко, почти радостно.— Бог тебе помог врага победить, да только не сумеешь ты в землю христианскую вернуться... Погляди на море!..

И он указал рукою по направлению, куда сам глядел напряженно. Старый гетман обернулся и посмотрел туда же. Все головы казаков обратились по указанному направлению.

— Видишь, батьку? — спросил Иляш.

— Вижу, — отвечал гетман.

— А знаешь, что они такое?

— Нет, не знаю... Может, галеры...

В далекой синеве, на поверхности моря, белели какие-то точки.

— То галеры турецкие, — сказал потурнак, — то двенадцать галер бегут из города Царьграда, чтоб Алкана-пашу с его невестою поздравлять... А как ты им будешь ответ давать?

Старый гетман задумался. Если то, что говорил потурнак, было правда, то только что спасшимся невольникам угрожала гибель неминуемая: двенадцать галер — их уже теперь можно было различить — на всех парусах, надуваемых ровным утренним ветерком, летели по направлению к казацкой, бывшей Алкана-паши, галере. Разве вступить в бой и погибнуть?.. Так жаль этих бедных невольников, молодых, у которых впереди еще много жизни, которых ждет родина, милые сердцу... И затем ли все было так счастливо совершено, чтоб теперь, и именно теперь, погибнуть?.. Холод проник в душу старого гетмана.

— Сам вижу, что галеры, — тихо, в глубоком раздумье, сказал он.

Потурнак встал. Глаза его светились.

— Батьку! — сказал он, взяв гетмана за руку. — Добре ты учини, половину казаков в оковы к опачинам посади, в невольническое лохмотье наряди, а другую половину в дорогое турецкое платье одень; турки и будут думать, что это Алкан-паша на своей галере по морю гуляет. А я уж знаю, как их от нашей галеры отогнать да в Царьград направишь.

Едва только половина казаков успела вновь превратиться в невольников и усесться на местах, с веслами в руках, как турецкие галеры были уже на расстоянии пушечного выстрела. Грянул выстрел, другой...

Иляш-потурнак, схватив белый турецкий флаг — завивало — быстро взмохнул на чердак и стал махать этим завивалом. Выстрелы тотчас же смолкли.

— Нет бога, кроме бога, и Магомет пророк его, — закричал потурнак «раз-то по-грецки», как говорит дума, — не стреляйте, ради аллаха, правоверные! Не будите моего господина, пресветлое солнце Трапезонта: он теперь спит, порядком погуляв в Козлове.

Турецкие галеры, услышав это предостережение, повернули

к Козлову и только издали выпалили из двенадцати пушек в честь Алкана-паши, на что казацкая галера отвечала им семью выстрелами — «ясу воздавала».

— Спасибо тебе, брате Иляше, — сказал гетман, обнимая потурнака и провожая глазами удалявшиеся галеры, — теперь я тебя буду за родного брата почитать.

На глазах потурнака выступила слеза, но он ничего не сказал; он чувствовал, что последней услугой казакам он купил многое, но ужасное прошлое все еще стояло у него за спиною, и никакими молитвами он не мог замолить его ни перед богом, ни перед Украиной.

Казаки снова собрались на палубе. Многие из них радостно крестились.

— Хвалим тя, господи, благодарим! — торжественно воскликнул гетман. — Был я пятьдесят четыре года в неволе, а теперь не даст ли бог хоть час пожить на воле!-

Казаки молились и плакали, работая на веслах. Галера их неслась птицею, все более и более удаляясь от постылой, проклятой земли турецкой. Вот уже она совсем утонула в море. А там, казалось, синеватою дымкою выступала из воды земля христианская, дорогая Украина.

Нет, далеко еще была милая Украина: из воды выступал туманный остров Тендра.

## XXIII

С островом Тендра, как и со всем побережьем Крыма, соединены исторические и поэтические воспоминания самой глубокой, мифологической древности. Это был самый дальний предел мира, куда только достигало пламенное воображение классического грека или куда могли пробираться только такие полумифические личности, полубоги и полулюди, как Ахиллес и Одиссей. На возвышенном месте, у конца Тендры, стоял некогда храм, окруженный священной рощею Гекаты, а недалеко от этой рощи находилось ристалище Ахиллесово — «дромос Ахиллеос», где этот герой древности скакал на своих диких конях, готовясь к нечеловеческим подвигам. Роща Гекаты и до сих пор зеленеет, шелестом листьев навевая воспоминания о седой, невозвратной классической старине и ее чарующей поэзии.

Ничего этого не знали и ни о чем подобном не вспоминали казаки, подъезжая к этому поэтическому острову; они вспо-

минали только о своей поэтической Украине, о ее рощах — «гаях зелененьких».

Но что это темнеется около острова Тендра? Не то гуси плавают стадами, не то лебеди. Нет, не гуси то и не лебеди.

Недалеко от рощи Гекаты, вдоль всего берега, словно заснувшие на воде утки, чернеются казацкие чайки, а среди них, подобно огромным птицам-бабам, или бакланам, высятся галеры, отнятые казаками у турок как около Кафы, так и в Синопе, и среди открытого моря. Это — флотилия Сагайдачного, возвращающаяся из своего далекого и славного подвигами похода — в землю христианскую, на тихие воды, на ясные зори.

По берегу бежит курчавенькая черноглазенькая татарочка и с веселым лепетом собирает красивенькие камушки и раковинки. Тут же сидят казаки, курят люльки и любуются своею дивчинкою. Олексий Попович не спускал с нее глаз, боясь, чтобы она не упала в воду. Хома, смастерив из камыша нечто вроде ветряной мельницы, дул на нее в отверстие пустой камышинки, необыкновенно раздувая свои красные и без того раздутые щеки, и мельничка вертелась.

Несколько в стороне, на том самом месте, где находилось когда-то знаменитое «дромос Ахиллеос», три острожские товарища — веселый сероглазый Грицко и черномазый Юхим, некогда возившие на себе в чертопхайке патера Загайлу, и острожский друкарь Федор Безридний — пробовали добытые в походе самопалы и стреляли в цель. Мишенью служила старая шапка, вздетая на воткнутое в землю копьё. Все они одеты были в дорогое турецкое платье и увешаны оружием. Федор Безридний уже не смотрел робким друкарем: он пополнел, загорел, превратившись в боевого казака, в «лицаря», что и доказал своею беззаветною храбростью в походе, так что сам Сагайдачный обратил на него внимание и отличал перед прочими казаками. У бывшего друкаря был теперь свой собственный джура — оруженосец, в которые охотно пошел один из молодых невольников, родом москаль, спасенный друкарем в Синопе от турецкой сабли.

Джура стоял недалеко от мишени и наблюдал за выстрелами. Первым выстрелил Грицко.

— Попал? — спросил он, когда рассеялся дымок.

— Нету, мимо, — отвечал джура.

Выстрелил Юхим и схватился за щеку: ружье, заряженное не в меру, отдало.



— Ой, аспидное!.. Попал?

— Попал, да не туда — пальцем в небо.

— Попал себе в лоб, — усмехнулся Грицко.

Прицелился и Федор Безридный. Последовал глухой удар. Шапка повалилась вместе с копьём.

— А что, джуро?

— Попал, как пить дал, — радостно отозвался джура, — в самую точку угодил.

Между тем у самого мыса острова Тендра, в хвосте казацкой флотилии, стояла большая, отнятая казаками на море турецкая галера, которая на этот раз исполняла варттовую, или сторожевую, службу. На верхнем ее чердаке стоял пожилой казак, с загорелым открытым лицом, и, оттенив ладонью глаза, смотрел пристально вдаль. Это был один из куренных атаманов, веселый казак Семен, по прозвищу Скалозуб, названный так потому, что на его добродушном лице при малейшей улыбке, словно перламутры, сверкали из-под густых усов белые зубы. Семен Скалозуб почесал у себя за ухом, оглядел кругом море, снова оттенил глаза ладонью и тихонько свистнул.

На свист его оглянулись другие казаки, которые, сидя в «холодку», под пологом, развлекались невинною игрою — плевали в море: тот, кто дальше всех плевал, драл за чуб того, кто плевал всех ближе.

— Эй, панове молодцы! — окликнул их Семен Скалозуб.

— Агов! — отозвались казаки.

— А поглядите, панове, не галера то?

Казаки повскакивали с мест и бросились на чердак.

— Да, галера, пане отамане, — отозвался вскоре тот из них, который недавно передрал за чуб почти всех своих товарищей.

— Да галера ж, да еще и разрисованная, — подтвердили другие.

— Я и сам вижу, что галера, — согласился Скалозуб, — а что она такое есть галера, не то она блудит, не то светом нудит?

— А бог его знает, — отвечали казаки.

— Так вы, хлопцы, — продолжал Скалозуб, — заряжайте пушки, да галеру грозною речью встречайте, гостинца ей дайте.

— Вот те на! — махнул рукою тот, который всех драл за чуб.

— А что? — удивился Скалозуб.

— Что! Верно, ты, батьку отамане, сам боишься и нас, Козаков, срамишь: сия галера ни блудит, ни светом нудит.

Скалозуб посмотрел на него еще с большим удивлением.

— Так какая же галера?

— Да это, может, давний бедный невольник из неволи убегает.

— Невольник? На такой галере?

— Да невольник же.

— Ты почему знаешь?

— Коли б не знал, не говорил.

— Овва!

— Турки б не полезли прямо вам в глаза.

Но осторожный Скалозуб не согласился с этим доказательством и велел зарядить пушки.

Казаки должны были повиноваться, тем более, что неизвестная галера быстро приближалась к сторожевому посту. Грянуло разом несколько пушечных выстрелов. Быстро приближавшаяся галера дрогнула всем корпусом и остановилась: выстрелы с сторожевой галеры пробили три доски у самой воды. Послышались крики с пробитой галеры. Какой-то старик, с седою по пояс бородою, в турецком одеянии, появился на чердаке. В руках его трепалось красное «хрещате», истрепанное казацкое знамя. Старик махал им в воздухе и кланялся. До сторожевой галеры отчетливо доносились слова, сказанные чистою казацкою речью.

— Ой козаки, панове молодцы! — звучал старческий сильный голос. — Се есть не турецкая галера, а се есть давний бедный невольник, Кишка Самойло, из неволи убегает.

— Кишка Самойло! — воскликнул Семен Скалозуб. — Господи!

— Он, панове, с казаками, — отвечал старик, махая казацкою хоругвью, — был пятьдесят четыре года в неволе, а теперь не даст ли бог хоть час погулять на воле!

— Тонем! Тонем! — раздавались отчаянные голоса, покрывавшие слова Кишки.

— Спускай лодки! Рятуйте бедных невольников, детки! — крикнул Скалозуб.

Казаки, скидая торопливо шапки и крестясь, стремглав бросились в лодки и в несколько ударов весел успели подлететь к медленно потопавшей галере. Слышно было, как вода, клокочущая фонтанами, врывалась в ее пробоины, и галера, скрипя и покачиваясь, осаживалась все глубже и глубже.

Казаки зацепили ее баграми, бросили на борт канаты,

которые были схвачены потопавшими невольниками, и общими усилиями потащили галеру к берегу.

Между тем к этому месту берега, привлеченное выстрелами и суматохою около сторожевой галеры, высыпало все казачество. Узнав, в чем дело, увидав, что это убегают из турецкой неволи бедные невольники и что с ними находится давно пропавший без вести старый батько Кишка Самойло, казаки радостно бросали вверх шапки, а другие стреляли в воздух из мушкетов, салютуя спасшимся товарищам.

Пришел и Сагайдачный с старшиною. Увидав Кишку Самойла, они невольно остановились: седая голова старого гетмана припала к земле, которую он целовал, обливая слезами.

Когда он поднялся, Сагайдачный, приблизясь к нему, поклонился в ноги и с глубоким чувством проговорил:

— Здоров будь, здоров будь, Кишка Самойло, гетман запорожский! Не загинул еси в неволе, не загнинешь с нами, козаками, на воле!

Один Иляш-потурнак стоял в стороне, как отверженный, боясь приблизиться к бывшим своим товарищам и землякам.

#### XXIV

Последняя стоянка казаков на острове Тендра вызывалась серьезными стратегическими соображениями. Казачьей флотилии, достаточно погулявшей по Черному морю и оставившей после себя кровавые следы как в Крыму, так и в Малой Азии, в Анатолии, предстояло теперь возвращаться восвояси, к Днепру-Славуте, на тихие воды, на ясные зори. А это нелегко было сделать: вход в Днепр сторожили такие грозные турецкие крепости, как Очаков и Кызыкермен. Если казаки, выступая в поход, успели благополучно пробраться мимо этих твердынь, так это потому, что тогда их турки не ждали. Теперь же, после того как казаки «до фундаменту опровергли» Кафу и Синоп, взяли с бою в открытом море несколько галер и мушкетным дымом окурили самые предместья Стамбула, после того как они навели ужас на все побережье Черного моря и испуганный султан думал уже бежать из своей столицы на азиатский берег своих босфорских палестин,— после этого казаки должны были знать, что возвращения их в Днепр турки ждут, и ждут не с пустыми руками.

Теперь казакам предстояло пробиваться сквозь убийственный огонь турецких батарей Очакова и Кызыкермена и,

кроме того, выдержать, может быть, атаку целой турецкой флотилии в устьях Днепра.

Старая голова Сагайдачного все это сообразила, взвесила и пришла к решению: «У шори убрать проклятих яничар» — провести, обмануть, на сивой кобыле объехать.

При входе в Днепр, параллельно острову Тендра тянется длинная коса, ныне Кинбурнская, против оконечности которой, по ту сторону Днепровского лимана, стоит Очаков. Коса эта тогда называлась Прогноем.

Сагайдачный порешил: после роздыха на Тендре всю легкую казацкую флотилию, то есть все чайки, волоком перетаскать через Прогнойскую косу и таким образом неожиданно-негаданно очутиться в Днепре на несколько верст выше Очакова. Казацкой воловьей силы на это хватило бы.

Так как взятых в плен турецких галер, нагруженных всякою добычею, по их массивности нельзя было перетаскать волоком через Прогнои, то Небаба, Дженджелий и Семен Скалозуб с частью казаков должны были на этих галерах пробиться мимо Очакова и, если нужно, сквозь турецкие галеры, памятуя при этом, что, едва лишь казаки вступят в бой с турками, и с той и с другой стороны заговорят пушки,— Сагайдачный с своею флотилиею, как снег на голову, ударит туркам в тыл и покажет им, как козам рога правят.

— Это, значит, тертого хрену,— моргнул усом Небаба, выслушав план «козацкого батька».

— Себто, як кажуть, нате і мш глек на капусту,— усмехнулся Мазепа Стецко.

В первую же ночь стоянки у острова Тендры казацкая флотилия подошла к Прогнойской косе, и тотчас же началось перетаскивание чаек в Днепр. Делалось это «с крайнею осторожностью и при необыкновенной тишине. Сначала отправлено было несколько опытных казаков для осмотра наиболее удобного перевала и для достоверения в том, что по ту сторону косы берег Днепра свободен от неприятеля. Карпо Колокузни, который распоряжался этим осмотром местности, скоро воротился с своими товарищами и доложил старшине, что перетаскиваться можно безопасно.

Работа закипела быстро. И казаки, и бывшие невольники, и старшина — все участвовали в этой дружной войсковой работе. Героем этой ночи был глуповатый, но необыкновенно способный к этому делу силач Хома: он таскал чайки по песчаной косе с такою легкостью, словно бы это

были салазки, скользившие по укатанному снегу. Более всех дивился этой силище болтливый орлянин.

— Уж и богатырина же, братцы, Фома ваш,— шептал он, качая головой,— такой богатырина, что ни в сказке сказать, ни пером написать... Уж и диво же дивье!.. Сказать бы, Илья Муромец — так и то в пору будет... Ишь его прет, инда писком пищит посудина-то!

Еще утро не занималось, а все чайки были уже на той стороне косы, размещенные вдоль берега и уткнутые в камыши, словно утки. Все казаки были на своих местах, по чайкам, и гребцы сидели у уключин, держа весла наготове.

Ночной мрак окутывал и Днепр, и противоположный его берег, где, несколько ниже, расположен был Очаков. С этой стороны доносился иногда собачий лай, да в камышах крикали по временам проснувшиеся утки. К утру в траве задергали коростели, да иногда высвистывала знакомая казакам ночная птичка овчарик.

«Где-то Небаба с галерами? — думалось каждому.— Успеет ли он вместе с своими товарищами, с Дженджелием и Семеном Скалозубом, пробраться мимо крепости?.. Ему не привыкать стать обманывать и турок, и татар. Говорят, он характерник: шукою иногда перекидывался и на дне Днепра карасей себе ловил на завтрак. А по ночам он пугачем обертывался и за ночь успевал из Сечи долетать до Кафы и до Козлова и там стонал на высоких минаретах, чтоб бедные невольники могли его услышать и догадаться, что это пугач прилетел к ним с Украины и принес весточку о далекой родной стороне. Вот если б и теперь он сам перекинулся окунем либо шукою, и галеры бы свои рыбами поделал, да и проплыл бы под водою мимо Очакова!..»

Вдруг что-то глухо стукнуло и покатилося; отзывчивое, такое же глухое эхо отстукнуло в камышах. Это пушка. Вот еще грохнуло, и еще, и еще...

Что-то черное мелькнуло над ним самим и заставило его невольно закрыть глаза. Открыв их снова, он увидел, что на груди у него сидит ворон. Он пробирается к его глазам... Глаза человека и глаза ворона встретились... Как ошпаренный, ворон взмахнул крыльями и шарахнулся в сторону... Испугался!.. Его еще боятся вороны...

Что же случилось? Зачем он лежит тут? Кто его бросил? Кто бросил всех этих?..

Солнце косыми лучами бьет ему в глаза... Больно глазам... Он закрывает их и старается припомнить что-то...

Что-то зашуршало травой у самой его головы... Он от-

крывает глаза — опять голубое небо!.. Куда от него спрятаться!.. Но тут что-то шевелится над головой... Он всматривается: это зеленая ящерица своими цепкими лапками взобралась на стебель сухого чернобыльника и глядит на него черненькими глазками... «Ох-ох!» — и ящерица юркнула в траву.

— Где же море? Где Днепр? Куда девались чайки, казаки?

Вспомнил!.. Не доезжая Кызыкермена, они увидели на берегу табун оседланных коней... Это были татары, возвратившиеся из Украины: они пустили стреноженных коней, а сами улеглись спать. Отряд казаков вышел на берег из чаек и захватил этот табун... И на долю Федора Безридного досталось два добрых коня... Потом напали на спящих татар, побили их, — и он, Безридный, бил их... И там, так же, как здесь казаки, лежат порубанные татары и смотрят на голубое небо...

Вспомнилось дальше, да такое странное, непонятное: за Кызыкерменом на них напали другие татары — много их, как саранча... Гудят, воют, аллалакают... Обступили и его, Федора Безридного... А дальше он опять ничего не помнит: должно быть, его убили... Отчего ж он еще не на том свете? Так это, значит, душа его еще ходит по мытарствам — сорок дней ей ходить... Зачем же она не ходит по знакомым, по родным местам? Зачем она не на Украине, а на этом чужом поле, усеянном мертвецами?..

А кто это идет по полю и ведет двух коней в поводу? Что, кого он ищет? Ходит между мертвецами, нагибается к ним, рассматривает, качает головой... Вороны испуганно снимаются с мертвецов и разлетаются по сторонам...

Кто же это такой?.. Да никак джура Ярема, молодой синопский невольник из москалей, из Ельца? Да, это он, и у него в поводу его, Федоровы, кони, что он захватил за Кызыкерменом... Он силится крикнуть, позвать джуру, но только стонет, да так слабо, глухо, а в груди, кажется, все обрывается, и душа вылетает из тела... Глаза сами собой закатываются под лоб и ничего больше не видят: ни джуры с конями, ни голубого неба, ни склоняющегося к закату солнца...

Когда он открыл глаза, то увидел, что джура стоит над ним на коленях и плачет.

— Это ты, джура Ярема?

— Я, паночку милый.

— Я убит, джура?

— Нет, не убили тебя, а только поранили, паночку милый. Раненый опять закрыл глаза. Джура взял висевшую на плече фляжку и тихо влил красной жидкости в открытый, с запекшимися губами, рот казака. Мертвенное лицо раненого как бы оживилось, и глаза взглянули осмысленнее.

— Дай еще, джуроньку,— прошептал он.

Джура исполнил его просьбу, влил несколько капель в рот умирающего.

— Все побиты?

— Все, паночку милый, один я убежал.

— А где те, что в чайках?

— Они, полагать надоть, плывут благополучно Днепром... Этот проклятый Кызыкермен проплыли по вашей милости, а вы вот, паночку, на поди... помираете за них.

Раненый помолчал немного, закрыв глаза и тихо шевеля губами. Джура отвел волосы от его лба.

— Жарко мне... печет меня,— прошептал раненый.

Джура, отломив от ближайшего кустика калиновую веточку, стал махать ею над лицом умирающего. Тот опять открыл глаза. Они упали на оружие, которое валялось тут же,— на саблю и мушкет.

— Кому-то мое добро достанется? — тихо вздохнул он.

Джура молчал. Вороны продолжали каркать, трапезуя на более отдаленных трупах.

— Джуро Яремо! — снова прошептал раненый.— Возьми мое добро... Дарую тебе, джуро, по смерти моей и вороного коня, и того другого, белогривого, и тягеля червонные, от пол до ворота золотом шитые, и саблю булатную, и пицаль семипядную...

Он остановился, чтобы перевести дух. Джура продолжал по-прежнему молчать, только слезы тихо катились по его худым загорелым в неволе щекам.

— Не плачь, джуро! — как бы оживился немного умирающий.— Садись ты на коня, подвяжи саблю: пусть я посмотрю, какой из тебя будет козак.

Джура молча опоясался саблей, перевесил через плечо мушкет, вскочил на коня и тихо проехался между трупами.

Когда он воротился к умирающему, тот тихо, но горько плакал.

— Благодарю тебя, господа милосердного,— шептал он,— что доброму человеку мое добро достанется: будет кому за меня бога молить.

И он снова закрыл глаза от крайнего истощения. Тихо кругом.

Но что это за шум?.. Отдаленный гул несется от Днепра — не то гусиный или лебединый крик, не то эхо многих человеческих голосов.

Лицо умирающего судорожно передернулось, и все тело как бы вытянулось. Он открыл глаза и напряженно прислушивался: далекий гул, казалось, приближался.

— Джуро Яremo, слышишь?

— Слышу, паночку милый.

— А что оно такое?

— Не знаю, паночку: може, лебеди кричат, може, казаки шумят.

Раненый силился поднять голову, но она опять бессильно падала на землю.

— Джуро Яremo! Садись на коня, да ступай ты понад тем лугом да понад Днепром-Славутою, посмотри, что там такое.

Джура перекрестился, вскочил на коня и, взяв другого коня в повод, поскакал по направлению к Днепру.

Умирающий остался один. Слух его жадно ловил далекий, неясный гул, но воронье карканье раздавалось все назойливее и назойливее, оглашая собою все поле...

И ему опять вспомнился старый город, зеленые сады, журчащая и обмывающая старые корни тополя Горынь, мрачная с закоптелыми стенами типография — литеры, все литеры, без конца литеры, — из них казак Карпо льет пули на татар и турок... Много он уложил этими литерными пулями... А какая пуля уложила его самого, Федора Безридного, бедного когда-то друкаря, а теперь славного казака «лицаря». Славного!.. Вон где эта слава: эта слава дымом стала, мушкетным дымом, что вылетает из мушкета и мигом исчезает... А это синее бесконечное море, Кафа, огонь, треск, гул и вопли, маленькая татарочка. Синоп в огне... А Катря, добрая, ласковая Катря... В самую глубь души глядят ее черные, как мушкетное дуло, очи... Эти очи убили его... ради них он пошел в казаки — «слави, лицарства» добывать... Вот и добыл...

Джура между тем, прискакав к Днепру, увидел, что это действительно плывут казаки. Черные и разрисованные кое-где чайки укрыли собою всю реку. Впереди плыли разукрашенные турецкие галеры, точно гордые лебеди впереди стада серых уток... Чудная была картина! Казаки в их разноцветных, большею частью турецких одеяниях и в шапках всевозможных, большею частью красных цветов, пестрели и били в глаза, как нива цветущего мака, перемешанного



с гвоздиком и васильками. На галерах реяли флаги. На оружии играло заходящее солнце.

Джура, остановившись на пригорке и вздев шапку на копье, стал махать им, кланяться. Казаки заметили его и стали поворачивать чайки к берегу.

— Да то козак,— слышались голоса с чаек.

— Нет, не козак.

— Козак!

— Вот тебе раз! Тут, может, и сам нечистый козаком нарядился!

— Да козак же!

— Эге! Козак — только чуб не так!

— Да это ж москаль Ярема, джура...

— Да джура же и есть!..

Несколько чаек пристало к берегу. Прибыл на большой галере и Сагайдачный с войсковою старшиною. Все догадывались, что это вестник от отряда, посланного в обход и тыл к Кызыкермену. Но где же самый отряд? И почему вестником от него явился простой джура, даже не казак, а пленный москаль, и притом не в своем одеянии? Не случилось ли беды какой с отрядом?

Сагайдачный вместе с другими казаками вышел на берег. Джура сошел с коня и кланялся еще ниже. Выражение лица его выдавало сильное беспокойство.

— Джура Яremo! — сказал Сагайдачный, пытливо глядя в глаза прибывшему. — Это ты не со своими конями гуляешь и тягели червонные, от пол до ворота золотом шитые, не свои носишь, не своею саблею булатною и пицалью семипядною владеешь. Верно, ты своего пана убил?

Москаль порывисто тряхнул волосами.

— Нет, батюшка господин кошевой, атаман войсковый! — заговорил он торопливо. — Я своего пана не убил и не истребил — ни боже мой! — и молодой души не губил... Это на меня затея, напраслина — видит бог! Мой пан лежит там, на лугу, в поле, простреленный, посеченный острыми саблями — татары его зашибли смертно... Помирает он ноне... Я прошу вашу милость Христом-богом — прикажите вашим молодцам на луг идти и моего господина и других казаков честно похоронить.

— И других Козаков? — спросил Сагайдачный.

— Так точно, ваша милость. Всех татары посекали... Всех, ваша милость, зашибли, всех до единого, окаянные.

Скоро казаки были уже на поле, на котором лежали их побитые товарищи... И на Федоре Безридном сидел уже

ворон и подбирался к его глазам: глаза эти продолжали смотреть на то же голубое небо, но уже не видели его...

Быстро казаки выкопали могилы своим павшим товарищам; копали суходол саблями, а шапками и приполами землю выносили из глубоких ям...

Федора Безридного, как общего любимца, накрыли червонною китайкою и на могиле, в головах, вместо креста копьё его боевое воткнули, а к копыю привязали белую хусточку — платок. Всем остальным павшим товарищам честь отдали продолжительною стрельбою из мушкетов.

Во время стрельбы из-за горы показались знамена и всадники, а затем целые отряды. Это были польские отряды, которые, под начальством князя Вишневецкого и других панов, гнались за опустошавшими Украину татарскими загонами. От них-то и убегали с богатою добычею те татары, которые на пути встретили небольшой отряд казаков, посланных Сагайдачным в обход и в тыл Кызыкермену, и всех их перебили. Тут погиб и Федор Безридный.

В этих польских хоругвях находился и молодой господарич Петр Могила. В отчаянной гонке за татарами он никак не мог забыть плачущих глаз Сони Кисель, которые теперь для него отождествлялись с глазами навсегда им потерянной панны Людвиси Острожской... «Они, эти плачущие, по-детски невинные глаза, послали нас спасать Украину», — думалось ему, и личное его горе как бы стихало, и сердце менее ныло о невозвратимой утрате...

## Х Х V

Мы опять в Запорожской Сечи.

Вот уже третий день гуляют казаки, шумно празднуя свое возвращение с моря и поминая погибших в походе товарищей. Весь остров, окрестности его и Днепр стонут веселыми или буйными криками молодцев, в разных концах раздаются разноголосые песни, гудят, скрипят и визжат бандуры, дудки и скрипки. То там, то здесь гремят мушкетные выстрелы в честь павших, выкрикиваются их имена, потрясаются в воздухе турецкие волосатые бунчуки, захваченные при разорении турецких городов, сверкают обнаженные сабли, неведомо кому грозящие, летят в воздух казачьи шапки. На самой середине сечевой площади, на солнечном припеке, насунув шапки на самые глаза, друг против дружки выплясывают гопака старый Небаба с погас-

шею в зубах трубкою и такой же старый, если не более, сивоусый Нечай, завернувший полы кунтуша за пояс, чтоб они не мешали ему выделять старыми ногами невообразимые выкрутасы. С обоих стариков пот льется ручьями, а они постоянно покрикивают на слепого бандуриста, на деда Опанасовича, десятки лет томившегося в неволе в Кафе, а теперь воротившегося умирать на родину: «Еще ушкварь, деду, еще ушкварь! Чтоб горело!»

Не видно было только Сагайдачного и писаря\* Стецка Мазепы. Да еще одного доброго казака недоставало — Олексия Поповича.

Сагайдачный и Мазепа сидели в то время в курене за столом и писали смертный приговор Олексию Поповичу, который содержался под караулом в холодной — в земляной тюрьме, освещаемой сверху в небольшое отверстие. Он сидел на соломе, подперши голову руками, а около него, играя и шурша соломой, возилась маленькая татарочка и что-то лепетала по-своему.

Что же случилось, что Олексия Поповичу пишут смертный приговор?

А случилось вот какое несчастье. По возвращении из похода, как сказано выше, казаки загуляли. Шибко загулял и Олексий Попович, который всегда был мастер по части выпивки. В пьяном виде вполне сказалась и его задорливая, несмотря на мягкость сердца, натура, он то целовался с казаками, то насккивал на них с кулаками и даже с саблей. Зная эту слабость Поповича, товарищи еще более подзадоривали его. А тут выискался отличный повод дразнить буяна: поводом этим была маленькая татарочка, в которой Олексий Попович души не чаял. Казаки вдруг вздумали доказывать, что татарочка не может оставаться в Сечи, что она — женщина, дивчина, а женщины, по запорожскому обычному закону, так же не допускались в Сечь, как и в алтарь. Чтобы рассердить Поповича, они грозили ему изгнанием татарочки, а то так и его вместе с нею. В виду всего этого Олексий Попович совсем взбесился. Он начал ругать казаков, запорожские обычаи и всю старшину; говорил, что сам уйдет из этого проклятого гнезда и передастся «москалям», да в отместку казакам наведет на них «москалей» и ляхов. Когда ему сказали, что его велит усмирить батько, он и батька начал ругать, обзывал его старой собакой, говорил, что не он, не Сагайдачный, и Кафу-то взял и что она взята его, Олексия Поповича, ловкостью, да прежним знакомством со старым кобзарем, слепым Опанасовичем. Мало того, в слепом ис-

ступлении он бросался на казаков и рубил их саблей. А когда, в виду этой суматохи, Сагайдачный вышел из куреня с булавою, чтоб усмирить буянов, Олексий Попович кинулся на гетмана с ругательствами, вышиб из его рук булаву и, сбив с головы его шанку, стал таскать старика за чуб...

При виде этого зрелища казаки рассвирепели и хотели было тут же растерзать дерзкого, но Сагайдачный остановил их, отдав виновного на суд войска. Войско единогласно приговорило: Олексия Поповича «скарать горлом — забить киями до смерти»...

Вот теперь он и сидит в холодной в ожидании смерти. Невеселы его думы. В такие моменты слишком многое вспоминается — вспоминается все, вся жизнь, все ее наиболее яркие моменты, и светлые и мрачные, и дорогие до боли и до боли безотрадные, которые хотелось бы забыть, вытравить из памяти... да они не вытравляются, а так и гвоздят душу, холодят сердце...

Шум за дверкою холодной и звяканье ключей. Дверь открывается, и показываются казаки с обнаженными саблями, а с ними писарь Мазепа с бумагою в руке.

— Пора, Олексию, до кола козацкого, — сказал он хрипло, — молись в последний раз милосердному богу.

Олексий Попович встал и молча опустил на колени. Недолго была его молитва; он перекрестился, положил несколько поклонов и выпрямился, не говоря ни слова. Но тут глаза его упали на татарочку, которая прижалась к нему, обхватив его ногу... Он приподнял ее, поглядел в ее светлые глазки, перекрестил и поцеловал.

— Отдайте ее моей матери в Пирытин, — сказал он Мазепе и поставил девочку на землю.

Мазепа сделал знак одному казаку, чтобы он увел ребенка. Девочка с плачем была вынесена из холодной. За нею вышел и Олексий Попович в сопровождении конвоя. Он не протестовал, не жаловался — он знал казацкие порядки.

Осужденного повели через бушующую сечевую площадь; перед ним и за ним шли казаки с обнаженными саблями. Попович шел бледный, с потупленною головою. При виде осужденного бушующее море казаков разом стихло. Умолкли бандуры, скрипки, «сотлки». Все лица сделались серьезными.

В конце площади, ближе к сечевым воротам, стоял толстый брус, врытый в землю. На высоте около трех аршин от земли в столб вбиты были два железные кольца. Около столба, несколько в стороне, стоял огромный чан, он был на-

полнен водкою — оковитою. В чане на тонкой цепочке плавал деревянный ковш — коряк, огромная с ручкою чара, грубо выделанная из корня березы. Тут же, около чана, наваленные кучею, лежали кии — казацкие орудия публичной казни.

По временам глаза осужденного останавливались на товарищах, как бы ища ответ на последний тревоживший его вопрос или спрашивая: «Что ж это такое?.. За что же? Неужели же это в самом деле?» Но глаза казаков избегали встречи с глазами несчастного товарища, укоризненно смотрели на других, как бы говоря: «Кто ж это сделал? Кто велел губить человека?» В иных глазах искрились слезы. Слышалось учащенное, тяжелое дыхание толпы, вырвались глубокие вздохи.

Осужденный глянул на небо, на солнце, которое ударило ему в глаза, и опять потупился.

Поповича подвели к столбу. Он остановился и еще раз глянул вокруг себя. Всем, казалось, было невыносимо тяжело... «Кто ж это его хочет убить? Кто этот злодей?» — виднелось на пасмурных лицах казаков, и в глазах их искрился стыд, стыд и стыд...

Мазепа развернул бумагу и стал читать, но его никто, казалось, не слышал, — каждый думал о чем-то своем, далеком и близком... И Олексий Попович думал... «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», — вспомнилось ему, как он читал по покойном отце...

— «...скарать горлом — забить киями до смертѣ», — явно слышалось чтение писаря Мазепы.

Чтение кончилось. Два казака из чужого куреня подошли к осужденному и двумя сыромятными ремнями обвили ему кисти рук. Олексий Попович сам повернулся к смертному столбу и поднял руки к железным кольцам, но тотчас же опустил их...

— Я не собака, — мрачно сказал он.

Порывисто разорвав ворот у рубахи, он снял с шеи крест, перекрестился и поцеловал его. За ним перекрестились все казаки.

Осужденный искал кого-то глазами... Глаза остановились на Небабе... Небаба подошел...

— Что, Олексичку? — тихо спросил он.

Осужденный подал ему свой крест.

— Наденьте на дытыну, на татарочку, — глухо произнес он.

Потом он снова повернулся к столбу и поднял руки к кольцам.

— Теперь бейте! — были его последние слова.

Ремни продели в кольца и завязали. Лица осужденного уже не видно было, а виднелась только широкая спина, затылок, шея и широко расставленные ноги.

— Данило Гнучий, первый кий! — громко сказал писарь.

От казаков отделился широкоплечий, черномазый, неповоротливый козарлюга, медленно подошел к чану с око-витой, медленно перекрестился, зачерпнул полный ковш водки, выпил его, крикнул, утер рукавом усы, взял из кучи один кий и подошел к осужденному.

— Прощай, Олексию! — громко сказал он и, широко размахнувшись в воздухе, ударил кием по спине осужденного, который дрогнул и крепко сжал кулаки.

— Карпо Вареник, другой кий! — продолжал Мазепа.

И Вареник подходил к чану, выпивал, перекрестившись, ковш водки, брал кий и возглашал:

— Прощай, брате Олексиечку! Не я бью — войско Запорожское бьет!

И опять взвился в воздухе кий, и опять раздался глухой удар.

— Костя Долотоносенко, третий кий!

И вновь то же питье и кий в руках.

— Прости, душа козачья! Прости, братику!

— Дорош Лизогуб, четвертый кий!

— Молись, Олексиечку! Молись, друже!

Пятый кий, десятый, двадцатый... Хоть бы крик, хоть бы стон у столба.

Только руки все более и более вытягиваются и натягивают ремни... Сжатые кулаки разгибаются... Широко расставленные ноги подкашиваются... Тело уже не вздрагивает...

— Пропал козак! — слышится в толпе.

А из куреня доносится детский плач: то плачет татарочка.

## XXVI

Никогда еще, с тех пор как стоит и цветет Украина, Киев не видел такой торжественной встречи, какой удостоился Сагайдачный с казаками по возвращении из морского похода.

Весь Киев высыпал на берег Днепра к тому месту, где пристало Запорожское войско, подплывшее к городу на своих победоносных чайках. Весь покатый берег, подъем в гору, ближайшие улицы, ведущие к Софийскому собору, все

крыши домов — все было усеяно народом, пестревшим, как весеннее поле, всевозможными яркими цветами своих нарядов. Духовенство всех церквей, монахи и монахини всех монастырей, члены всевозможных цехов, «братчики», «спудеI», или «скубенти», братской школы вышли навстречу «славному рицарству» с хоругвями, иконами, крестами и значками различных цеховых обществ. Во всех церквях торжественно звонили колокола.

Когда Сагайдачный, с гетманскою булавою в руке и сопровождаемый старшиною, ступил на берег под невообразимый гул мушкетных и пушечных выстрелов со всех чаек, к гетману подведен был великолепный, белой масти, арабский жеребец под роскошным, расшитым золотом и шелками чепраком. Сагайдачный ловко вступил своим красным сафьяновым сапогом в позолоченное стремя и в один миг очутился в седле, словно вросший в своего коня. За ним выступили хорунжие с войсковыми знаменами и турецкими и татарскими бунчуками, добытыми в походе. Казаки смыкались в ряды, по куреням, и шли в гору за гетманом, предшествуемые куренными атаманами и знаменами. Войско представляло такое зрелище, которое невольно поражало самый привычный глаз. Дорогие турецкие одеяния, добытые в Кафе, Синопе и на взятых турецких галерах и вздетые теперь казаками на свои молодецкие плечи; казацкие и польские кунтуши с длинными откидными рукавами и вылетами, подбитыми самых ярких цветов матернею — алтебасами, златоглавами, атласами, адамашками; шапки с красными верхами и всяких цветов смушками — белыми, черными, сивыми; дорогие турецкие и широчайшие казацкие, тоже всех цветов радуги, шаровары; цветные, большею частью красные, зеленые и желтые сафьянные и юхтовые сапоги; всевозможное оружие, которым увешан был каждый казак — мушкеты, кинжалы, ятаганы, сабли, — все это горело на солнце, слепило глаза, кричало своей яркостью, картинностью и невообразимым разнообразием. Казаки выступали гордо, молодежато, хотя, по-видимому, с полною небрежностью и с познанием своей полнейшей перед всем миром независимости и полнейшей свободы в поступках, движениях — во всем, во всем!

Старый Небаба шел во главе своего куреня и, улыбаясь чуть заметною улыбкою под седыми усами, косился на великана Хому, у которого на руках, держась правою рукою за его воловьшу шею, сидела татарочка и своими большими южными глазами изумленно поглядывала по сторо-

нам, словно бы ища там своего пестуна и любимца, горемычного Олексия Поповича, молодецкое тело которого давно уже было обглодано до костей днепровскими раками.

Тут же выступал и усатый Карпо Колокузни с своими острожскими товарищами по степным скитаньям — с веселым Грицко и густобровым Юхимом, некогда возившими на себе плетеную чертопхайку с длинновязым патером Загайлою. Недоставало только третьего их товарища, друкаря Федора Безридного, который лежал далеко-далеко на берегу Днепра, почти у самого Кызыкермена. Зато тут же выступал его бывший джура Ерема, который теперь смотрел почти совсем казаком и только желтоватые глаза да жидкоусость выдавали его московскую породу.

За казаками шли освобожденные ими невольники. Они двигались нестройною толпою, как не принадлежавшие к войску, и возбуждали необыкновенное внимание киевлян. Впереди всех невольников, опираясь на палку, шел маститый старец Кишка Самойло. Он глядел и радостными, и в то же время грустными глазами на стоявшие по обеим сторонам их пути пестрые массы киевлян. Все это, что стояло тут и вышло поглядеть на казаков и на возвращенных ими из плена невольников — почти все это успело народиться и вырасти в то время, как Кишка Самойло изнывал в тяжелой турецкой неволе, далеко от родной Украины. Рядом с ним шел такой же маститый старец Иляш-потурнак, глаза которого почти ни разу не взглянули на пестрые толпы киевлян: он не мог забыть свое постыдное прошлое, свое потурчение, свой тяжкий грех перед братьями-невольниками. По другую сторону Кишки Самойла выступали его товарищи по неволе — Марко Рудый, бывший судья войсковой, и Мусий Грач, бывший войсковой трубач. Виднелась и юркая фигурка болтуна орлянина, и донского казака Анисимушки, около которого шла его бледнолицая жена, которая где-то на море, в виду пылающей Кафы, так безумно оплакивала прижитого в неволе сына своего, Халильку-татарчонка.

— Смотрите! Смотрите! — слышалось в толпе зрителей. — Вон запорожец несет на руках какую-то девочку.

— Ах, да какая ж она маленькая, а он такой великан!

— Да это, верно, его дочка, какая хорошенькая!

— Нет, она на него не похожа.

— Овва! Что ж из этого? Без него жена привела.

— Да это полоняночка... бранка... татарочка.

Великан Хома, слыша эти отзывы о своей татарочке, нежно гладил ее по головке, а старый Небаба ворчал в



свои седые усы, что нельзя закурить люльку — близко церковь.

— Ох, Грицю! Пресвятая покровя! — со стоном выкрикнул кто-то в толпе.

Сероглазый Грицко, шедший рядом с своим другом, густобровым Юхимом, вздрогнул, точно обожженный, и тревожно оглянулся на толпу. Там какая-то девушка, сильно загорелая, с длинным посохом и котомкою за плечами, упав на колени, протягивала руки не то к ближайшей церкви, не то к сероглазому Грицку.

Последний порывисто вышел из рядов своего куреня.

— Одарю! Это ты, сердце?

— Я, Грицю, ох!

Запорожец обнял девушку, которая вся прильнула к нему, без слов, и только плакала.

Вдруг позади них раздался чей-то дрогнувший голос:

— А меня не признаешь, дочка?

Девушка отняла свои руки от молодого запорожца, вся залитая жарким румянцем и радостными слезами, искрившимися на загорелых щеках. Перед нею стояла высокая сухая фигура, с ярким серебром в густых понурых усах — не то татарин, не то турок, — такое было на нем чудное, не казачье одеяние.

— Не узнаешь батька? — повторил незнакомец.

Голос этот знаком девушке. И глаза знакомые. Где она их видела? А, вспомнила, вспомнила! Она видела эти глаза еще маленькою дивчинкою, — она лежала в своей колысочке, в люльке, в зыбочке, что висела около постели старой бабуся, и бабуся качала эту колысочку и пела про котика, да про сон, что ходит по улице в белой сорочке. И вот над нею, над маленькою дивчинкою, наклоняется кто-то усатый, да добрый такой и ласковый, и глаза добрые и ласковые. Из этих глаз капнули на нее, на девочку, две слезы... Это был татко, как после уж сказывала бабуся, татко, который, по смерти ее матери, с тоски ушел на Запорожье да там и сгинул...

— Тато! Да это ж вы?

— Я, доню, голубко...

И девушка с криком бросилась на шею незнакомцу.

— Тату! Татуню мой! Да вы ж еще живы!

— Жив, моя душенько, голубко!

— Таточку! Роднесенький! Как тебя бог спас?

— Спас, доненько, голубко, спас бог милосердный да вот этот козак молоденький.

И он указал на сероглазого Грицка, который стоял красный, как рак.

Так это он спас отца своей Одарочки? И перед ним встает та ужасная ночь, когда, подожженная казаками со всех сторон, Кафа горела, как гигантская свеча, багровым заревом освещая и горы, и море на далекое пространство. Среди пожарного гула и треска, среди раздирающих воплей и отчаяния и дикого казацкого говора, криков и проклятий он вдруг отчетливо слышит, как из какого-то подземелья, среди пылающих зданий, до него доносятся возгласы: «Помогай, боже, козакам!.. Помолитесь, братцы, за души бедных невольников! Отнесите от нас поклон на Украину — на тихие воды, на ясные зори, где край веселый, где мир крещеный!» Он оглядывается с удивлением и страхом и видит освещенное заревом пожара оконце в подземелье, а из этого оконца, из-за железной решетки, выглядывают худые, изможденные лица невольников, обросших бородами. «Боже, да это ж козаки!» — «Были когда-то, братику, козаками, а теперь невольники»... И Грицко мигом разбивает тюремную дверь, и оттуда, гремя кандалами, выскакивают узники — целуют его и плачут, целуют и молятся... А Кафа горит, Кафа пылает...

— А как ты попала сюда, доню, из Острога?

— Я, тату, пришла к печерским угодникам молиться за...

— За Грицка? — улыбнулся отец. — А старики еще живы?

— Живеньки еще, и дедусь, и бабуся, слава богу.

Голоса их заглушены были ревом толпы, которая приветствовала Сагайдачного. Недалеко от Софийского собора, на площади у Золотых ворот, казаки встречены были всею местною знатью — польскими панами и русскими. Тут были и князь Януш Острожский, и Иеремия Вишневецкий, и молодой господарич Петр Могила, по-прежнему грустный и задумчивый. Они раньше казаков возвратились из похода, не успев настигнуть ни одного татарского загона. Был тут и патер Загайло, и болтливый пан Будзило, который во время кремлевского сиденья съел своего гайдука без соли; тут же торчала и неуклюжая фигура Мелетия Смотрицкого в огромных чеботищах. Рядом с Иеремиею Вишневецким стоял, опираясь на свой старческий посох, пан Кисель, седая борода которого отливала серебром под лучами яркого утреннего солнца. Тут же была и панна София с своей матерью.

А колокола звонят все громче и громче. Передние ряды

казаков уже поравнялись с Золотыми воротами. Сагайдачный проезжает мимо панов и кланяется им, приветливо сняв шапку с пером. Передние бунчуки также наклоняются в знак отдания чести вельможным панам.

— А каков лайдак этот Сагайдак, яснеосвенцовый ксенже? — лукаво улыбается Острожскому Мелетий Смотрицкий. — Цезарем смотрит!

Острожский ничего не отвечает.

— А верно, в Остроге в школу босиком ходил! — не унижается Мелетий.

У собора Сагайдачный сошел с коня и приложился к иконе.

— Бувайте здоровы, пане Загайло! — окликнул кто-то благочестивого патера.

Удивленный Загайло глянул на ряды казаков. Двое из них вышли из рядов и приблизились к нему: это были Грицко и Юхим.

— Не узнаете нас, пане? — спросил Грицко.

Патер молчал.

— Как, коней своих не узнаете? — продолжал Грицко.

— Да вы на нас ездили, пане, в таратайке, — пояснил Юхим, — теперь мы из коней козаками стали.

— Перекозачились, — засмеялся Грицко, — были кони, да перекозачились.

— Езус, Мария, — только и нашелся изумленный патер.

Под неумолкаемый гул церковных колоколов слышались радостные возгласы приветствий и поздравлений. Знакомые и незнакомые здоровались, обнимались и целовались, как на великдень. Матери обнимали возвратившихся из похода, из неволи сыновей-казаков; жены мужей и братьев; дивчата находили потерянных и давно оплаканных женихов; возвратившиеся из плена батьки не узнавали повзросших из пеленок и рубашонок своих хлопчиков и девочек. Ручьями лились слезы радости; но рядом с ними, у других, по бледным и горестным лицам текли слезы отчаяния; слышались стоны по убиенным и умершим в далекой стороне. «Ох, откуда ж мне тебя, орле сизый, ожидать, с которой стороны тебя, сыночку мой, выглядеть!..»

В числе богомолков, пришедших в Киев из Острога, виднелась бледная похudevшая Катря, покоювка хорошенькой панны Людвиси, княжны Острожской. Она жадно прислушивалась к тому, что рассказывал собравшейся кучке киевлян бывший джура Ерема, и слеза за слезой капали из-под ее длинных ресниц.

— Один я, братцы, в живых остался, а как — и сам не знаю. Как налетели это на нас поганые бесермены — и видимо их невидимо, да и начали крошить наших. А наши молодцы не промах: один Федор Безридный что их уложил!

— О-ох! Мати божя! Панна найсвентша! — застонал кто-то в толпе.

— Только же, братцы, и прорва их, аспидов, навалила. Ну и осилили наших — всех до единого посекали да постреляли.

— А Федора Безридного?

— И Федора постреляли да порубили.

— О-о!..— И кто-то упал в толпе богомол. Это упала смугленькая, как цыганочка, покоювка княжны Острожской... Не ждать ей больше того, кого она ожидала...

## XXVII

Прошло семь лет. За эти семь лет имя Сагайдачного завоевало себе бессмертную славу в истории Украины и Польши. В то же время имя это стало страшным и ненавистным у соседей Украины — в Крыму и Турции.

Не наше дело изображать бурную политическую жизнь героя Украины, как он свято соблюдал союз с Польшею, как спасал ее от турок и крымцев, как, верный своим союзникам-полякам, спасал своего королевича: это дело правдивых историков.

Для нас более симпатична личная жизнь этого сурового «козацкого батька». Жизнь эта была полна поэзии, хотя мало кто знал всю теплоту души и юношескую свежесть чувств этого сивоусого юноши. Знала это только Настя Горовая, шинкарочка молодая, к которой он когда-то явился оборвышем, потом — Ганжою Андыбером, а потом... это уже секрет Насти...

Так прошло, говорим, семь лет со времени возвращения казаков в Киев после разорения Кафы и Синопа. За это время Сагайдачный не раз виделся с Настей, которая уже жила в Киеве, но не в качестве честной вдовы. При этих свиданиях они, вспоминая старое времечко, непременно говорили о бранке Хвесе и оплакивали ее: Хвеса была тем светлым воспоминанием в их жизни, которое не вытравили из их сердца ни годы, ни жизненные бури.

Сагайдачный опять в поле с своими казаками «сіромахами». На Польшу, по злобе на этого же Сагайдачного, султан Осман ведет более чем полумиллионное войско.

Войска сошлись у Хотина. Во главе казаков был все тот же хмурый и молчаливый Сагайдак с Стецком Мазепой и Небабою. И дурненький Хома тут же, и Карпо Колокузни, и Грицко, и Юхим из Острога, и Харько Макитра из Переволочны. Не было только татарочки, которая оставалась у Насти Горовой в качестве приемной дочери.

Во главе польских хоругвей стоял величественный Ходкевич с цветом польского рыцарства.

Каждый день идут стычки, и только ночи дают роздых воинам.

Ночь, августовская ночь, довольно свежая... С севера, с Московщины, холодный ветер гонит по небу серые тучи, которые от времени до времени серебрят молодой, острогордый месяц, то и дело ими заволакиваемый.

Недалеко от берега Днестра пылает костер; вокруг него расположилась кучка казаков.

— Ты что, Хома, задумался? Об чем? — заговорил сероглазый Грицко, кладя красный уголек в свою трубку.

— Тсс! — предостерег товарищей Карпо. — Молчите.

— Что такое?

— Да вон что-то крадется в белом.

— А ну, беги, Хомо, поймай.

— Черта с два! Пускай Харько ловит.

— А в самом деле, что б оно значило, братцы? — серьезно заговорил Карпо, вставая с турьей кожи, которая была разостлана у костра и с которою он не разлучался.

— Да, надо поймать, — согласился и Грицко.

— Может, это бранка убегает от татар.

— А может, та белая бранка, что пролетала над Кафю.

От костра отделились две фигуры и тихо поползли к тому месту, где показалась было белая таинственная фигура и исчезла за ближайшим кустарником.

Прошло несколько минут. Вдруг за кустарником послышался испуганный женский крик:

— Господи!.. Рятуйте!

— Поймали!

Все вскочили на ноги и бросились к кустарнику.

— Не пугайте ее, братцы! Ведите сюда, к костру.

— Да не кричите, вражьи дети! Татары почуют.

Скоро показалась и белая женщина, сопровождаемая Грицко и Макитрою.

— Да ты кто ж такая? — ласково спрашивал последний.

— Я бранка-полонянка.

— Из какого места?

— Из города Черкас.  
— А давно полонена?  
— Давно, лет десять будет.  
— А кто будут твои отец с матерью?  
— Я родом из мещанского стану... Батька не помню, а мать звали Анастасией) Горовою...  
— Как! Насти Горовой дочка! — вскричали почти все разом.

— Да она же теперь живет в Киеве, и у нее наша татарочка, — пояснил Хома.

Казаки только руками всплеснули, когда белая женщина подошла к костру и пламя осветило ее красивое белое, с черными бровями личико, полуприкрытое длинною белою чадрою.

— Святая покрова! Да это ж Хвесья, санджакова бранка.

— Да она ж! Она и ключи нам достала от Кафы.

— Вот батько Сагайдак обрадуется!

Это была действительно Хвесья. Холод августовской ночи и страх за свою жизнь лишили ее сил. Она вся дрожала и едва стояла на ногах. Трепетно, белою, унизанною дорогими перстнями рукою, она постоянно крестилась; ее посиневшие губы шептали молитву.

Девушку усадили у костра. Грицко накиннул ей на плечи свой жупан. Ласковые, родные речи, участливые слова, добрые лица земляков — все это было слишком неожиданно для беглянки. Она закрыла лицо руками и тихо заплакала.

— Плачь, плачь, бедная! — участливо проговорил кто-то сзади. — От слез на сердце полегшает.

Все оглянулись. То был старый, совсем сивый Небаба. Ему не спалось в своем атаманском шатре, и он подошел к костру. Узнав, кто была эта бранка, он радостно и благоговейно перекрестился.

— Хвесья! Дитятко! — заговорил он дрожащим голосом.

— Тату! Это ты, — бросилась к нему бранка, — тату любый!

— Нет, дитятко, я не твой батько, я — Филон Небаба... Я знал тебя еще вот такою — с локоть ростом — и на руках носил тебя, и про сороку пел...

— А где мой тато?

— Тут же, дитятко, недалеко.

— Як нему хочу.

— Постой, рыбко!.. Пускай уснет — ему недужилось сегодня.

— Он хворый? Я хочу его видеть... Бедный мой татуня!

— Нет, ясочка моя, я не пущу тебя сегодня к нему; пусть завтра утром... Как же ты ушла? Как попала сюда?

— Мой господин, санджак, уехал сегодня к султану; за ним приезжал чауш; я оставалась в его ставке с рабами и евнухом... Евнух отлучился к другому евнуху, что у Калги-хана, а часовых я напоила... Да меня и слушались все... И вот я с вами... богородица пречистая.

Хвесья снова начала креститься. Бледное лицо ее покрылось румянцем.

— Так ты, рыбка, не потурчилась? — робко спросил старик.

— Нет, дядечку, бог миловал... Я не Маруся Богуславка.

— Слава богу... Ну, а того, сказать бы... тее того...

Старик замаялся. Он хотел что-то спросить, но не решился.

— Что, дядечку?

— Да как оно... тее... насчет, сказать бы... как его... Детки у тебя есть?

— Слава богу, не было, — стыдливо отвечала бранка.

— И то слава богу; а то не бежала бы, поди, от детей.

— А Расскажи, будь ласкова, Хвесью, как это ты сгинула от нас в Кафе? — спросил вдруг Карпо. — Точно в воду канула.

— Да, да, — подтвердил Небаба.

— Уж и гримал же на нас за тебя батько, что мы упустили тебя, — пояснил Карпо, — вот гримал! У, не приведи бог!

— Да, да, сто копанок! Чуть киями их не накормил, — подтвердил Небаба, раскуривая люльку.

— Только вот дядько Филон и упросил.

— Вот как это было, — начала Хвесья, снимая с головы чадру, к которой и в десять лет неволи она не могла привыкнуть. — Когда вошла в палац санджака, меня там уже поджидали другие невольники и невольницы. Они знали, что всем им достанется за меня от санджака — а его не было в городе — так они схватили меня, завязали мне рот и голову, да потайным ходом из крепости и вывели... Два дня потом прятались со мною в горах, пока санджак не воротился из Бахчисарая... Ах, что тогда со мной было! С той поры санджак ни на шаг не отпускал меня от себя: куда сам, туда и меня везет.

Вдруг со стороны турецкого обоза раздались выстрелы.

— Тревога, панове! До брони!

— А, сто копанок! Не удастся и сегодня соснуть нашему батьку... Берегите, панове, Хвесью: уж в другой раз Сагайдак не спустит вам.

Тревога началась по всей линии.

Бледную, трепещущую Хвесью богатырь Хома взял на руки, как ребенка, и бегом пустился вдоль берега Днестра...

Натиск татар на казачье войско был страшно стремителен; бешеный какой-то кафинский санджак с своими мурзами и перекопскими наездниками, как бурный поток, пробился сквозь казацкие ряды до самого крайнего обоза, почти до палатки Сагайдачного, куда — он уверен был — скрылась его прекрасная беглянка, золотокошая ханым — Хвесья; но казаки с самим батькою Сагайдаком и Небабою в голове сомкнутой лавы выдержали убийственный натиск гикающих и аллалакающих хищников, покрыли все поле трупами, опрокинув остатки недобитого скопища в болото.

Серое, чуть брезжущее утро застало казаков уже на обратном пути с кровавой сечи. Но тут страшная весть пронеслась по их расстроенным рядам:

— Батько пропал! Гетмана нигде не видать!

— Убили батька! Убили, проклятые!

— Кто видел?.. Где?.. Когда?..

— Заарканили, говорят, гетмана... На аркане утащили...

— Будь мы все прокляты, что допустили до этого!

— Вперед, братцы! Либо гетмана добыть, либо живыми не быть!

— Срам на наши головы! И нас громом не побил, проклятых.

— Либо гетмана добыть, либо живыми не быть! — осилил все голоса могучий и хриплый голос Карпа Колокузни, и казацкая конница направила свой бешеный скок в обход расстроенным татарским загонам.

— Стой, черти! Стой! Раздавите батька гетмана, раздавите, иродовы дети!

Ближайшие кони шарахнулись в сторону при виде какого-то гиганта, который нес что-то на плече, поддерживая левую рукою, а правой неистово махая саблей.

— Да стойте же, чертовы выродки! Я гетмана несу, стой! — кричал гигант, отмахиваясь от налетавших на него коней.

— Да это Хома, братцы!

— Хома ж и есть! — удивлялись казаки. — Какого черта ты на дороге стал?

— Да какого собачьего сына ты несешь?

— Татарина, что ли, поймал, дурный?

— Отойди! Не тронь! Не подступайте, дьяволы, зарублю! — дико кричал Хома, сверкая в воздухе саблей.



— Да что ты, взбесился, что ли? Что на своих лезешь!  
— Отойди прочь! Я батька несу!  
— Как батька: что ты!  
— Батька... пана гетмана... убитого...  
— Господи! Батька убили!..  
— Убили! Пана гетмана убили... Вот он мертвый... Мати божя!

Могучий стон прошел по полю: Сагайдачного убили! Мертвого гетмана нашли!

Все бросились с коней, теснились к той группе, в середине которой обезумевший от горя и злобы великан продолжал размахивать саблей, боясь потерять дорогой труп. По многим лицам, никогда не ощущавшим на своих щеках слез, теперь текли горячие слезы...

— Не подходи! — безумствовал великан. — Живого батька не уберегли, собачьи дети: потеряли живого батька — теперь хотите мертвого потерять... Прочь! Не подходи! Зарублю!

— Хомо, братику, что с тобою?  
— Прочь! Не подходи! Он еще теплый — никому не дам...

— Хомо! Что ты! Дай его — положи...  
— Убью! Не дам! Прочь!  
— Возьмите его, сто копанок! Сзади хватайте, дьявола! За ноги! Вот так!

— Вали его на землю! Держи!  
— Да легче! Батька не зашибите! Не уроните гетмана!!

С трудом удалось осилить обезумевшего гиганта и вырвать у него из рук дорогой труп героя Украины, славного казацкого вождя, теперь бледного, неподвижного, такого, по-видимому, маленького, жалкого. Его бережно положили на разостланные наземь казацкие жупаны. Из нескольких ран еще сочилась черная кровь, окрашивая собою белую сорочку; нечаянный набег татар не дал возможности казацкому вождю хорошенько одеться и застегнуть свой темно-малиновый бархатный кунтуш с «китицями».

— Мати божя!.. Смотрите, панове!.. Булава-то!  
— Гетманская булава в руке! Вот диво: мертвая рука булаву держит!

— Не выпустил, голубь сизый, булавы своей — не отдал поганым, и мертвый не отдал.

— До смерти додержал гетманские клейноды, вот так гетман!

Действительно, мертвый гетман был с булавою: закованная рука его держала дорогой казацкий клейнод.

В скупившейся около мертвеца толпе произошло движение.

— Расступись, панове, пропустите, пропустите небогу, дай дорогу панночке, панове!

На труп гетмана бросилась женщина с золотою растрепавшеюся косою и, припав головою к его холодному лицу, так и закрыла его золотыми волосами.

— Тату мой! Родной мой!

— Хвесею! Дитятко! Не убивайся! — плакал Небаба, уткнув свое старое лицо в мозолистые ладони. — Так было богу угодно.

— Татуню мой! Солнышко мое!.. Ох... да он еще теплый! Он... он... он живой еще!.. Он дышит!.. Тату! Тату!.. Ох!.. Он открыл глаза!.. Смотрите!.. Татуню мой! Не закрывай их больше!

Сагайдачный действительно открыл глаза\* Он не был мертв.

В Киеве, в одной из просторных келий Братского монастыря, некоторые из высших монастырских властей и из казацкой старшины собрались около постели умирающего ктитора этого монастыря.

Умирающий ктитор был гетман Петро Конашевич-Сагайдачный. Полученные им под Хотином раны, которые он мужественно принял на себя, защищая Польшу и дорогую Украину с не менее дорогим для него существом — несчастною полонянкою Хвесею, — оказались смертельными.

Тихо вокруг постели умирающего. Сейчас только он говорил окружавшим его свою последнюю волю, но это усилие до того ослабило его уже разрушенный ранами и предсмертными страданиями организм, что он впал в минутное забытие.

Все молчали. На суровом лице стоявшего у постели старого друга умирающего, Филона Небабы, просвечивало какое-то тихое, глубокое умиление. На лице этом написана была мысль: «Сподоби, господи, такой праведной кончины всякого доброго казака — умереть от ран за мать Украину да за ее деток». Тут стоял и Хома, который не отходил от своего батеньки с той минуты, как полумирающего вынес его на своих плечах из кровавой сечи. Не то, что у Небабы, читалось на добром, похудевшем от горя лице этого простоватого богатыря: его, как богатыря телом, пугала эта неви-

димая для него сила — эта смерть, какая-то бабуса с косой, которая даже самого батька осилила, да и его, богатыря Хому, осилит.

Тут был и Петр Могила, значительно возмужавший и, по-видимому, еще более, чем когда-либо, грустный и задумчивый.

За изголовьем умирающего стоит немолодая уже женщина, но еще красивая. Из-под черного, как бы чернеческого платка кое-где сверкают пряди золотых, с яркими серебряными нитями, волос. Черные глаза ее заплаканы до опухли век. Это — бывшая Настя Горовая, шинкарочка молодая, дочь которой, такую же золотоволосую бранку Хвесю, взял к себе «в приемы» умирающий гетман после того, как ей под Хотинном удалось каким-то образом бежать в казачий стан из полону, от своего ревнивого кафинского санджака. Хвесья стоит на коленях у своего умирающего татуни и дрожащею рукою поправляет под его седую голову подушки — белые, как и седина умирающего гетмана. Тут же стоит и Настина прийма — черноволосенькая и черномазенькая татарочка, которую Хома выносил на своих богатырских руках до одиннадцати лет и теперь мечтает на ней в скорости жениться.

Сагайдачный глубоко вздохнул и открыл глаза. Хвесья перекрестилась.

— Это ты, доню? — слабо спросил умирающий.

— Я, таточку.

— Положи мою руку к себе на голову... я хочу... слышать тебя...

Хвесья исполнила это желание умирающего и припала головой к его груди.

— Бедное, бедное мое дитятко... Не довелось мне пожить с тобою... На неволю родилась эта головка бедная, золотая головочка! — тихо шептал Сагайдачный, и две крупные слезы выкатились из его конвульсивно заморгавших глаз и сбежали на подушку.

— А мама где? — так же тихо спросил старик.

— Я тут, Петро, — почти шепотом отвечала, перегибаясь через изголовье, та, которую когда-то называли Настей Кабачною.

Сагайдачный глянул на нее, сияясь улыбнуться, потом перенес свой взор на наклоненную к нему на грудь голову Хвеси и остановился на татарочке.

— Береги их, Настя, и ту татарочку береги... У нее никого нет... Мы у нее все отняли — и отца, и мать, и

пышную Кафу... неволю козацкую... разлуку христианскую...

Он остановил свой просветлевший взор на молча стоявших у его постели боевых товарищах.

— Будете, детки, помнить мое смертное слово? — заговорил он более сильным голосом.

— Будем, батько, будем! — глухо отвечал Небаба.

— А ты, Филоне-друже, передай всем деткам мою волю — ты ее знаешь.

— Знаю, батько.

Больной заметался на подушках — ему тяжело было дышать.

— Ох, широко я загадывал, детки... да не дожил... не увижу Украину в славе... не раздавил крымского зверя... А святейший патриарх благословил меня на это... сказал: буду я в Иерусалиме, у гроба господа Спаса, молиться за Украинну... и за деток ее...

Все молчали. Небаба сердито смахнул слезу, которая катилась, словно горошина, через сивый ус.

— Широко... широко загадывал... Скажите Иову... святейшему отцу митрополиту... Украина... Польша... Где Могила?

— Я здесь, ясновельможный гетман.

— Добывай Волощину...

За окном закаркал ворон. Сагайдачный широко раскрыл глаза.

— Ворон кричит... недоленьку чует... Надо мною кричит... в поле лежит козак... постреленный, порубанный... то Федор Безридный... Где Хвесья?

— Та я ж тут, таточку!

— Не давайте им Украины... Зажигай, Филоне, галеры... Как горит Кафа... Алкан-паша, трапезонтское княжа... Берегите Хвесью — золотое яблочко... Хвесья... Ганжа Андыбер — у Насти Горовой... не узнали дуки-срибляники... Прощай, Украина, прощай, мать...

Через несколько дней хоронили Сагайдачного. День был пасмурный. Ветер гнал по небу серые облака. Они бесформенными массами двигались к югу, словно бы затем, чтобы пронестись над Запорожьем, Крымом и Черным морем и разнести по всему югу весть о смерти того, кто долго заставлял трепетать этот роскошный юг. У стен Братского монастыря глухо шумели вербы. Колокола уныло звонили.

У гроба и у могилы славного гетмана собрался почти весь Киев. Молодые «спудеУ», или студенты Братской школы, громко пели своему ктитору «Вечную память». Ректор их, Касиян Сакович, подойдя к гробу, из которого отчетливо выглядывало восковое лицо покойника с длинною апостольскою бородою, развернул лист бумаги и, глядя в лицо мертвецу, дрогнувшим от волнения голосом заговорил под шум ветра.

Вербы своим порывистым шумом иногда заглушали слабый голос чтеца.

Казаки наполовину не понимали, что читал пнит, но угрюмо слушали.

Иногда слышались тихие, сдержанные женские всхлипы-ванья.

Недалеко от гроба стоял Могила и сосредоточенно глядел в восковое лицо мертвеца, как бы силясь слушать оратора, но не понимая его. От лица покойника глаза Могилы машинально перенеслись на казаков, стоявших понуро, на Небабу, Мазепу, на Хому, глубоко убитого, на духовенство, на семьи панов, пришедших в последний раз поклониться славному мертвецу.

Могиле показалось, будто порывом ветра разогнало тучи и на печальную процессию глянуло солнце. Но это был обман его нервов — не порыв ветра, а порыв его дрогнувшего сердца: на восковое лицо покойника глядело с кроткой задумчивостью то дорогое для него личико, которое он вот уже восьмой год носил в душе, как святыню. Но личико это скоро скрылось.

Оттертый толпою, Могила нечувствительно очутился в самом отдаленном углу монастырской ограды, где над могильными плитами глухо шумели густо разросшиеся вербы и тополи. На дальней плите, полузакрытой кустом шиповника, сидела та, которую он искал скорее сердцем и нервами, чем мыслью.

Он робко, с глубоким смущением подошел к ней. По ее лицу он заметил, что девушка сейчас только отерла слезы.

— Панна плакала? — все также робко спросил он.

— Да, пан, такое горькое зрелище! — отвечала девушка, не вставая с плиты.

— У панны доброе, жалостливое сердце.

Девушка молчала, как бы прислушиваясь к пению над покойником.

— Панна София, простите меня, — заговорил Могила еще более робко, и слезы слышались в его голосе, — простите.

Но я еще раз позволю себе повторить мой вопрос: панна не переменяла своего решения? Богом умоляю вас, скажите: что мне делать?

— Я уже сказала вам: добывайте корону ваших отцов, — почти шепотом отвечала девушка.

— Но для кого, дорогая панна?

— Для пана.

— А для панны?

Девушка грустно покачала головой.

— Но без панны мне не нужно короны всего мира.

Девушка улыбнулась.

— Пан говорил то же самое и панне Людвиге, княжне Острожской.

Могила вздрогнул и побледнел.

— Я не ожидал, что панна так жестока! Панна плакала над людским горем, и за это я полюбил ее. А над моим горем она смеется... Панна София!

Девушка встала. Светлые, ясные глаза ее блеснули слезой.

— Простите меня, мой добрый, дорогой пан! — горячо заговорила она. — Я не хотела вас обидеть.

— Дорогая моя! Святыня души моей! Скажите же! Решайте судьбу всей моей жизни!

Девушка опять грустно опустила голову.

Из-за верб доносилось скорбное, за душу хватающее пение: «Помилуй, помилуй раба твоего!..»

— Помилуй, панна! Помилуй раба твоего! — как-то простонал голос над самым ухом девушки.

Она вздрогнула.

— О мой дорогой, мой милый пан! — порывисто заговорила она. — Простите меня! Забудьте меня, забудьте, мой бедный! Ищите вашу корону, ищите другую голову девушки, достойную носить эту корону... Но я — забудьте меня, пан, добрый мой, честный! Я должна, наконец, все сказать пану: я не принадлежу себе, я...

— Как! Панна София!..

«Со святыми упокой», — доносится режущее по душе мертвогласование.

— Я принадлежу богу, пан... Я посвятила себя ему... Не корона покроет мою голову, а чернеческий клобук прикроет тоску мою.

— Панна! Ради бога!

— Мой добрый, успокойтесь... Я бы любила вас, если б судьба не разбила моего сердца, — мне нечем любить вас... Того, кому я раз отдала сердце, нет на свете —

в могилу с собой он унес и мое сердце... Его убили под  
Цепорой о бок с Хмельницким, отцом его, а другие говорят,  
что его в полон взяли...

— Хмельницкий! Зиновий Богдан Хмельницкий!

Мои́ла закры́л лицо́ руками́, как бы желая раздавить и  
его, и голову́.

Когда он отнял руки от лица, девушки уже не было  
около него. Только вербы шумели над ним, да над гробом  
Сагайдачного плакал хор со всех киевских церквей: «Веч-  
ная, вечная, вечная память!»

А там загрохотали пушки. Это казаки провожали своего  
батенька «у далеку-далеку дорогу».

# КРЫМСКАЯ НЕВОЛЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ  
ПОВЕСТЬ





лета,— говорит он,— турчин зо всеми войсками рушил под Каменец, розказавши и ханове крымскому к себе ити. И так, хан крымский, зейшовшися з гетманом Дорошенко, тягнули мимо Ладыжин на Батог. И там гетман Ханенко и рейментарь пан каштелян подлеский мели потребу з оными, але же их силы великие не додержавши, мусели уступати до Ладыжина ис шкодою. А хан и Дорошенко, не займаючи Ладыжина, з войсками потянули просто под Каменец до турчина, где и турчин притягнувши, Каменец найшовши не в готовности, бо войска з Каменця выйшли на тот час были, за упрощением мешан, же не сподевалися того приходу турчинового. Где тилько недель две держалися, але знать, юж божеский гнев наступил, бо порохи в цекгавзу запалились, где много замку выкидало. И так, Каменец здали, где и сам турчин, маючи там уехати, приказал, аби умерлых з склепов выбрано и за место вывезено, що зараз учинено: всех умерлых так з склепов, яко из гробов выкопано и за место вожено, а образы божие, беручи з костелов и церквей, по улицах мощено, по болотах, по которых турчин въехал в Каменец и его подданный, незбожный Дорошенко, гетман. Не заболело его сердце такого безчестия образов божиих задля своего несчастливого дочасного гетманства! И того часу мечети з костелов и церквей починено, з фары самому цареве турецкому... И в Каменце турки усе звоны поскидали и порозбивали, а иные Дорошенко побрал, также и крест нигде не одержался — поскидано...»<sup>1</sup>

Летописец говорит о церквах, иконах, крестах... А что было с людьми!?

## II

— Гетман едет! Гетман едет! — слышалось в толпе каменецких обывателей, которые с горестью и тревогою смотрели, как толпы татар и турок, с кирками, мотыками и лопатами в руках, выравнивали дорогу и чинили мост через пропасть, отделявшую город от цитадели.

— Какой гетман? Ханенко — польской стороны? — спрашивали другие.

— Э! Где там Ханенко! Ханенко с панами-ляхами, с Лянцкоронским да старостою Потоцким пятами покивали из Каменця нашего.

<sup>1</sup> Из «Летописи Самовидца», по прекрасному изданию г. Ореста Левицкого. — Киев, 1878. — С. 114—115, 273—274. (Прим. авт.).

— А! Так это потурнак — Дорошенко...

— Он... Совсем побусурманился... И не запеклось кровью его сердце, глядячи, как гробы наших отцов вырывали да образа в грязь кидали...

— Кто ж это с ним, молодой, при боку?

— А Мазепа ж — писарь.

— А! Слышали: этот, сказывают, мягко стелет...

Это они говорили о двух всадниках, спускавшихся с цитадельной горы на мост. Один из них был черным плотный мужчина с понурыми усами и черными стоячими глазами, в богатом кунтуше и в невысокой шапочке с пером. Это был Дорошенко. Другой, молодой, белокурый, с ласковыми серыми глазами и по-польски «закренционными» усами — Мазепа, начавший уже делать себе карьеру.

— Под Москвою нам быть не рука, — тихо говорил Мазепа, глядя гриву своего коня.

— Да, оно правда: батько Хмельницкий дал маху, — задумчиво отвечал Дорошенко.

— А твоя милость поправит дело, — подольстился Мазепа.

— Да крови это много стоит.

— Так... без крови и зуб не падает... А ведь твоя милость какой зуб у Москвы вырвешь...

Дорошенко сурово потупился и ничего не отвечал.

— А жить под турчином — не то, что под Москвой: у турчина — что у Христа за пазухой, а у Москвы и за пазухой ежовые рукавицы, — продолжал подольщаться бес.

Дорошенко как-то сердито потянул правый ус еще ниже.

— Да, вон хан крымский — чем не пан? — глядя в сторону, проворчал он. — Тот же царь, у Москвы поминки берет, а не то, что ей дает...

Рабочие, крымцы и турки, при виде гетмана, перекидывались между собой словами и делали знаки почтения. Дорошенко приветливо кивал им головой, а Мазепа шутил по-татарски, и татары отвечали ему веселым смехом.

— У! собачьи сыны! — сквозь зубы процедил один из каменчан.

— Потурнаки проклятые! — пояснил другой.

От толпы каменчан отделился один, хорошо одетый в синюю свитку старик и, приблизившись к проезжавшему мимо Дорошенко, снял шапку.

— Ясновельможный пане гетмане! — заговорил он. — Учيني милость твою.

Дорошенко осадил коня.

— Что тебе нужно, старик? — спросил он скороговоркой.

— Смилуйся, пане! Не вели церкви грабить и над образами надругаться.

Хмурое лицо гетмана потемнело еще больше. Он еще сердитее дернул себя за ус.

— Это не моя воля, — как-то не то досадливо, не то с подавленным стыдом отвечал он.

— Как не твоя, паночку? — взмолился старик.

— Не моя — это воля пресветлого султанского величества, — отрезал гетман.

— О боже ж наш! Боже!

— Его пресветлое султанское величество карает ваш город за ваши вины, — поторопился пояснить Мазепа.

— Какие ж наши вины, паночку?

— Вы противности чинили воле падишаховой...

В этот момент недалеко раздался конский топот и детский крик.

— Мамо! Мамо-о-о! — отчаянно голосил ребенок.

Все оглянулись. Вдоль пропасти, через которую перекинут был цитадельный мост, по узенькой тропе скакал татарин с колчаном и стрелами за спиною; одной рукой он обхватил девочку лет около десяти или немного менее, которая билась в седле, стараясь вырваться. Девочка была прелестна: золотистые, как червонное золото, волосы ее горели на солнце; белое личико, черные дугой брови, белая шитая красным сорочечка — вся она смотрела каким-то цветочком.

— Мамо! Мамо! Ой мамуленько!

За татаринком, отчаянно рыдая, бежала женщина.

— Ратуйте, кто в бога верует! — вопила она. — Татарин дитину украл! О-о! Ратуйте! Ратуйте!

Некоторые из каменчан бросились было на переем хищника, но он прищпорил коня и умчался, как вихрь, оставив за собою только клубы пыли.

Несчастливая мать, в изнеможении упав на землю, билась и ломала себе руки.

Дорошенко и Мазепа, воспользовавшись общей суматохой, незаметно скрылись в извилистых улицах города.

### III

Стояла теплая, сухая, прекрасная осень, какая только может быть в Крыму.

В Крым через Перекоп возвращались два татарских загона — один из-под Каменца, другой из-под Полтавы.

Оба загона были обременены богатою добычею. Вьючные лошади изнемогали от тяжести всякого награбленного хищниками добра, которое бедным коням взвалили на спину. Из переметных сум и мешков, перекинутых через их спины, выглядывали цветные ткани, богатая суконная и шелковая одежда, шали, ковры и прочее, прикрытое от пыли и дождя кошмами и войлоками. Там же погромыхивала золотая, серебряная и медная посуда, чары, рюмки, стопы, блюда, оклады с икон и церковная утварь. Иногда наверху всего этого торчала и покачивалась из стороны в сторону хорошенькая головка девочки или мальчика: юные полоняники это едут в неведомую чужую сторону, в крымскую неволю... Маленькие ножки их притомились в далекой дороге и от тоски по родной земле, по матерям, с которыми их разлучила неволя, и вот «добрый» татарин усадил их на коня, на вьюки грабленного — «добрый» ради того, чтоб добыча его не захворала в пути, не убавилась бы в красоте и цене на невольничьем рынке, а то как бы и совсем не мерла.

Тут же шли и невольники — полоняники и полонянки: молодые парни и девушки, молоденькие бабы, большею частью подолянки и волынянки; около иной молодой матери бежали дети — это значит, захвачена вся семья в поле, а отец или убит, или без вести пропал. Между полоняниками виднеется больше крупный народ, здоровый — эти пойдут по высшей цене на человеческом рынке. Иные из невольников идут навязанные на канаты, сворами, а иногда и скованные. Более смирные, по-видимому, идут па свободе. Женщины также идут не на сворах. За ними особенно смотрят хищники, особенно ухаживают, чтобы дорогой не захворали, не спали с лица, не потеряли бы красоты, словом, не подешевели бы... их и кормят лучше, и от непогоды и солнца укрывают, равно как и хорошеньких детей...

Сами татары идут и едут врассыпную: им теперь остерегаться нечего — в своей земле... Перекоп пройден уже: Ор-Богаз и Ор-Капи позади остались; вон, вправо, без конца синее море, а прямо — безбрежное море степи, кое-где всхолмленное курганами и упирающееся в отроги зеленых, чуть синеющих издали Крымских гор.

Позади всего идут стада скота и табуны лошадей.

Степь после дождей покрылась второю роскошною зеленью. Целое цветное море расстилается и вправо, и влево, и прямо перед глазами. Голубые колокольчики, гиацинты,

словно роскошный ковер брошен на степь могучею рукою. Маки и тюльпаны таких ярких цветов, какие умеет создать и раскрасить только щедрое южное солнце, словно спорят между собою красотою и роскошью.

Дивный край, дивное небо, чудное море, божественная степь!.. А люди, что идут по ней, чувствуют себя несчастными вдали от своего неба, от своих степей...

Вон идет небольшая группа полоняников: один уже пожилой, но здоровый мужчина, в ободранном костюме московского ратного человека, уже полуседой, он бодро приглядывается к степи, к далеким горам, словно бы он домой возвращается; рядом с ним прелестная с огненными волосами девочка, та, которую в Каменце татарин похитил на глазах ее матери и на виду Дорошенко и Мазепы; по сторонам их — парень, парубок, с высоко подстриженной черноволосой головой, в белой рубаше и широких украинских штанах; и девушка в красной запаске и с черной косою... Ратный часто поглядывает на маленькую свою спутницу...

— Что, девынька, не устали ножки? — ласково спрашивает он девочку, золотоголовую подоляночку, глядя ее золотую головку. — Устали? а?

— Ні, дідуська, — отвечает девочка, вскидывая на него свои большие, черные, грустные глаза.

— А об матушке да об батюшке, девынька, ты не кручинься: погоди маленько... я старый воробей, бывал в полону, знаю их порядки... Мы с тобой убедем, пра, девынька!

Девочка грустно улыбается и боязливо взглядывает на татарина, идущего поодаль.

— А ты ево, горбоносово, девынька, не бойся, — кивает он на татарина. — Он, как сова, ничего не разумеет по-нашему... ишь, только буркалы пялит...

Татарин глядит на девочку и улыбается.

— Ишь, тоже зубы шерит, собака!

Татарин еще пуще шерится на девочку; и его восхищает этот прелестный ребенок...

#### IV

— И вы тож носы-те не вешайте, — обратился словоохотливый ратный к взрослой дивчине и к парубку. — Я этот полон знаю, не впервой, чать... Мое дело старое — всюду

бывано, все видано... Взяли меня впервой в полон эти же черномазы, крымские татаровя, лет тридцать тому назад загоном, и свели в город Кафу — уж и городина же! На базаре нашево брата, полоняника, что телят стадо — видимо-невидимо!.. И работал я в Кафе на каторге с нашими же московскими да черкасскими людьми, лет с десять будет. А в Кафе на базаре ж купил меня турчин и повез морем до Царя-города, а в Царе-городе продан я был в Анадолю-скую землю, а из Анадолю-ской в Кизылбашскую, и был я, детушки мои, бусурманен: по средам и пятницам и в великие и малые посты мясо и всякую скверну едал... А все это наплевать!.. А в Анадолии работал у армянина на огороде и веру держал армейскую — с нашею православною малость схожа — и проскуры армейские едал, токмо ших армейской не исповедывал, а у татаровей по-татарски маливался в шапке — всево бывало... А из Кизылбашей продали меня к фараонам к самим, и у фараонов я жил, и по-фараонски хаживал, и едал — эка диво! Наплевать на все!.. А у фараонов отгромили меня шпанского короля немцы-дуки, а дуки-немцы продали меня францовским немцам во францовскую землю, а во францовской земле я у папежина ксенза <sup>1</sup> бывывал и секрамент <sup>2</sup> их едал — что мне! наплевать! — своего бога, Миколу-угодника, я не забывал... А францовские немцы дали мне памятку на бумаге, и вышел я из францовской земли вольно, и по-францовски и по-турецки говаривано и песни пето... А оттелева прошел я в цысарскую землю, а из цысарской земли на Аршав-город, а из Аршава-города в Киев... Так-то, детушки, всево видано... не пропадем и топереве...

Солнце клонилось к западу. И вьючные лошади, и полоняники, и сами татары, видимо, притомились. Пора бы и привал делать. Золотоголовая подоляночка, внимательно слушавшая неугомимого москаля, шла молча, по временам оглядываясь назад.

— Что, девынька, оглядываешься? — ласково спросил ее москаль. — Али батюшку с матушкой ждешь с родной сторонки?

У девочки навернулись слезы на глазах... Вот-вот брызнут из прекрасных глаз на чужую землю...

<sup>1</sup> Папского ксендза (пол.).

<sup>2</sup> Причащение (латин.).

— Не плачь, дитятко,— утешал ее сердобольный москаль.— Еще увидим батюшку с матушкой, пра, увидим... Я тебя на руках вынесу из полону...

И он снова гладил ее по головке...

— А как был я в Кафе на каторге,— продолжал он болтать, видимо, желая отогнать тоску и от себя, и от своих спутников,— как работали мы в Кафе, так научили меня ваши черкасские полоняники одной песенке... Уж и песня же, я вам скажу!.. Это об том, примером сказать, песня, как татарова в полон взяли волыночку — вот такую же девыньку, как и ты,— обратился он к своей маленькой спутнице.

У девочки у самой давно ныла на сердце эта песня, ей часто певала ее мать...

— Уж и песня же! — продолжал болтливый москаль и тихонько затянул ее, безбожно коверкая на московский лад украинскую речь песни:

Как из-за горы-горы,  
Из-за темного леса  
Татарова бегут.  
В плен волыночку ведут.  
А у волыночки коса  
Из золотого волоса...

— Вот все едино, что твоя, девынька.

И он дотронулся рукой до золотой головки девочки. Ближайший татарин продолжал идти молча, добродушно и ласково взглядывая на своих пленных и, в особенности, на девочку: пускай-де не скучают — с цены не спадут.

И москаль опять затянул, лукаво поглядывая на татарина, как бы говоря: «Вишь ты, собачий сын, и не думаем утекать от тебя — песни поем»...

У волыночки коса  
Из золотого волоса,  
Темный бор осветила,  
И зеленую дубраву,  
И битую дорогу.  
За нею в погоню  
Батенька ее.  
Кивнула-махнула  
Белою рученькой:  
— Вернись, родненький!  
Уж меня ты не отнимешь,  
Сам марно загинешь.  
Занесешь головушку  
На чужую сторонущу,  
Занесешь очицы  
За турецки границы...

В это время в передовом загоне раздался сигнальный рожок. Ему ответили другие рожки из других концов. Все разом как бы встрепенулось...

— Баста, привал! — сказал москаль, лукаво подмигивая своему татарину. — Аллах керим! Алала! Знай наших!

Татарин совсем дружески осклабился и показал на небо и на землю, повторяя: «Алла-алла»...

## V

Привал сделали вокруг высокого кургана, где поблизости было вырыто в небольших ложбинах несколько колодцев. Скот развьючили. И татары, и их полоняники собирались в группы, рвали сухую траву и колючки, собирали кизяк и сносили все это в кучи, чтоб разводить огонь на ночь и готовить и себе, и полоняникам ужин. Москаль таскал всякую сушь охавками и складывал в том месте, где рядом с подолянкой в красной запаске уселась на отдых его маленькая золотоголовая девочка.

Степь ожила, несмотря на то, что близилась ночь. По всей равнине, какую только можно было окинуть глазом, бродили разноцветные группы людей, стада скота и лошадей, говор, лошадиное ржанье. Небо темнело. Кое-где начинали уже вспыхивать и потухать огоньки. Над морем и на море лежали багровые полосы вечерней зари. В воздухе слышался звонкий клекот запоздавших и возвращавшихся в свои неприступные дебри и на скалы орлов. В траве стрекотали и неутомонно ковали свою однообразную песню земляные кузнечики. Засвиристела грустная свирель пастуха у воловьего стада. Слышалось человеческое вытье — тягучая, бесконечная и тоскливая, как чужбина, татарская песня...

Москаль притащил и свалил к ногам своей любимицы девыньки последнюю охавку суши и кизяков, а потом достал из-за пазухи пучок свежих цветов.

— Вот тебе, девынька, цвяточки; лазоревы, и аленьки, и сини, побалуй ими, дитятко, — любезно презентовал он цветы своей любимице.

Девочка взяла цветы, с грустной улыбкою полюбовалась ими и разделила пук с соседкою.

— А я вот костерчик налажу на ночь: оно хорошо, тепленько, — хлопотал неутомонный москаль.

К ним подходили другие полоняники и татары. Москаль заговаривал со всеми: кто, как, откуда, где попался? Кивал



головой, ахал, причмокивал губами, утешал... Он был как дома: всех за дорогу успел переузнать, называл по именам... Он и с татарами, казалось, был друг: кому подмигнет, улыбнется, потреплет по плечу, заговорит: «Эй ты, Гирейка! Якши! Чурух — су... яман — коба... кизил — якши!..» Иной улыбнется, тоже скажет «якши» или иное слово, другой нагайкой стегнет. Москаль почешется, поворчит: «Ишь, лядина! С ним шутишь, а он — на! Дерется...»

Татары раздавали ужин полоняникам — по куску хлеба и баранины. Москаль развел огонь, отдал половину своего куска баранины девыньке...

— На, девынька, кушинькай мяско.

— Я, д1душка, не хочу.

— Ладно, не хочу, жуй помаленьку.

Степь окуталась мраком ночи, только костры мигали по равнине да двигались тени татар: это они связывали и ковали на ночь ненадежных полоняников.

Пришли и к москалю с небольшой железною цепью. Он спокойно протянул ноги.

— На, Гирейка, куй.

Его заковали. Он с улыбкой глянул на цепь, на татарина.

— Якши, брат Гирейка... Заковал лошадку — якши?

— Якши,— был ответ.

Для бранок — так на Украине назывались полонянки — татарин принес кошму, чтоб они укрылись под ней от ночного холода и росы. Москаль накинул на девочку свой зипун.

— В ем тепло тебе будет спать, девынька,— пояснил он.

Ночь окончательно спустилась на равнину. Некоторые костры, маленькие, потухали, другие сильнее разгорались, и вокруг них виднелись красные от пламени лица хищников, благодумствовавших в своем родном краю после столь долгого отсутствия.

Москаль опять завел речь о том, как он жил в Кизыл-башской земле да у фараонов, как он прошел «скрость» всего света, и как везде все живут такие же люди, и какие у них чудные порядки, и как для него все было равно, все нипочем — плевать на все... Ко всему-то он привык, со всем сжился, только везде тихонько своему богу молился, московскому Миколу, и крестился двумя персты...

Девынька сидела около него, не спуская с него глаз. За дорогу он так успел привязать ее к себе своею добротой, ласковостью, вниманием и постоянно веселым расположением духа, что девочка не отходила от него и с ним ничего

не боялась. Он заменил для нее и отца, и мать, и родину.

— А де ж вас, дідушка, татары взяли? — спросила она.

— Да меня они, собачьи дети, в степи изловили... Окольный, князь Григорий Григорьевич Ромодановской, меня с вестями спосылал в Запороги, так они, аспиды, и настигли меня... Товарищи-те мои ушли, а меня вон застукали, что волка в поле... Да, добро-ста! Мы с тобой, девынька, таково тягунца зададим, что любо-дорого...

Костер погас. Подоляночка, слушая бесконечные рассказы дедушки москаля, уснула, согревшись под его зипуном...

— Ну, баинькай, дитятко, — перекрестил он ее и сам свернулся около нее калачиком.

Все тише и тише становилось кругом. Говор умолкал. Слышно было только, как лошади, жуя траву, фыркали. Кое-где бродили тени меж потухшими кострами — это ходили сторожевые татары, присматривая за полоняниками... Скоро уснул и москаль, забывшись на далекой Москве...

Так провели полоняники свою первую ночь в Крыму...

## VI

Перед нами Кафа — знаменитая, бессмертная Кафа, некогда, еще за полтысячелетия до нашей христианской эры, гордость классических, милетских греков, Кафа, в которой звучал когда-то язык Гомера, Перикла, Софокла, Еврипида и Демосфена, Кафа, впоследствии гордость генуэзцев и потом турок и крымских ханов, Кафа, с сотысячным своим и пришлым населением, с богатейшим в мире портом и гаванью, запруженою торговыми и военными кораблями и галерами, с грозными стенами, башнями и бойницами, с роскошными дворцами, садами, фонтанами и водопроводами... Богатые мечети с тянущимися к небу высокими минаретами... Яркое голубое небо, отражающееся в еще более голубом — голубом до черноты и зелени — море.

Неумолкаемый стон стоит над городом, не стон болеющего и ноющего сердца, а нестройный стон — могучее дыханье жизни, говор десятков тысяч людских глоток, и настоящий стон, стон невольников и их кобзарей, выкрикивающих на галерах, в гавани, свою тоску по родине, по вольной жизни... На мечетях и минаретах, в тени карнизов и оконеч, стонут голуби...

Перед нами та Кафа, которая гремела в XVII веке под именем Кучук-Стамбула, малого Стамбула, или Крым-Стамбула, как богатейший невольничий рынок в мире...

Утро. Обширный рынок, обставленный мечетями и гордыми минаретами, полон невольников, только что приведенных двумя татарскими загонами из Московской Руси, Подолии, Волыни, из Польши и Червонной Руси. Несчастный живой товар сидит и стоит группами. Бородатые покупатели — турки, армяне, крымцы — ходят от группы к группе, прицениваются, высматривают здоровых работников и красивых детей и женщин... Последние со стыдом и плачем прячут свои лица от насытых глаз азиатов... Дети прячутся за старших...

А кругом — роскошь зданий, журчащие фонтаны, синее чудное море почти у ног... Толпа все валит и валит на этот рынок, на это чудное, чарующее и страшное зрелище...

Мастерскою кистью рисует подобный рынок один даровитый украинский писатель: «Осанистые бородачи в белых, пунцовых, зеленых, пестрых чалмах и разноцветных шелковых кафтанах; черномазые африканцы в красных, как жар, фесках, куртках, шароварах, сверкающие золотыми позументами, оружием и дикими своими глазами; картинные азиатские рыцари на картинно изукрашенных конях рисуются, как дорогие цветы в заглухшем саду, среди голосистых носильщиков и звякающих кандалами невольников, среди вьючных верблюдов, мулов, ослов и запряженных волами фургонов. А южное солнце, незаслоненное облаками в этом благодатном климате, яркими бликами и резкими тенями рисует богато развитую растительность, восточную архитектурную пестроту, беспорядочный громозд азиатского быта, роскошные одежды, грязные лохмотья и веселые лица крымцев, адзамуланов, изогланов, янычар, спагов, позолоченных евнухов и грустные фигуры невольников...»

А вон там, в гавани, на синеве моря, качаются галеры-каторги, и на них развеваются по ветру казацкие чубы — это бедные невольники, нагие до пояса, прикованные к своим сиденьям, работают тяжелыми веслами и прислушиваются, как на берегу кобзарь, уже негодный к работе, плачем невольничьих дум зарабатывает себе кусок хлеба, забыв уже и думать, после сорокалетней неволи, о возврате на милую Украину. Кобзарь голосно, с глубоким плачем не слез, а сердца, выстонаывает о том, как «на Черном море в святую неделю на проклятой галере-каторге не сизые орлы заклекотали, а бедные, несчастные невольники в тяжелой не-

воле застонали, на колени упали, руки к небу подымали, кандалами брязчали, господа милосердного слезно блатали: «Подай нам, господи, с неба частый дождик, а снизу буйный ветер,— то не встала ли бы на Черном море великая буря да не вырвала ли бы она якорей у турецкой каторги: уж нам эта турецкая бусурманская каторга надоела, белое тело казачье молодецкое около желтой кости пообъела...»

И слушают этот стон кобзаря те невольники, что работают в гавани на каторге, и вот эти новенькие, что сидят на рынке — кто в тени кипариса, кто на яркой солнечной припеке,— и тихонько плачут...

И рядом с этим — «неумолкающий стон голубей в тени минаретов и кипарисов (говорит тот же зарезавший свое славное имя писатель); вторящие им с минаретов призывы правоверных на молитву; разноязычный говор толпы и резкие звуки базарной музыки с пронзительными выкрикиваниями певцов, рассчитанными на крепкие нервы,— все вместе составляло мучительный концерт среди блистательной и дикой сцены...»

А под этот режущий душу поток звуков, под стоны голубей, не наших, а восточных, которые действительно стонут, а не воркуют, седоволосый кобзарь продолжает свой эпический, сердце обливающий кровью плач: «А паша турецкий, бусурманский, по рынку походит, тот плач невольничий зачувает, на слуг своих, на турок-янычар, со зла гукает: «Эй вы, турки-янычары, к невольникам ступайте, по три пучка терновых и червонной таволги набирайте, бедного невольника по трижды по одному месту стегайте...»

А под эти стоны, слезы, выкрикиванье, торг на рынке идет своим чередом...

## VII

У фонтана, в тени кипарисов, знакомый уже нам по имени татарин Гирейка картинно расположил свой «товар»: впереди на кошме сидит золотоголовая подоялочка, что украдена на глазах Дорошенко и Мазепы; сорочечка на ней чистенькая, сама вся она вымытая, на загорелой шейке искрятся бусы и кораллы; золотые волосы, распущенные по плечикам, так горят, словно тонкие нити из червонного золота; рядом с нею дивчина в красной запаске; она тоже принаряжена, и ее вороньи косы пышно спускаются на плечи и на спину; за ними — москаль, равнодушно глядя-

нии на пеструю толпу и с нежностью переносящий взоры на свою любимицу девыньку, и парубок с высоко подстриженной черноволосою головою.

К этой живой группе подходит бородатый с мягкими глазами и в богатой одежде турок: ярко-зеленый, шитый золотыми позументами халат, кинжалы и пистолеты за поясом, перстни и кольца на пухлых пальцах — все так и горит на солнце. Глаза его сразу падают на золотую головку, на прелестное испуганное личико, да так и впиваются в ребенка. Затем переносятся на большую дивчину, на парубка и на москаля. Москаль дружески ухмыляется.

Начинается торг. Покупщик прежде всего останавливается на девочке. Продавец Гирейка, видя, что девочка поразила богатого покупателя своею красотою, стоит на высокой цене. Покупщик скупится, придирается.

— Ишь ты, дьявол,— бормочет вслух москаль,— говорит, тельцем-де худа девынька.

Продавец не уступает, стоит на своем; покупатель сердится — оба говорят разом, размахивают руками.

— То-то, дьяволы! — продолжает ворчать москаль. — Раздеть тебя хотят, девынька.

Девочка вспыхивает, закрывается руками... Слезы выступают на глазах...

Покупщик требует, чтоб раздели девочку: ему нельзя не видеть всего ее тела; а то может продорожиться — купить с каким изъязном...

Гирейка начинает развязывать сорочку у девочки; та не дается, плачет, бросается к своему «дедушке»...

— Ой дедушка! Ой, стыдно!

— Нету, нету, ничево, дитятко,— успокаивает ее москаль. — Он ничего — не тронет, только глазком малость накинёт, так, чуточку, чиста ли тельцем ты, ягодка.

Девочка все-таки сопротивлялась, плакала.

— Ой мамо! Мамо! о-о!

— Девынька! Дитятко! Крохотка! Не бойся, золотая моя! — уговаривал ее москаль.

С трудом сняли с нее сорочечку. Голое тельце, словно точеное, так и блеснуло перед изумленными глазами покупателя. Даже посторонние зрители ахнули: так прелестно было тельце ребенка-невольницы...

Покупщик сдался, и тотчас же ударили по рукам. Девочка была продана в гарем богатого паши.

За девочкой начался новый торг; паше, как видно, понравилась и взрослая украинка, уже готовая красавица,

в яркой запаске и с роскошною черною косою. К счастью для нее, тут не пришлось прибегать к разоблачению казового конца интересного товару: чернокосую украинку не раздевали донага, а только осторожный и разборчивый покупатель тщательно осмотрел ее фигуру, статность, желательную полноту и округлость, кой до чего с улыбкой дотронулся, несмотря на сопротивление девушки и на успокоительные замечания москаля — «ничего-де, красавица, пушай пощупает маленько, без этого же нельзя: товар осмотреть надоть, прикинуть... не стыдись, красавица»...

Ударили и тут по рукам. Покупщик достал из кармана широких шаровар замшевый, шитый шелками и бисером кисет, зазвенел золотом, стал отсчитывать договоренную плату... Но в этот момент к нему приблизился москаль...

— Ваша милость! Сундук премудрости! Паша батюшка! — скороговоркой затараторил он. — Купи и меня! Якши, сундук премудрости! Купи, родной!

Паша с изумлением посмотрел на него, вопросительно взглянул на продавца. Москаль и к нему приступил, упрямившись, чтоб он и его продал вместе с девынькой; что без него она пропадет, что он сам здоров, работать может и на дворе, и в саду, и воду носить, и лошадей поить и чистить — все может... Он, мешая русские слова с татарскими и турецкими, коверкая все на московский лад, объяснял, что лучшего паше работника и не надо, что он тридцать лет жил в неволе, всякое невольничье дело знает, как свои пять пальцев. Он, наконец, спустил с плеч рубаху, показывал, какие у него могучие плечи, руки, грудь...

— Купи, паша! Купи, сундук премудрости! Вон видишь, какой я — бык быком, якши! Алла!.. Да я твоей милости за десятерых работать стану, и песни петь, и плясать в угоду твоей милости... Вот я какой! Колесом перед тобой ходить стану...

И он, взявшись в боки, стал выплясывать, и присвистывать, и приговаривать:

Хвост вытащил, нос увяз,  
Нос вытащил, хвост увяз.

Паша и Гирейка хохотали, как сумасшедшие. Кругом собирались зрители и любовались этим необыкновенным «урусом». Он вдруг переменил тон и здоровым голосом зазвонил, как звонят в Москве у Ивана Великого:

Отец Яков! Отец Яков!  
Дома ль поп? Дома ль поп?

К заутрени звон, к заутрени звон:  
Тили-тили-тон! тили-тили-тон!

Весь рынок дивовался, хлопал в ладоши, изумлялся, откуда это явился невиданный дервиш. Со всей площади и с пристани собрались татарчата. Все покупатели бросили свой торг и приблизились к Гирейкиным невольникам...

Участь москаля была решена: паша купил и его вместе с двумя хорошенькими пленницами.

## VIII

Прошло немало лет. Дорошенко, долго верховодивший Западною Україною, то отдававший ее туркам и татарам, то торговавшийся из-за нее с Москвою и с Левобережною Україною, теперь уже более не верховодил ничем, а сидел в московской неволе, в селе Ярополче, Волоколамского уезда, хотя и с почетным званием воеводы. Мазепа, по своему обычаю, предал его и передался на сторону его врага, гетмана Левобережной Украины Ивана Самойловича, чтоб и его потом утопить в ложке воды. Лишь изредка вспоминали они о разграбленном турками, по их милости, Каменце, о бившейся на седле у татарина золотоволосой украиночке...

Вместо них в Заднепровской Украине верховодил уже Юрась Хмельницкий, которого султан выпустил из чернеческой кельи и неволи и, вместо четок, дал ему в руки гетманскую булаву с тем, чтобы он, Юрась, покорил под ноги блистательного падишаха всю Украину и титуловался бы так: «Я, Григорий-Гедесон-Венжик Хмельницкий, з божой ласки, божиею милостию ксионже русский, сарматский и гетман запорожский».

Два лета — 1677 и 1678 года — водил Юрась огромные полчища татар и турок под Чигирин, желая добыть себе этот крепкий оплот и столицу Правобережной Украины.

Вот как картинно и образно описывает Самовидец это Юраськино нападение на Чигирин в 1678 году: «Турчин, жалея прошлогодняго в войску убытка и безчестия (в прошлом году Юрася отбили от стен Чигирина с великим уроном), выправил уже большия войска турецкия и татарския с Юрасем Хмельниченком и вейзиром Мустафою под Чигирин, которые, пришедши июля 8, доставали Чигирин многократными приступами с стрельбою, и гранатами, и подковами, и всякими промыслы долго. Однако ж и войско, под командою Ржевскаго и Коровки, мужественно неприятеля

от стен градских, стреляя, отбивали и, из города выбегая, в шанцах янычаров били и живых ловили. Войска ж государские, в Бужине дождавшись князя Булата с колмыками и донскими козаками, когда двинулись далее, то на переправе Ятис-реки с Каплан-пашою целый день войну страшную имели до ночи. Рано же переправившись, сильно еще под горою, с которой турки пушками на них стреляли, приуждены были биться до ночи ж, а ночью выправили Василия Дунина-Бурковского, полковника черниговского, к Чигирину, придав и великороссиян не малое число, которые, не дошедши верха горы и спустившись, стрельбою ж своею возбудили турок так, что стали на обоз козацкий з армат паки жестоко палить, и чрез целый день баталию отправляя, еще мусели заночевать; но в субботу, пошедши стройно, турков з горы збили и армат 27 взяли. Однак турки, оглянувшись, что погони за ними нет на поле, аж до обозу москву и рубая гнали; токмо один полковник великороссийский як окидався рогатками и удержався, так до него и все войска з обозу притягши, весь день той с турками воевались, которые, убоясь великих сил государевых обоего народа, за Тясмин перешли. Войска же государевы, приступивши к Чигирину, над бором около озера целую неделю праздно стояли, чим ободрившись, турки начали Чигирину крепчае доставать. И когда гетман Иван Самуилович выслал в город свежее войско, неприбыккое к штурмам, при отходе в обоз приобыклых,— то турки, сделав подкоп и в замку диру вырвавши в пятницу, Ржевского командира первее убили, а потом августа 10-го, в неделю о полудни, когда тое ж войско, попившись, поснуло, тогда в городе на учинившуюся подкопами прорву наши не бросились, чтобы тотчас на дирах бить турков и землю в мехах затыкать по-прежнему дыры, но все утекать начали и, на мосту обломившись, топились в воде и на гребле в бегу давились, где пропало на несколько тысяч Козаков, токмо пехота под горою, а москва в замку боронилися до ночи, турки же остальных в городе и за городом везде нещадно рубали. И в ту пору, ночью, сердюки, оборонивши на гребле переход Москве, понабивали в замке полныя арматы порохом и, замок запаливши, туда ж на греблю напролом чрез турецкое войско, уже Тясмин перешедшее, пробилися, бо и турки в ту пору в ужасе были, когда запаленные порохи и арматы, порвавши з собою в гору арматные запасы и великим треском, весь воздух тем осветивши, высоко подносить и с высоты на обозы пущати начали...»



## IX

Это был страшный взрыв — взрыв, от которого, казалось, заколебалась и долго трепетала земля, дрожал дремучий бор на горе, по которой расположены были московские войска с их полководцами — князем Ромодановским, Касимовским-царевичем, гетманом Самойловичем, Мазепой, калмыцким князем Булатом и другими; трепетала и, казалось, кипела огненной пеною вода в Тясмине, через который в беспорядочном бегстве спасались обезумевшие от ужаса турки; шаталась и взлетала в воздух по частям, целыми башнями и оторванными стенами, Чигиринская крепость, цитадель; взлетали на воздух дома, и уже оттуда, точно с неба, падали обезображенные трупы турок, казаков, москалей, разбитые пушки, лафеты, пороховые ящики — все это, казалось, падало с неба, из пылающего воздуха, разносимое в разные стороны, падало в воду, на московские, малороссийские и турецкие обозы; иные пушки и чиненные снаряды, брошенные взрывом на воздух, разрывались и стреляли уже там, словно бы невидимые силы стреляли с неба на землю... Ночь на несколько времени превратилась в день, в страшный, огненный, с огненным и каменным дождем день... Та горсть храбрецов, — москали и казаки, — которые решились взорвать сами себя вместе с крепостью, цитаделью и орудиями, казалось, мстили за себя, падая с неба на турецкое войско обезображенными трупами, как бы обхватывая бегущих своими кровавыми руками или поражая их своими оторванными, размозженными головами... Это было ужасное зрелище!

— Господи! Да не яростию твоею обличиши мене, ниже гневом твоим накажеша мене! — испуганно бормотал Самойлович, бледный и зеленый, стоя рядом с князем Ромодановским и глядя на эту страшную картину разрушения и на бегущее в беспорядке турецкое войско, освещенное заревом Чигиринского пожара.

Мазепа, стоявший тут же около Ромодановского, удерживая своего белого как снег коня, оторопевшего было от грома взрывов, с улыбкою посмотрел на гетмана. «Это не Дорошенко, — мелькнуло в его лукавом уме. — Попович — зараза за молитву... орать бы тебе в руки, а не гетманскую булаву»...

— Кнас! Вели мой калмык айда! — нетерпеливо обратился князь Булат к Ромодановскому, сверкая своими узенькими, словно осокою прорезанными, глазками. — Вели турка рубил, колот, топил — айда!

Ромодановский вздрогнул... Он сам чувствовал, что теперь как раз бы пора сказать это «айда», чтоб сразу покончить с турецким войском и с этим сопливым Юраською, которому впору только гусей пасти; но он молчал, боясь встретиться с глазами князя Булата и Мазепы... Ведь у него там, у Юраськи, заложником его любимый сынок... А турки еще на прошлой неделе присылали к нему сказать, что если он, князь Ромодановский, поведет свое войско на турок, то они тотчас же, вместо сына, пришлют ему его кожу, набитую сеном... Страшно... Может быть, и теперь, в эту страшную минуту, с него, с живого, сдирают кожу... «О-о!» — невольно застонал он...

— Вели айда — калол, хадыл, рубил — айда, кнас! — приставал Булат.

— Рано... повременим... не приспел час, — отговаривался Ромодановский.

— Точно рано, ваша милость, — подделывался Мазепа, пряча свои лукавые глаза, ибо и Мазепа догадывался, почему Ромодановский медлит.

Чигирин между тем догорал. Отдельные вспышки прекратились — нечему уже было вспыхивать, и злополучный город только местами тлел и дымился.

— Се бысть град — и се не бе, — грустно качал головою Самойлович.

— Что говорит ясновельможный гетман? — почтительно любопытствовал Мазепа.

— Пропал Чигирин, пропала слава старого Хмеля! — так же грустно отвечал гетман. — Не в батька сын пошел.

— Не в батька, а по батьков! — двусмысленно заметил Мазепа.

— Как не в батька, а по батьков!? — удивился гетман.

— Юрась волю Богдана творит...

— Что ты, Иван Степанович!

— Так... его это воля, батькова — старого Хмеля?..

Самойлович удивленно глядел на него, видимо, ничего не понимая. Мазепа ударил себя по левой груди.

— Вот тут воля покойника, — таинственно сказал он.

— Как! Что ты?

— Я достал тайные пакты покойного Богдана с султаном на подданство.

Самойловича как бы осенила новая мысль. Он круто повернулся на седле и показал рукою куда-то далеко, на Север.

— Так и он шел по его следам? — сказал он загадочно.

— Кто, ясновельможный гетман?  
— Дорошенко...  
— По его ж... другие следы ведь ведут прямо туда...  
Мазепа не закончил, но Самойлович сам догадался, куда  
ведут эти другие следы...

## Х

Светало. Чигирин кое-где дымился, представляя черную и серую груды развалин и пепла. За Тясмином слышались еще отголоски доканчивавшейся борьбы. Турецкое и татарское аллалаканье становилось все слабее и слабее. Отряды, преследовавшие беглецов, возвращались из-за Тясмина к своим главным силам. Казаки и московские рейтары гнали пленных небольшими партиями. Везли часть захваченного турецкого обоза с пушками и палатками. Тут же следовало и стадо верблюдов, на которых, по-видимому, торжественно восседали турки и татары.

— Это что такое? — с удивлением спросил Ромодановский, все еще не сходивший с коня, и с тайною боязнью присматриваясь к верблюдам и турецким палаткам. — Кого они ведут?

— Это верблюды, боярин, — отвечал Мазепа, отъехавший от Самойловича, душу которого он уже успел смутить своим лукавым намеком на «Сиберию».

— А что на верблюдах? Турки? — удивлялся и чего-то опасался князь.

Мазепа прищиприл коня и понесся с горы к приближавшимся казакам с верблюдами. Скоро он воротился и с улыбкой подъехал к Ромодановскому.

— Что скажешь, Иван Степаныч? — тревожно спросил воевода.

— Да наши казаки, боярин, захватили несколько сот гетманов на верблюдах, — с прежнею коварною улыбкой отвечал Мазепа.

— Каких гетманов?

— Юраськов Хмельницких...

— Как! И он взят! — еще более встревожился боярин.

— Не сам он, а его товариство... Изволь сам посмотреть...

Ромодановский, царевич Касимовский, Самойлович, Мазепа и князь Булат съехали с холма, на котором, во главе своих войск, наблюдали за ходом битвы и действиями отрядов, высланных на защиту Чигирина и на его гибель.

Рейтары стаскивали с верблюдов что-то вроде человеческих фигур, наряженных турками, и со смехом бросали их в воздух, наземь или кидали в Тясмин.

— Пропадай ты, аспид, ишь, идолы, чсво понаделали!

— Не кидай в воду, братцы! Бабам повезем — на огороды ставить...

— Уж и точно воробьев пужать! Ах они дьяволы! Али мы воробьи!

— Вороны, братцы! Ах, и смеху же!

Увидав начальство, рейтары перестали смеяться и браниться.

— Что это, братцы? — спросил Ромодановский, подъезжая к одной фигуре.

— Чучела огородны, боярин, — это он нарядил болванов и посадил на верблюдов, чтобы нас пужать.

Ромодановский не мог не рассмеяться: на верблюдах действительно торчали наряженные соломенные чучела...

— Сие турчин так делал обманом, ради показания великости своего войска, дабы мы все порох и пули на праздные палатки и болваны выстреляли, — объяснил Самойлович.

Ромодановский только руками развел.

К Самойловичу подскакал, весь в пыли и копоти, черниговский полковник Дунин-Бурковский. Один ус его был обожжен, верх на шапке прогорел, у коня грива осмолена...

— Что, Василию мой любый? — участливо спросил гетман.

— Пропал Чигирин! — запыхавшись, отвечал полковник.

— Вижу, брате...

— Только не пропала казацкая слава и твоя, пане пулковнику! — любезно поклонился Мазепа.

— Эх! — отчаянно махнул рукой Бурковский. — Вели, пане гетмане, гнаться за проклятыми... Много полону — и казаков, и московских людей — угнали...

— А из сердюков? — спросил Мазепа.

— Покотом полегли...

— Как! Все?

— Не считал... только своего верного джуру видел на аркане.

— Пилипа! Камяненка! Убили!

— Не знаю... видел только, как татарин на аркане потащил его...

Ромодановский приказал трубить общее отступление...

Мазепа мрачно глянул на Чигирин: ему разом припомнился Каменец, золотоволосая девочка, бьющаяся в руках татарина, и этот его верный джура Пилипик на аркане...

## XI

Мы опять в Крыму, — в том волшебном краю, где растут кипарисы и тополи, может быть, самые стройные в мире, где небо, и солнце, и зелень, и горные ручьи, и море, и горы, и долины так прекрасны, что, казалось бы, там, как в раю, — неиссякаемая жизнь, неумирающее счастье, нестареющая молодость приютились навеки, и люди не знают страданий...

Казалось бы... а между тем в описываемое нами время это была юдоль человеческих страданий, как ни старалась, по-видимому, сама природа дать там человеку довольство и счастье...

Чем-то сказочно ужасным представлялся тогда Крым для русского человека и, в особенности, для украинца. Крым был страной человеческой неволи, неволи бусурманской...

И неудивительно... Вот и теперь турецкие союзники, крымцы, возвращаясь с Украины, из-под Чигирина, гонят толпы пленников: нынешний раз им удалось захватить еще больше, чем под Каменцем, полоняников и полонянок. Одну партию их, ббльшую, погнали прямо в столицу ханов, в Бахчисарай, другую — через Ак-Мечеть, Карасу-Базар и Солкат — на Кафу, на главный невольничий рынок.

В этой партии знакомый нам Гирейка имел всего только двух полоняников, вместо прежних четырех, но он надеялся хорошо сбыть свой товар. Гирейка всю свою жизнь провел в том, что ходил с загонами на Украину и притом с единственной целью — захватить как можно больше живого товару и потом как можно выгоднее продать его в Кафе. Он был торгаш в душе и хищник по призванию: грабежом только и жил. Он ничего не сеял, не держал ни огорода, ни виноградника, а только торговал: когда есть у него люди — людьми торгует; своих полоняников продал — покупает у своих же земляков, чтоб перепродать в третьи руки и получить бакшиш; нечего купить или не у кого — он меняет людей на людей, на лошадей, на собак, на кинжал, на чубуки; нет ни людей, ни собак, ни чубуков, он меняет и продает старые халаты, туфли, пояса.

Теперь у Гирейки два рослых и крепких полоняника: один черномазый, черный, как голенище, украинец, с черными, как уголь, волосами-чубом, и с серыми, как камни Чатырдага, глазами; другой — рыжий, веснушчатый, мордатый и широкоплечий московский стрелец из полка Касимовского-царевича. Гирейка их очень бережет — приковал одного к другому цепью и глаз с них не спускает.

Партия проходит через Ак-Мечеть. Толпы татар, конных и пеших, вьючные лошади, верблюды — все столпилось у моста через Салгир. Крик, гам, рев верблюдов, ржанье лошадей, руготня и возгласы всевозможных глоток — невообразимы. Пленных гонят через реку вброд. Речка бурлит необыкновенно, извиваясь и прыгая по камням, словно за нею кто гонится по пятам; но она неглубока, потому что больших дождей давно не было.

Гирейка переводит и своих пленников вброд, поглядывая на небо, скоро ли солнце станет клониться к западу, а то порядком-таки жарко.

— А это палаты калги-салтана, — указывает украинец своему товарищу на фантастический, весь расписанный дворец на берегу Салгира, осененный роскошными тополями.

— А кто этот калга-салтан? — спрашивает стрелец, дивуясь сказочному терему, в котором, казалось ему, должен был жить сам Черномор — чудо-юдо, сам с локоток, борода в полтретьядцать локтей, Черномор, о котором ему рассказывали еще в детстве, в сказках.

— Калга-салтан будет по-нашему как бы гетман перед царем, так он супротив хана.

— А сам хан не тут рази живет?

— Нет, он в Бахчисарае, туда дальше, назад.

— А ты, ноли, и тут бывал, и там?

Бывал, с Иваном Степановичем Мазепой мы тут было каши доброй наварили... Мазепа от коша, из Запорожья, с листами послан был, так и меня с собою брал: я у него в джурах состоял.

— А вон там гора какая, у! Да и гора же, братец!

— Это вправо?

— Да, вон словно шатер...

— Это гора, Чатырдагом прозывается.

— А за горою что там?

— Там море.

— Море! Что ты! Хвалынское, чай?

— Нет, Черное море.

— Ишь, анафемы, куда загнали нас!.. Далеко отселева родная сторонushка московская...

— Да, далеко,— вздохнул и чубатый украинец.

— И нету нам теперь туды ни пути, ни дороженьки...  
Эх! Не родила бы мать на свет, не чай так-ту маяться...  
Эх, служба царская!..

## XII

Чубатый украинец и был тот джура Мазепин, которого в момент взрыва Чигирина Дунин-Бурковский видел на аркане у татарина. Джуру звали Пилипом, по прозвищу, данному ему в Запорожье, Камяненко. Родом он был из Каменца, и потому казаки и прозвали его Камяненко.

Странный был этот Пилип. Маленьким Пилипиком он бегал по Каменцу, любил купаться в Днестре, смелее всех сверстников бросался вплавь на ту сторону быстрой реки, дерзко лазил по высоким скалам, висевшим над городом, ловче всех выдирал из недоступных нор сивоворонок, щуров и стрижей; с ловкостью белки лазил по деревьям. Его мать никогда не видала такого отчаянного ребенка, такого головореза, каким был этот Удовиченко, названный так потому, что мать его, родив еще девочку Катрю, сестру Пилипика, овдовела. Пилипик почти не жил дома и в один день, именно в тот, когда мать его мучилась родами его сестренки, пропал без вести, когда ему было двенадцать лет... Мать долго плакала, искала его, думала, что он утонул или его звери растерзали в лесу; а потом и плакать перестала.

А Пилипик очутился в Запорожье... Этот отчаянный мальчик, воспитанный на рассказах одного старого слепого сечевика, доживавшего свой век в Каменце, увидав у своего дидуся-сечевика двух запорожцев, отправлявшихся в Сечь, тайно ушел из своего родного города и через день настиг запорожцев уже далеко в степи. Он сказал, что хочет «козакувать» — идти с ними в Сечь, хочет «слави, лицарства добувать». Запорожцы долго над ним смеялись; но когда увидели, что он серьезно от них не отставал, бежал за их конями и плакал, им стало жаль мальчика. Они было хотели воротить его домой к матери, но он и слушать этого не хотел и говорил, что скорей умрет, чем воротится.

— Зарубайте меня,— твердил упрямец,— а домой не вернусь.

Ничего не оставалось делать — не пропадать же христианской душе в степи, запорожцы взяли его с собой. Попеременно он ехал за спиной то у того запорожца, то у другого, держась за черес и говоря, что он непременно хочет быть «козарлюгой», а то и отаманом, а может, и кошевым, и будет бить татар, как саранчу.

В Запорожье сначала дивовались этой чудной дитине, смеялись, что Харько Дуда и Игнат Рудый «привели дитину», а кто из них был за «батька», кто «за матір» — того не знают; а потом все полюбили небывалого «козака» и вырастили из него запорожца на славу. Сначала он им кашу варил, сало толок на кашу, цибулю крошил, тарань чистил, дегтем чоботы мазал, коней пас; а потом, глядь! — и готов «козак»: «ЗосіМ козак — і чуб так»...

Полюбил Пилипа и «батько Орко». А когда потом запорожцы поймали Мазепу, который вез от Дорошенко, в подарок хану, невольников, и хотели убить его, да не убили только потому, что батько кошевой сказал, что может этот продувной Мазепа и «пригодиться козакам», когда Мазепа сам стал запорожцем, то тоже полюбил Пилипику и взял его к себе в качестве джурь, и Пилип не расставался с Мазепой: был с ним и в Москве, где Мазепа мелким бесом рассыпался и перед Артамоном Матвеевым, и перед князем Голицыным; был и в Крыму...

Только вот под Чигирином Пилипу не посчастливилось. Он говорил Мазепе, что его никогда не возьмут в полон: что живым он самому черту в руки не дастся... Но случилось так, что дался не черту в руки, а ловкому Гирейке. В момент бегства татар из-под Чигирина Пилип, погорячившись, скакал слишком далеко, рубя татарву, «мов капусту», и вдруг — ничего не помнит... Что-то жесткое, волосяное захлестнуло ему шею, сдавило, сволокло с седла во мгновение ока, — и Пилип потерял память...

Очнувшись, он увидел себя в цепях и около улыбающегося татарина — это и был Гирейка. Тут же лежал связанный по рукам и по ногам рыжий стрелец. Продувной Гирейка, захлестнув его на всем скаку арканом, словно степного жеребца, и протаскив по степи с полверсты, все еще опасался, что рыжий и мордатый «урус» скоро опомнится и задушит его, жидкого Гирейку, двумя пальцами, и потому тщательно спеленал его сыромятными свивальниками и, сидя на корточках и скаля от удовольствия свои белые, как у собаки, зубы, глодал оставшуюся от вчерашнего ужина лошадиную ногу, макая ею, за неимением соли, просто



в землю, благо он сидел на солончаке и любовался, как товарищи его, Халиль-Бурундук, Якши Рамазан и Шашлык-Мустафа, тоже пеленали и упаковывали своих непокорных пленников.

Таким-то образом запорожец и Мазепин джура Пилип и рыжий стрелец Петра Дюжой очутились в классической стране невольничества, в волшебном Крыму.

### XIII

Холмистою степью шли полоняники после выхода из Ак-Мечети. Влево от них и конца, кажется, нет этой степи, словно бы она спорила с голубым небом, все далее и далее отодвигая его в ту невидимую даль, к той заслоненной небом и степью дорогой полуночной стороне. А там, в этой полуночной сторонке, — милая родина, земля святорусская, города христианские, там — как говорит в думе невольничий плач:

Там тихи води,  
Там ясн Зорі,  
Та край веселій,  
Та мир хрещений,  
Святоруський берег,  
Города християнсью...

Там Киев, Чигирин, Черкассы, «Дніпро-Славутич», «Великий Луг — батько» та «Оч-мати»... Там и «зозуля куде», и «соловейко щибече», «мак цвіте», «калина росте», «дівчата сшивають, козаки в у неволі споминають»...

И не было для Пилипа ничего в свете милее его дорогой Украины... И для Петра Дюжова ничего в мире не было милее его дорогой московской сторонки, где «не белы снежки во поле белеются», «не одна дороженька в поле пролетает», где не мало «попила его буйная головушка: попила она, погуляла, что за батюшкиной да матушкиной за легкою за работой»...

Такие мысли проходили по душе наших полоняников, когда они медленно двигались гористою степью от Ак-Мечети к Карасу-Базару. Влево — все родное, милое, далекое, навеки потерянное. Вправо и впереди — чужое, страшное, неведомое. Сколько они ни шли, а вправо все высился к голубому небу суровый Чатырдаг, а от него, как бы цепляясь друг за дружку, темнели такие же почти великаны-горы, заслоняя собою чужое, неприветливое море. Но как ни тяжело у них было на душе, они старались казаться бодрыми,

веселыми. Да и может ли запорожец в тугу вдаваться, ныть в какой бы то ни было неволе? На то он казак! А московскому ратному человеку тоже зазорно голову вешать. Вон он не забыл, как, стоя в карауле в Москве, у Лобного места, лет семь тому назад, видел, как казнили воровского атамана, Стеньку Разина. Разве он вешал нос? Нет! он бодро смотрел в очи всей Москве... «А Петра Дюжой чем хуже Стеньки? А эти поджарые, да горбоносые, да узкоглазые татаршки чем лучше московского стрельца? — думал про себя Петра. — Семи смертей не бывать, а одной не миновать...»

И вдруг, по странному капризу воли, в силу природной и нагулянной удали, стрелец, забрав как можно больше в свою широкую грудь воздуха, тряхнув рыжими волосами, затянул на всю степь сильным грудным голосом:

Уж ты поле мое, поле чистое.  
Свет-раздольюшко широкое!  
Чем ты, полюшко, приукрашено?  
Приукрашено поле все твяточками,  
Как твяточками-василечками.  
Посреди-те поля част ракитов куст.  
Под кустом-ту лежит тело белое,  
Тело белое, молодецкое...  
Молодой стрелец там убит лежит,  
Не убит лежит — шибко раненой...

При первых звуках песни Гирейка встрепенулся, как ошпаренный кипятком: не взбесился ли уж рыжий «урус»? Не помешался ли, как это часто бывает с полоняниками? Так нет — он бодро глядит и, подперев правую щеку ладонью, забирает все выше и выше, соловьем заливается... И товарищ его, запорожец, смотрит весело... А песня так и льется... Со всех сторон, из всего загона, понаскакали татары, окружили Гирейкиных молодцев, дивуются, осклабляются, головами качают... «Якши — ай якши... Ля иллях иль аллах»...

И другие полоняники подходят, слушают...

Гирейка в восторге. Он видит, что это у него такой товар, за который дорого дадут на рынке в Кафе. Он сам был свидетелем, как один паша заплатил большие деньги за скворца за то только, что он хорошо пел, а другой паша купил за пригоршень золота для своего гарема попугая, которого старый дервиш научил выкрикивать: «Ля иллях иль аллах. Мухамед расуль аллах!» И он за своего невучего «москова» возьмет втридорога. А Пилип, слушая своего това-

рища стрельца, вспомнил, как он еще в детстве слышал от дидуса-сечевика рассказ о казаке Байде, как этого Байду турки повесили за ребро на крюк, а он не только не просил пощады, а напротив — попросил, чтобы ему перед смертью дали люльки покурить.

А когда стрелец, выкрикнувши всю песню, под конец заголосил на всю степь:

Что венчала меня сабля вострая  
С молодой женой — пулей быстрою, —

один хохол-полоняник не вытерпел и даже свистнул:

— Ффью-у! Ишь, москва! От народец!..

#### XIV

Прошло еще несколько дней. И эта последняя партия невольников, как и все прежние, дойдя до Кафы, растаяла на базаре, как снежная лавина, спустившаяся в жаркую долину; как распроданное стадо овец, они давно томятся — кто на турецких галерах, кто в земле анадольской, кто в кизылбашской, кто в мультянской, а молодые бранки изнывают по гаремам, как говорит дума, — потурченные, побусурмененные для роскоши турецкой, для лакомства несчастного.

Стрелец Петра Дюжой за свои песни попал в самый Цареград и там, потеряв счет средам и пятницам, с отчаянья махнул рукой на посты и жрет скоромное в надежде, что когда бог его выручит из неволи, то он во всем покается попу на духу. Запорожец Пилип остался в Кафе: его купил паша для садовой работы.

И началась для вольного запорожца жизнь, полная томительного однообразия. С раннего утра до глубокой ночи, позвякивая цепями, которыми были закованы его ноги, он копался в саду своего господина, расчищая, подметая и посыпая песком садовые дорожки, поддерживая цветочные грядки и клумбы, очищая фонтаны, журчавшие в саду, поливая цветы и зеленый дерн, окаймляющий дорожки, гряды и клумбы, собирая листья и сушь от деревьев. Одно было для него утешением — это то, что в этой неволе, работая в саду под руководством старого глухого татарина-садовника, он сошелся с другим, ветхим-преветхим невольником же, который оказался немножко земляком и который томился в Крыму уже около десяти лет. Старый невольник оказался москалем, который находился уже во второй

раз в неволе и много неслыханного рассказывал о своей первой неволе. Это был тот москаль, который перебивал когда-то и в анадольской, и кизылбашской земле, работал и на галерах, был и у фараонов, и у испанского короля, у немцев-дуков, и во францовой земле у францовских немцев, и бусурманился, и все веры испробовал, и всякую нечисть едал — и все это ему было наплевать... Он рассказал своему новому товарищу, что теперешний господин их, Облай-Кадык-паша, купил его на базаре, лет около десяти тому назад, с двумя его, запорожца, землячками — с черкашенками, из которых старшая, живя в гареме у Облай-Кадык-паши, давно потурчилась и побусурманилась и уже нарожала паше с полдюжины черномазых пашат; а другая, которую паша купил маленькою девочкою, теперь выросла, стала красавицей писаной и скоро будет любимой пашиной их господина. Он же, старый москаль-невольник, рассказал, что он души не чаял всегда в этой девыньке, и хоть почти никогда ее не видит, но она помнит его, старого невольника, и иногда присылает ему с молоденьким евнухом, с черномазым арапчонком, каких-нибудь лакомств.

Запорожцу очень хотелось бы увидеть своих землячек, но он так и не видал их: хоть одно окно из гарема и выходило в сад, но оно всегда было завешено; а сами жены паши выходили в сад, в сопровождении евнуха-арапчонка и старухи, только по ночам или когда в саду никого не было.

Другим утешением для молодого невольника служило то, что сад их господина глядел на море. Какой-то неизъяснимой тоской и умилением ныло сердце невольника, когда он видел в море турецкую галеру-каторгу, на которой работали прикованные к ней казаки-невольники и иногда пели грустные песни, напоминавшие им о далекой родине, о дорогой Украине, и невольному садовнику-запорожцу они напоминали о том же далеком, навеки потерянном рае.

Раз как-то, работая по обыкновению в саду, он увидел рабочую большую галеру, которая тянула за собою несколько нагруженных турецких судов. На море стояла тишь, и потому суда могли двигаться только на буксире у галеры, которая работала веслами. Галера шла близко от берега, а так как сад Кадык-паши выходил к морю, к берегу, от которого отделен был высокою железною решеткою, густо проросшею темною зеленью дикого виноградника, то и видно было, что на веслах работали невольники: виднелись черные лица эфиопов, но большею частью, собственно за веслами, сидели люди, в которых нельзя было не узнать украинцев. Это

были действительно казаки-невольники, почти голые, с обросшими бородами и давно небритыми головами. Галера шла необыкновенно тихо.

Пилип перестал работать, оперся на заступ и следил глазами за галерой: видны были даже лица невольников. Вдруг на галере раздалось тихое пение, словно бы кто плакал... Сердце запорожца так и заныло тоскою... Тихий голос пел:

Що на Чорному Морі  
Та на білому камет,  
Там стояла темниця кам'яная.  
Що у тш-то темниц!  
Пробувало сімсот козакіо,  
Бідних невольнишв...

Пилипу знакома была эта невольничья дума. Он слышал ее и в детстве, на площадях родного Каменца, и на базарах, и уже в Запорожье потом. Дума эта всегда вызывала слезы у слушателей. И Пилип всегда слушал ее с болью в сердце и всегда, бывало, думал: «А каково-то им самим, этим невольникам, о которых поет дума? Что они, бедные, чувствуют?»... И вдруг он слышит эту думу теперь, когда сам стал невольником, и хотя томится не тридцать лет, как те, что в думе, и не лишен видеть ни «світу божого», ни «сонця праведного», однако все же в неволе...

Он стоял, как очарованный, и слушал, как м темницу пришла «дівка бранка, Маруся пошвна Богуславка», как она спросила казаков-невольников, чтоб они угадали, какой теперь в нашей христианской земле день; как невольники отвечали — почем им знать, какой теперь день у них на Украине, когда они уж тридцать лет в неволе маются и «божого світу», и «сонця праведного в глаза не видають»; как им на это Маруся Богуславка отвечала, что теперь на родной их стороне, на Украине, великодная суббота и завтра святой праздник — роковой день великдень; как невольники, услышав это, белым лицом до сырой земли припадали, Марусю Богуславку кляли-проклинали, что она им о таком великом празднике в тяжелой неволе напоминала; как потом Маруся Богуславка, взяв тихонько у своего и невольничьего пана турецкого ключи от темницы, всех невольников на волю выпустила и просила их, чтоб они, когда придут домой на Украину, в города христианские, зашли к ее отцу-матери и сказали, чтоб они не продавали ни скота своего, ни имения, и ее, Марусю Богуславку, из неволи не выкупали:

Бо вже я потурчилась, побусурманилась,  
Для розкоши турецько»,  
Для лакоства нещасного...

Пилип, слушая пение, стоял между грядками, расположенными под самым балконом гарема. Балкон был весь увит ползучими растениями и дорогими цветами, так что из сада ничего не было видно, что делалось на балконе. Но при последних словах думы он услышал шорох на балконе. Прислушиваясь далее, он ясно расслышал, что там кто-то тихо, но горько рыдает, так и захлебывается слезами, так и задыхается... Услышав это рыдание, запорожец задрожал всем телом: казалось, это голос его матери: это мать рыдает над его горькой невольницей долей и над своею собственной недолей...

А с галеры, между тем, доносилось:

Ой визволи, боже.  
Нас Всіх, бідних невольнишв,  
З тяжко! неволе  
З єїри бусурменсько!,  
На ясНі Зорі,  
На тих. води,  
У край веселий,  
У мир хрещений!  
Вислухай, боже,  
О просьбах щирих  
У нещасних молитвах  
Нас, бідних невольнишв!

Голос замер, а запорожец все стоял и слушал, как потерянный. Слезы текли по его щекам. Вдруг что-то как бы упало на балкон и застонало...

— О-о! Я не хочу — я не хочу бути проклятою Марусею Богуславкою! О господи! — раздался оттуда болезненный крик, и потом все смолкло...

Запорожец догадался, кто это рыдал так горько на балконе и чей это был голос.

— Она, она, голубушка, — тихо бормотал, со слезами на глазах, покачивая головою, старый москаль-невольник, который подошел к запорожцу. — Она, ластушка...

— Кто вона?

— Девынька моя, сироточка-черкашенка...

## XV

Это было в 1683 году, когда турки осаждали Вену, а Ян Собеский, король польский, вместе с польскими и казацкими войсками шел на выручку погибавшего цесаря.

Крымские войска, по повелению султана, с раннею весною также вышли с ханом в подмогу турецким силам, обложившим пясаря и его столицу. Ушел на войну и Облай-Кадык-паша, оставив свой дом и гарем на попечение матери. Уже по возвращении из похода он намеревался взять в жены молоденькую украинку, золотокосую подоляночку.

В отсутствии паши и рабам-туземцам, и невольникам стало несколько легче: меньше работалось и вольнее дышалось. И в саду как будто стало свободнее. Хотя старый садовник-татарин и оставался по-прежнему суровым и требовательным, по-прежнему пускал иногда в ход червонную таволгу, которая гуляла по спинам невольников, однако, как он был глух, то невольники, работая от зари до зари, могли хоть иногда промурлыкать под нос родную песенку, побеседовать и вспомнить про свою сторону.

Притом, с того дня, как запорожец услышал на гаремном балконе голос, напомнивший ему далекую родину и покинутую мать, и когда в голосе этом сказалась тоска по воле, ему легче жилось: казалось, что какое-то другое, хотя невидимое, но родное существо разделяет с ним и его неволю, и его недолю... А разделенное горе всегда как-то менее тягостно и давяще, чем одинокое, замкнутое, неразделенное.

Однажды, во время какого-то большого татарского праздника, когда почти все обитатели дома Кадык-паши находились в мечети и даже старая Ак-Яйлы с арапчонком-евнухом отправились на молитву, запорожец, усевшись у фонтана, под тенью кипарисов, затянул свою любимую сиротскую песню:

Стснить яв!р над водою, над воду схилився,  
Молод козак, молод козак, да вже й зажурився.  
Як же мен. не хилитись — вода кор.нь мне.  
Як же меш не журитись, як серденько мліе?  
Хожу-нужу, хожу-нужу, як те сонце в крузі,  
Чи я встаю, чи лягаю — завше серце в тузі.  
Летить орел понад море та й, летючи, крикнув:  
Ой як тяжко в С!Й сторону^, де я не привикнув!  
Ой е в мене на Вкра'!н. р^днесенька мати;  
Та де ж тая Вкрашонька — де ж то її взяти!

Он не кончил. На балконе опять послышались всхлипы-ванье и тихие голоса.

— Год\, год\, Катруню! Год1, любко! — уговаривал один женский голос.

— Ох, моя матінко! Ох, мое серденько! — плакался другой, силясь удержать рыдания.

— Не плач-бо, Катруненько, утрись, стара скоро прийде.  
— Я не буду, не буду — о-ох! — рыдания еще более усиливались.

Запорожец понял, что это все его песня наделала. Он перестал петь, глянул на балкон — ничего не видать, только всхлипывания и тихие голоса.

— Се, мабуть, козак.  
— Та козак же ж.  
— Хіба ти його бачила?  
— Давно бачила.  
— Молодий?  
— Молодий ще... гарний...

У Пилипа сердце заколотилось в казацкой груди. Он еще внимательнее стал прислушиваться. Всхлипывания становились все тише и тише. Он тихонько подошел к балкону, осторожно глянул наверх — и остановился как вкопанный: густая вьющаяся зелень, окутывавшая балкон, казалось, непроницаемою сетью, тихо раздвинулась, и из-за зелени выглянуло прелестное личико с заплаканными глазами и золотоволосою головкою. Большие заплаканные глаза глядели прямо на Пилипа. Пилип, казалось, одеревенел на месте, не спуская глаз с таинственного светлого видения. Видение улыбнулось, покраснело, — улыбнулся и Пилип, но покраснеть не мог, ибо голенища не краснеют, а его лицо было чернее голенища от загара...

Пилип перекрестился... Он сам не мог понять, с чего он, ни с того ни с сего, перекрестился, должно быть, сдуру... Только нет, не сдуру: и там, из-за зелени, показалась белая, вся в перстнях ручка и тоже перекрестилась...

«Мана... суша мана... та яка ж гарна!» — сдуру думалось Пилипу.

— Чоловіче, чоловіче добрий! Помолись за Катрю! — послышалось из-за зелени... Это говорила «мана».

— Помолюсь, — пробормотал Пилип, совсем растерявшийся.

— А як тебе зовуть, чоловіче? — снова послышалось из-за зелени.

— Пилипом...

— І я за тебе, Пилипе, помолюсь...

В зелени мелькнула белая рука, и с балкона слетело что-то синее. Пилип нагнулся и поднял — то была широкая шелковая лента, «стр!чка».

— Се Тобі на забудь, — послышалось из-за зелени  
Пилип так и остался с разинутым ртом...



## XVI

С этого дня Пилип уже жадно, хотя чрезвычайно осторожно наблюдал за балконом. Первую ночь после видения им «маны» в зелени провозился в своей невольничьей конуре почти напролет до утра; все мерещилась ему эта «мана» прелестная, эти заплаканные глаза, золотая головка, белая, в дорогих кольцах, рука. Он и молился в ту ночь усерднее и уже постоянно поминал на молитве Катрю. Голубую ленту он осторожно вдел в ворот своей рубахи и боялся до нее дотронуться, чтоб не испачкать грязными руками. Неволя его как будто улетела куда-то, и он уже не хотел воли, не хотел уходить из этого сада, обнесенного тюремною решеткою: сюда, казалось, прилетела сама и его воля, и сама Украина.

Его казачье сердце колотилось, когда он украдкой замечал, что зелень на балконе как бы шевелилась. Но сама «мана» не показывалась. Зато однажды к ногам его упал пучочек «любистку», и он его торопливо поднял, положил за пазуху и с радостью вспомнил, что «любисток — для любощ|В». Другой раз невидимая рука бросила ему связочку «рути», а потом веточку «барвжку». Наконец, еще раз у ног его очутилась серебряная монета, а в другой — золотая.

Скоро еще одно обстоятельство порадовало казачье сердце Пилипово. Когда поспел в Кафе виноград, то старый татарин-садовник погнал Пилипа и его товарища, старого москаля, в другой сад, принадлежавший Кадык-паше, в виноградный, находившийся за городом, где предстояла им какая-то работа. Проходя базаром и позвякивая кандалами, они обратили на себя внимание какого-то незнакомого человека — не татарина и не турка, а, по-видимому, христианина. Он и оказался христианином и притом украинцем, из Киева. В ту далекую от нас пору, когда продажа пленных была делом общепринятым, существовал и выкуп пленных. Но выкупали только богатых полоняников. Для этого родственники богатого полоняника, брат или отец, выправив ханское позволение или султанский фирман, отправлялись в неверную землю, большею частью на невольничьи рынки, в Козлов, в Кафу или Царьград, и там искали или расспрашивали о своем, дорогом им, полонянике, чтобы выкупить его. Таким оказался и тот киевлянин, встретившийся на рынке с невольниками Кадык-паши. У него полонили сына, ходившего вместе с другими казаками на выручку Вены, осаж-

денной турками и крымцами. Крымцы-то, как он узнал, и увели его сына в полон. Поэтому он и искал его в Кафе и, увидав наших невольников, тотчас обратился к ним с вопросом: не видали ли они или не слыхали ли чего о таком-то и таком полоняннике. При этом он подал им милостыню, узнав в них своих земляков, а в одном — даже запорожца и бывшего джуру Мазепы. Задобрив деньгами и их татарина-надсмотрщика.

Наши невольники обрадовались ему, как родному. Ведь шутка ли — с родной стороны! Это не то, что теперь, когда и на край света скоро, словно на крыльях ветра, телеграф переносит все известия обо всем, происходящем в мире, а тогда не только телеграфов и газет, но даже почт не было.

И много-много интересного рассказал им киевлянин!.. В Москве умер царь Федор Алексеевич... Да там же были бунты — стрельцы бунтовались... Старый москаль при этом известии только в затылке почесал... Мазена все идет вгору и вгору... Горько стало Пилипу при воспоминании о Мазепе: забыл он своего верного джуру, из головы и из сердца выкинул...

Но всего любопытнее и радостнее для наших невольников была весть о том, как Ян Собеский, король, со своими ляхами и казаками турок и татар погромил у города Видня.

— Как везир, — рассказывал киевлянин, идя рядом с невольниками, — с войсками своими подступил под город столечный цесарский. Видно, так цесарь, давши бой и не могучи видолати силам великим турецким, в городе Видне замкнулся и там город, приказавши своим гетманам, уступил в свои высшие панства задля скупления войска, а город через целое лето у великом обложению зоставал, которые обложенцы и просили короля польского, Яна Собеского, о поратованя, который стоял на границе своей за Краковом, который, видячи так великую налогу от бусурманов христианам, якнай-скорей войска збирал так кварцяные, як и посполитое рушения, и, затягаючи по усей земли своей и по Украини — зараз плату давано. И так барзо великие войска скупил и, бога узавши в помощь, пойшол против войск турецких. О чем доведавшись, турчин Видно мощно доставати и сам з войсками иными против короля польского пойшол, легче себе тие войско важачи. Але оногo фортунa омилила: бо що учинил бы засадку войск своих пихоты тысяча чотыредесять, усе тое знесено от короля польского, аж і сам везир не выдержал з своими войсками, але за помощью божиею и тие разбити стали, же у малой купи мусел ути-

кати, оставивши гарматы, наметы — усе, що при собі мали. А и тие войска, що города Видня доставали, побити, ледви що утикло: незлічоне множество бусурман пропало. Где и сам король, в города Видни побувавши и скупившись з иными ксионженты християнскими, з войсками великими пойшли наздогон за везиром, не даючи оному отпочинку. И знову у Дуная у мостов мали потребу и там турков збили, которые великим гуртом на мост пойшли, с которыми и мосты на Дунай обломилися, где знову много погинуло от меча и потонуло. А которые жолнирове, мосты направивши, за турками пойшли, где по килька крот еще турок громили...<sup>1</sup>

— Так іх! Так іх, собачих ситв! — невольно вырвалось у запорожца, все время жадно слушавшего.

— А проклятую татарву громили? — спросил старый москаль, косясь на проводника-татарина.

— И татарву громили.

— Слава тебе, господи! — перекрестился москаль.

— Так, так, слава господу... Усих потреб по чотыри крот валечных было, — продолжал, вздохнув, киевлянин, — и на всех потребах турки шванковали, и городов много турецких попустошили, и куды хотили войска польские и козацкие ходили и пустошили у кильканадцать миль от Цариграда. И в тих потребах пашей много погинуло и живых жолнире побрали...<sup>2</sup>

Запорожец и москаль значительно переглянулись.

— Може, і нашого Кадика взято, — процедил запорожец.

— А может, и в Крым наши придут, — добавил москаль, — разорить бы совсем это гнездо проклятое...

Нет, не скоро оно было разорено: еще сто лет после этого стояло, и в этом гнезде еще сто лет «не соколи яснн квилили-проквляли», а «б.днн невольники плакали-ридали».

## XVII

Ночь. К северу от Кафы, в нескольких верстах от города, на темной синеве неба неясно вырезаются три человеческие тени. Тени двигаются в противоположную от Кафы сторону — на полночь. Две из теней — большие, высокие,

<sup>1</sup> Этот рассказ киевлянина взят из «Летописи Самовидца», изд. Ор. Левицкого (с. 158—160). (Прим. авт).

<sup>2</sup> Там же.

мужские тени; третья что-то небольшое: не то подросток мальчик, не то женщина. У всех по длинному посоху в руке, и у мужчин — третья тень действительно была женская — по котомке за плечами.

Тени двигаются скоро, не останавливаясь и в глубоком молчании. Сзади их темнело синее море на бесконечное пространство, и темными, тонкими стрелками тянулись к нему едва заметные линии минаретов Кафы и корабельных мачт в кафинской гавани.

— Ну, вот мы, девынька, и на воле, — сказала, наконец, одна тень, тяжело передохнув, — глянь-ко, оглянись, передохни.

Тени оглянулись и повернулись лицом к Кафе.

— Видишь, девынька, где была твоя неволя? — спросил тот же голос.

— Бачу, дідушка, — отвечал тихо женский голос.

— То-то... Помнишь, как только нас гнали в неволю и ты, крошка малая, плакала, убивалась по родимой матушке, я говорил тебе: не плачь-де, девынька, мы еще будем на воле... Помнишь?

— Помню, дідушка.

— А давненько-таки было, а? Давно-давно...

— Девять літ, дідушка.

— Так, так, точно, девять годков.

— Тоді мені було девять літ, а тепер втмнадцять...

— Так, так, девынька: восемнадцать — точно, как раз невеста... А ты что, Филиппушко, молчишь? — обратилась первая тень к другой, высокой.

— Так, дядюшка, — был тихий ответ.

— Али воле не рад? А, Филиппушко?

— Де вже не рад!

— То-то... А ты, девынька, не устала?

— Ні, дідушка.

— То-то — у тебя ножки-те не наши, махоньки...

— Нічого, дідушка.

— То-то... На нас не гляди — у нас ноги лошадины, нам что! Наплевать... Да вот, сгоди малость, и отдохнем, — только бы подале от города, от неволи проклятой. А тамотка дальше мне дорога знакомая: когда я был в полону в кизылбашской земле да в анадольской, так отселева кочермами хаживали и в Кафу, и в Азов-город, что в Азовском море, в донском устье, а Азовским морем хаживали к Арабат-городку. А этот Арабат-городок отселева будет доброва ходу сутки, прямо к полуночи, а от Арабат-город-

ка идет стрелка, коса сказать бы, верст на сто, в море, и по этой по стрелке, пройдя Арабат-городок отай мы, дойдем, меж Гнилым морем и Азовским, до самово прорана до Гнилова и через тот через проран мы дойдем до матерой земли. А там уж и Днепр-от, и Муравской шлях — рука подать.

— Так ми не через Перекоп демо? — спросили.

— Нет! Там бы нас, голубчиков, сцапали... Нет, шалишь! Я стар воробей: горох клевать не стану через силки. А мы пройдем меж двух морей, стрелкою, значит, в той-ту стрелке ширины всего с полверсты, а длины до ста верст, и вся она камышом поросла: так лови нас промеж двух морей да в камышах-ту... Поймай-ко ветра вилами... Вот оно что, девынька.

Чем дальше шли ночные путники, тем становилось яснее кругом — ночные тени словно улетали куда-то, а одна половина неба голубела и бледнела. Кафа с ее минаретами скрылась за пригорками. Виднелось только море, но не одно, а два, даже три — и позади, и впереди.

— Вон там, девынька, за нами — Черное море, там и Кафа проклятая.

— А се яке море,— он там, д.душка?

— Это, девынька, море Азовское на нас глядит, а вон левее — и Гнилое.

— А ото який город?

— То Арабат-городок будет... Так-ту; ночка на исходе, пора нам и привал сделать в какой ни на есть яруге. Днем уж идти не будем, шалишь? Днем — спать... И твои ножки, девынька, отдохнут маленько, так-ту... А на Кафу нам теперь да на неволю наплевать, вот что!

И ночные путники скрылись в балке, поросшей густыми кустарниками и колючим терновником.

## XVIII

Ночные путники были — старый москаль, что перебивал во всех неволях, молодой джура Мазепин, Пилип Удовиченко или Камяненко, и золотоголовая девынька, что девять лет назад была полонена в Каменце на глазах Дорошенко и Мазепы. Ее звали Катрею.

Как они ушли из своей неволи, это знали только они да та другая полонянка украинка, которая давно «потурчилась» — «побусурменилась» и, в качестве любимой жены

Облай-Кадык-паши, привела ему уже несколько черноглазых пашенят. Она усердно помогала своим землякам и своей молоденькой землячке уйти тайно из дома паши, отчасти руководствуясь чувством ревности: она знала, что Кадык-паша, взяв себе новую жену, молоденькую Катрю, ей даст отставку, и ловко отпустила свою невольную соперницу. Она снабдила их всем на дорогу — и платьем, и обувью, и деньгами, и провизией... Правда, она горько заплакала было, прощаясь с подругой своей неволи, но, вспомнив о детях, утерла заплаканные глаза и замолчала... Мать и в неволе была матерью...

Когда утром в доме Кадык-паши спохватились, что исчезла его любимая невольница, а также бежали и два других невольника, отчаянью старой Ак-Яйлы не было конца. Стали искать евнуха — как же он не досмотрел, когда это было его дело, потому что он был приставлен к гарему, — и нашли бедного арапчонка висящим с балкона без всяких признаков жизни: узнав раньше других о бегстве своей госпожи, в которую он притом был страстно влюблен, он повесился с отчаянья и горя.

Весь первый день провели беглецы в яруге, прикрытые кустами и оврагами. Они закусили, отдохнули, наговорились о своей неволе, которая была уже за плечами у них. Больше всех по обыкновению говорил старый москаль. Вспомнил и свою Москву, рассказывал о московских порядках, не забыл повторить и о своих похождениях в кизылбашской и анадольской земле, у фараонов и у шпанских немцев, у францовских людей и у мултян.

В ночь они двинулись далее и, тайно пробравшись мимо крепости Арабат, стоявшей у входа на Арабатскую стрелку, очутились на этой последней. Здесь они чувствовали себя уже гораздо безопаснее: по обеим сторонам у них синелось море, а по берегам росли непролазные камыши, в которых никакая погоня их не могла бы отыскать. В камышах водилась всевозможная дичь, и когда на следующее утро они остановились отдохнуть, то увидели, что вся стрелка кишит утками, гусями, бакланами, куликами, цаплями, гайстрами, журавлями и всякою водяною и болотною птицею.

— Здесь мы, детки, и гусятинкой, и утятинкой побалуемся, — сказал старый москаль.

— Я вже сам думав, — добавил запорожец.

Действительно, им нетрудно было дорожными палками зашибить пары две уток. Они их тут же ошипали и выпотрошили; но огонь боялись раскладывать до ночи, чтоб дым не навлек на них преследования крымцев. Ночью же в глубине камышей они развели костер и на камышовых тростниках, служивших вместо вертелов, приготовили себе роскошный ужин.

Молодая украинка, вырвавшаяся из неволи, из проклятого гарема, была необыкновенно счастлива. С нею был тот чернявый, чернобровый козаченько, которого она давно, еще в своей гаремной темнице, горячо полюбила. Это был тот казак, о котором она дни и ночи мечтала в своей неволе. Он также полюбил «руденькую браночку» всем своим «ширим козацьким» сердцем. Да и хороша же эта «руденькая браночка» Катруня, так хороша, что казак только рукой махал от невозможности сказать, как она хороша.

А старый москаль только радовался, ухмыляясь себе в бороду и точно не замечая, как хохол с хохлушечкой в камышах тихонько обнимаются да целуются...

— Что! Али лебедушку пымали? — окликнет он их иногда, якобы ненароком.

— Та Ні... так... от тут бісів очерет,— заикнется казак.

— То-то, ачерет... Вон я слышал, черкасы поют:

Очерет, осока,  
Чорні брови в козака...

— Ха-ха-ха! — И москаль весело смеется своей же шутке; а молодые хохол с хохлушечкой выходят из камышей красные, как раки.

На третий день уж или на четвертый дошли беглецы до конца Арабатской стрелки. Дальше идти было некуда: впереди вода, пролив, и по бокам — моря.

Увидав это, Катруня тотчас ударилась в слезы. Испугался и запорожец, хоть тотчас же понял, что москаль даром бы не повел сюда, если бы не знал ходу.

— Что ты, девынька! Об чем? — утешал ее москаль.

— А вода... як же ми...

— Что вода! Вода вода и есть... А на что бог камыш вырастил — ачерет, а?

Очерет, осока,  
Чорні брови в козака.

И неунывающий москаль опять засмеялся.

— Вот что, девынька,— продолжал он серьезно,— нам и это дело знакомое — видывали у фараонов... Навяжем мы это камышу видимо-невидимо до сухова, снопов с двадцать, а то и с полтретьядцать и боле, да перевяжем их осокой, да сноп на сноп, да еще ряд снопов,— и выдет у нас плот знатный, гонка сказать бы, паром, и на этом-ту плотике мы и переедем проран-ат!.. Вот что! это дело плевое, наплевать-ста! Так-ту, девынька.

## XIX

Целый следующий день беглецы употребили на изготовление себе плота для переправы через Генический пролив, отделяющий Азовское море от Сиваша. Они все работали усердно: мужчины срезывали ножами сухой камыш или собирали лежащий, поломанный ветром, а спутница их складывала его снопами. Она сначала стала было свивать перевесла из осоки и куги для перевязки снопов, но тотчас же порезала осокой нежные, ни к чему не приученные в гареме руки,— и ей велели бросить это непривычное дело.

— Не твое это дело ручки резать, девынька,— остановил ее москаль.— Да оно и не по твоим силам: навяжешь таких перевесел, что как сошьем ими плот-от наш, а он на середине-те прорана и ухнет — расползется, тоды и лови рыбку на дне моря.

Что их допекало в этой работе, так это комары: они носились в камышах, над камышами и над Сивашом просто облаками. Но и тут бывалый москаль нашелся: он набрал сухих водорослей, сделал из них жгуты, зажег их, дал в руки своим молодым спутникам по жгуту, которые, медленно тлея, дымили и отгоняли комаров.

— Вот вам курушки, курилки, сказать бы,— говорил этот словоохотливый старик.— Этак я, курушками-те, отбивался от пчел, когда еще, робенком, жил с отцом с матерью в Звенигороде. Давно это было — у-у, давно!.. А как в Анадолии жил, в полону, так и таютка-чу бусурманов научил курушки делать.

На другой день плот был готов. К дорожным посяхам, к концам, навязаны были род голиков из жесткого тростника, и эти голики заменили беглецам весла. Плот был спущен на воду и держался хорошо, ровно, спокойно и достаточно высоко над поверхностью воды. Первою взшла на плот Катря, которую запорожец перенес через воду на руках. Потом разом, с двух концов, взобрались на плот и мужчины.



Москаль перекрестился и поклонился на все четыре стороны. За ним перекрестились и его молодые спутники.

— С богом... Прощай, чужая сторонка, прощай, неволя проклятая! — торжественно произнес старик.

Стали грести стоя, словно лопатами. К счастью, полуденный ветер благоприятствовал беглецам и нес их быстро на ту сторону пролива. Вправо синелось Азовское море. В туманной дали белелись паруса, как белые крылья птицы.

— Там и я когда-то плаывал к Азову-городу, — показал в ту сторону старик, — и в Азове-городе нашего брата невольника видал довольно: и черкасы, и донски казаки, и наш брат, московской человек — всего вдосталь.

И Пилипу при этом невольно вспомнилась дума о том, как из города Азова три брата убегали от тяжелой неволи. И их вот теперь трое, и они бегут от той же неволи. Катруня представлялась ему младшим братом, тем пешим пешенцею, который не поспевал за старшими. И ему стало страшно: а что, как и она изнеможет в дороге? А дорога еще дальняя, и конца-краю ей не видать... Когда-то они еще доберутся до Муравского шляху, до Конских вод? А ноги в степи? А что если и Катруня посбивает себе ножки об сырое коренье, об белое камень — будет за ними поспешать, кровью следы заливать?

— Ты что, Филиппушко, нос-ат повесил? — вдруг обозвался старик. — А?

Молодой казак невольно встрепенулся, огляделся кругом, глянул на девушку, которая стояла на плоту и задумчиво глядела в неведомую даль.

— А?... Засмутился парень?

— Ні, я так...

— То-то так... Ишь, девынька, знатно плывем, знатная посудина, корань... Словно в песне:

Из-за Волги кума  
В решете приплыла,  
Веретенами правила,  
Гребнем парусила.

— Вот и берег! Доплыли! Молись да целуй родную земелюшку — она наша, нашей московской земле сусе-душка...

Х Х

В Батурине, в доме генерального есаула, Ивана Степановича Мазепы, совершается брачный пир. Мазепа женит своего верного джуру, Пилипа Камяненко, на сиротке Катре, воротившейся со своим женихом из крымской неволи и не знающей ни роду, ни племени. Известно было только то, что ее маленькою полонили в Каменце у матери-вдовы, и Мазепа припомнил даже момент, как несчастная мать золотокосой девочки в отчаянии билась на земле, когда они с Дорошенко случайно проезжали мимо. Теперь эту полоняночку, уже взрослую красавицу, великодушно воротили из полону старый москаль и ее жених, джура Пилип.

Молодые только что от венца и пируют, пока дружки готовят для них комору — брачную постель. Они сидят против посаженного отца жениха — против Мазепы. Иван Степанович глаз не спускает с красавицы в золотой короне из своих собственных роскошных волос.

Тут же, в конце стола, и старый москаль, на радостях порядком выпивший. Он, глядя на свою девыньку, которой он заступал на свадьбе родного отца, утирает кулаком слезы.

— Ах, девынька! Ах, красавынька! Привел-таки бог дождаться...

Гостей много, и все войсковая знать, старшина казацкая с женами. Пир в полном разгаре: Мазепа так и сыплет на все стороны «жартами», а больше все в сторону молодых... «жарты» милые, веселые, остроумные...

Входят «дружки», кланяются, обращаясь к Мазепе:

— Старости, пани тдстарости! Благослов.ть молодых на упокой повести!

— Бог благословить,— отвечает Мазепа, сверкнув на молодую своими лукавыми, бесовским глазами.

— Вдруге і втрете благослов.ть!

— Трич. разом! — восклицает Мазепа.

Молодая вспыхивает и закрывает лицо руками... Ее и молодого берут под руки и уводят...

А свашки поют, поднимая бокалы с вином:

Не плач, не плач, Катруненько,  
По своему д.вованничку...

— Ах, бідна! — ахает одна толстая пани полковникова.

— Да, бідна, пан. пулковникова,— улыбается Мазепа.— Знов у кримську неволю повели...

Но никто не знал, а меньше всего молодые, что они — родные брат и сестра...

## ПРИМЕЧАНИЯ

### САГАЙДАЧНЫЙ

Роман впервые опубликован отдельным изданием в Петербурге в 1882 г.: «Сагайдачный (гетман). Из времен вольного казачества и разграбления Кафы, нынешней Феодосии" в Крыму».

Печатается по тексту: Д. Л. Мордовцев. Собр. соч.: В 50 т. СПб., изд. Н. Ф. Мертца. 1901.— Т. II — с незначительными сокращениями.

*Сагайдачный Петр Кононович (Конашевич-Сагайдачный; год рождения неизвестен — 1622)* — политический и военный деятель, гетман украинского реестрового казачества. Происходил из мелкой украинской шляхты, получил хорошее образование, учился в Острожской православной школе. С 1601 года — на Запорожской Сечи, неоднократно избирался гетманом. Под его руководством казаки осуществили ряд успешных походов против султанской Турции и Крымского ханства. Наиболее значительные — взятие Варны (1605), Кафы (1606), Синопа (1614), поход на Константинополь (1615), взятие штурмом Кафы (1616) и уничтожение 14-тысячного турецкого гарнизона и морских кораблей, поход против приморских турецких городов (1616). Сагайдачный сыграл видную роль в знаменитой битве при Хотине (1621), в которой 40-тысячное казачье войско совместно с 35-тысячной польской армией нанесло решающее поражение 150-тысячной турецкой армии султана Османа II. Тяжело раненный в бою, умер после длительной болезни, похоронен на территории Киево-Братского монастыря.

Прилагая много усилий для укрепления украинского реестрового казачества, Сагайдачный, однако, вместе с соглашательской старшиной проводил компромиссную политику по отношению к правительству Речи Посполитой; принимал участие в походе польского королевича Владислава на Москву (1618). Вместе с тем, отражая настроения народных масс, в 1620 г. направил посольство в Москву с предложением принять казаков на русскую службу. Стремился ослабить национальный и религиозный гнет на Украине. Сыграл важную роль в восстановлении на Украине, при поддержке иерусалимского патриарха Феофана, возвращавшегося из Москвы, высшей православной иерархии в 1620 г., ликвидированной после Брестской унии 15 % г. Заботился о развитии украинской культуры, вместе со всем войском запорожским вступил в члены Киевского братства. Свое имущество завещал православным Киевской и Львовской братским школам. Ректор Киевской братской школы К. Сакович написал

панегирические «Вирши на жалосный погреб зацного рыцера Петра Конашевича Сагайдачного...», которые декламировали спудеи на похоронах. Память о нем сохранилась в известной народной песне «Ой на гор, та жєнцї жнуть».

Д. Мордовцев в работе над романом опирался как на народно-поэтические традиции, так и на работы историков: М. Максимовича (Исследования о гетмане Петре Конашевиче Сагайдачном. — Собр. соч. — 1876. — Т. I), Н. Костомарова — особенно на его исследования как о самом гетмане, так и о характере эпохи и ее представителей, «шляхетской свободе», дворянской демократии в Польше, о процессах ополячивания украинской шляхты, о князьях Острожских, о Петре Могиле, о братствах и др.

*«Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет?..»* — строки из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России» (1831).

*Михаил Федорович Романов (1596—1645)* — первый русский царь династии Романовых, избран Земским собором (1613) после изгнания польских интервентов.

*Ивашка, Димитриев сын...* — Иван (1611—1614), сын Марины Мнишек и политического авантюриста-самозванца Лжедмитрия II, захвачен вместе с казачьим атаманом И. Заруцким в Астрахани, казнен.

*«Ad major em Dei Poloniaeque gloriam»* — расширенный добавлением («и Польши») девиз ордена иезуитов — «К вящей славе божией», — которым лицемерно прикрывались многочисленные преступления, направленные на укрепление власти католической церкви.

*Константин (Василий) Острожский (1526—1608)* — князь, крупный украинский магнат, киевский воевода, известный деятель украинской культуры. Защищал православное население от окатоличивания и колонизации, поддерживал братства в их деятельности и борьбе. Основал братские школы в Турове, Владимире-Волыньском, Остроге, Слуцке. Основал также несколько типографий, в Острожской — работал русский первопечатник Иван Федоров.

*Острожский Януш (1554—1620)* — сын К. (В.) Острожского, ВОЛЫНСКИЙ воевода.

*Скарга Петр (Петр Павенский; 1536—1612)* — польский общественный и религиозный деятель, иезуит, фанатический проповедник воинствующего католицизма. Один из инициаторов Брестской унии.

*Иноки Варлаам и Михаил...* — Варлаам Яцкий, иеромонах Чудова монастыря, бежал вместе с монахом Михаилом и Григорием Отрепьевым в Польшу (1601). После провозглашения там Отрепьева царевичем Дмитрием, обличал самозванца и был заключен в тюрьму в Самборе.

*Стефан Баторий* (1533—1586)—полководец, польский король (с 1576). Участник Ливонской войны. При нем усилился феодальный гнет на украинских землях, входивших в состав Польши, проводил политику колонизации Левобережной Украины.

*Владислав Третий...* *короновался венгерскою короною...*— польский король Владислав III Варненчик (1424—1444) был избран венгерскими магнатами королем Венгрии (1440) с целью объединения польско-венгерских сил для борьбы против турок. В битве с турками под Варной армия Владислава была разбита, а сам он погиб.

*Казимир* — Казимир IV Ягеллончик (1427—1492), великий князь литовский (с 1440), король польский (с 1447), сын Ягайло. Возвратил Польше захваченное ранее Тевтонским орденом Восточное Поморье в 1466 г.

*Сиг измунд-Август* — Сигизмунд II Август (1520—1572), польский король (с 1548). Проводил враждебную по отношению к России политику. Участник Ливонской войны, заключил Люблинскую унию (1569).

*Дом Ягеллонов* — Литовско-польская королевская династия-(1386—1572). Правил также в Венгрии и Чехии.

*Соединение Литвы с Польшей* — создание объединенного польско-литовского государства (Речи Посполитой) было оформлено на Люблинской унии (1569). В результате этого под власть польских магнатов перешли украинские и белорусские земли, ранее входившие в состав Литовского княжества. Это обострило отношения между Польшей и Россией.

*Иеремия Корибут Вишневецкий* (1612—1651) — сын киевского кастеляна Михаила Вишневецкого и Раины Вишневецкой (Могилянки), двоюродной сестры киевского митрополита Петра Могилы; князь, один из крупнейших феодалов. Принял католичество, участвовал на стороне Польши в русско-польской войне 1632—1634 гг., в подавлении крестьянско-казацких восстаний на Украине в 30-е годы XVII ст., жестоко расправлялся с украинским населением. После разгрома польско-шляхетской армии в битве под Пилявцами (1648) бежал во Львов, позднее продолжал борьбу против войск Б. Хмельницкого.

Выведение его образа в романе является анахронизмом.

*Михаил Корибут Вишневецкий* (1640—1673) — сын Иеремии Вишневецкого, польский король (с 1669). При нем усилилась феодально-шляхетская анархия в Польше, под влиянием магнатов отказался от предложения России превратить Андрусовское перемирие (1667) в постоянный мир. Вел неудачную войну с турками: весной 1672 г. огромное войско под начальством султана Магомета IV вторглось в Подолию и овладело Каменец-

Подольским, после чего был заключен тяжелый Бучацкий мир (1672), но война с Турцией все же продолжалась.

*Замойский Фрома (Томат) (1594—1638)* — сын Яна Замойского, великого коронного гетмана, участвовал в войнах с турками, воевода киевский (1619), коронный канцлер.

*Мелетий Смотрицкий (1578—1633)* — церковный и общественный деятель, украинский и белорусский ученый, филолог, публицист. Борец против унии и католического засилья.

*Петр Могила (1596—1647)* — политический и церковный деятель, киевский митрополит (1632), противник унии, активно боролся против польско-католической экспансии на Украине. Сын Молдавского господаря. Учился в братской школе во Львове и за рубежом. Основатель Киево-Могилянской коллегии (с 1701 — Киевская академия).

*Иосафат Кунцевич (1580—1623)* — полоцкий архиепископ, фанатик-иезуит, проводил политику жестокого национально-религиозного угнетения белорусского народа. Силой заставлял православное население принимать унию. Убит во время народного восстания в Витебске.

*Иоани из Вишни* — Иван Вишневский (1545—1620), выдающийся украинский писатель-полемист. Его произведения, направленные против католической реакции, униатства, иезуитов, представляют острую сатиру на духовных и светских феодалов.

*Наливайко уж попробовал медного вола...* — Северин Наливайко, руководитель народного восстания на Украине (1594—1596) против шляхетской Польши, феодального гнета, был захвачен в плен и казнен в Варшаве (1597). По преданию, сожжен живьем в медном быке.

*Хвесько Ганжа Андибер* — герой украинской народной думы «Козак нетяга Фесько Ганжа Андибер». отождествление Сагайдачного с Ганжою Андыбером является произвольным домыслом автора.

Столь же произвольным является выведение в романе в качестве действующих лиц героев двух других украинских народных дум — казака Алексея Поповича (следуя в данном случае за Е. Гребенкой, который сделал Алексея Поповича одним из главных героев романа «Чайковский» (1843) — и гетмана Самийла Кишки, попавшего в турецкую неволю.

*Украинец Емельян Игнатьевич (1641—1708)* — русский государственный деятель, дипломат. Участвовал в подписании Андрусовского перемирия (1667), «Вечного мира» (1686) с Польшей. Будучи послом в Турции, добился выгодного для России Константинопольского мирного договора (1700).

*Мамай* (год рождения неизвестен— 1380)—золотоордынский военачальник, с 60-х годов XIV ст. правитель Золотой Орды. Осуществил поход на Русь, был разгромлен в Куликовской битве (1380). Бежал в Крым, Кафу, где был убит.

*Кисель Адам Григорьевич* (1580—1653) — украинский магнат, польский сенатор, киевский воевода (1651), защитник польско-шляхетского господства на Украине, принимал участие в подавлении народных восстаний, проводил предательскую по отношению к украинскому народу политику во время народно-освободительной войны 1648—1654 гг.

*Константин Багрянородный* — византийский император (943—959), в своем трактате «Об управлении империей» приводит, в частности, сведения о Древней Руси.

*Тмутараканское царство* — древнерусское княжество на Таманском полуострове в XI—XII ст.

*Жолкевский Станислав* (1547—1620) — польский полководец, великий коронный гетман. Руководил подавлением восстания С. Наливайко. Командовал отрядами польских войск во время польско-шведской интервенции в России в начале XVII ст. Участник Хотинской войны 1620—1621 гг. Погиб в битве под Цецорой.

*Ходкевич Ян-Кароль* (1560—1621) — польский военачальник, великий гетман литовский. Принимал участие в подавлении восстания С. Наливайко, в польско-шведской интервенции в России. Погиб в битве под Хотином.

## КРЫМСКАЯ НЕВОЛЯ

Впервые опубликована в сборнике Д. Мордовцева «Исторические повести», СПб., 1885.

Печатается по тексту: Д. Л. Мордовцев. Собр. соч.: В 50 т. СПб., изд. Н. Ф. Мертца. 1902.—Т. XLIII.

*Кровавое «смирение»...* *тяжкою рукою боярина князя Одоевского* — речь идет о подавлении воеводой Н. И. Одоевским проявления народного возмущения и восстаний после поражения крестьянской войны 1667—1671 гг. под руководством Степана Разина.

*Дорошенко Петр Дорофеевич* (1627—1698) — гетман Правобережной Украины 1665—1676 гг. Участник народно-освободительной войны 1648—1654 гг., полковник. После смерти Б. Хмельницкого поддерживал старшинско-шляхетскую группировку И. Выговского, принимал участие в подавлении восстания Пушкаря и Барабаша в 1657—1658 гг. Участник захватнических походов польского короля Яна II Казимира на Левобережную

Украину. Провозглашенный частью старшины гетманом Правобережной Украины, порвал с Польшей, вступил в союз с султанской Турцией и Крымским ханством. Вместе с отрядами крымских татар организовал ряд грабительских походов на Левобережную Украину. В 1669 г. подписал соглашение с султаном о переходе Украины под власть Турции. Был разбит войсками Г. Ромодановского и гетмана И. Самойловича; сослан воеводой в Ярополча (ныне — Волоколамского р-на Московской обл.), где и умер.

*Ромодановский Григорий Григорьевич* (год рождения неизвестен — 1682) — русский государственный и военный деятель, боярин, князь. Участник Земского собора 1653 г.; в составе русского посольства во главе с В. В. Бутурлиным принимал участие в Переяславской раде (1654); был воеводой русских войск на Украине в войне против Польши (1654—1656). Командовал войсками в борьбе против турецкого ставленника гетмана П. Дорошенко; участник Чигиринских походов 1677 и 1678 гг.

*Ханенко Михаил Степанович* — гетман Правобережной Украины (1670—1674), ставленник польской шляхты.

*Мазепа Иван Степанович* (1644—1709) — гетман Левобережной Украины (1687—1708), крупный феодал. Родился в семье шляхтича, служил при дворе польского короля. Будучи гетманом, проводил крепостническую политику, жестоко подавлял выступления народных масс против социального угнетения. В первые годы Северной войны 1700—1721 гг. заключил тайное соглашение со ставленником шведского короля Карла XII — польским королем Ст. Лещинским, по которому Левобережная Украина с Киевом, а также белорусские земли и Смоленщина должны были отойти к Польше. В октябре 1708 г. Мазепа, за которым пошла лишь часть старшины и небольшой отряд (1500 человек) казаков, открыто перешел на сторону врага. После разгрома шведской армии в Полтавской битве (1709), Мазепа, вместе с Карлом XII, бежал в турецкие владения (г. Бендеры), где вскоре умер.

*Самойлович Иван Самойлович* (год рождения неизвестен — 1690) — гетман Левобережной (1672—1687) и Правобережной (1674—1687) Украины. Службу в казачьем войске начал в 60-е годы сотенным писарем, деятельность его была направлена на дальнейшее расширение привилегий старшины. Под давлением народных масс добивался воссоединения Правобережной Украины с Левобережной в составе России, вел ожесточенную борьбу против султанского ставленника П. Дорошенко. После неудачного Крымского похода (1687) по ложному доносу был свергнут, арестован и сослан в Тобольск, где и умер.

*...Тайные пакты покойного Богдана с султаном на подданство* — эта мнимо многозначительная реплика Мазепы указывает на результат не-критического восприятия Д. Мордовцевым ложной концепции, изложенной



в статье }- { Костомарова «Богдан Хмельницкий — данник Оттоманской Порты» (1878). Вопреки исторической действительности, вопреки основанной на многочисленных документальных данных собственной концепции, изложенной в монографии «Богдан Хмельницкий» (1857), эта версия, выказаниа Н. Костомаровым, была легковерно подхвачена здесь Д. Мордовцев^ Единственным объяснением использования историческим романистом этой версии может быть стремление косвенно высказать протест, следуя традициям Т. Г. Шевченко, против социального и национального угнетения украинского народа царизмом, обличить украинское панство в "особиц"честве самодержавному гнету. Однако романист-историк должен стремиться к познанию полной правды, самостоятельному анализу, а неоспорим,^ фактом является верность Богдана Хмельницкого союзу с Россией одобренному народом решением Переяславской Рады (см. новейшие работы советских историков — Пинчук Ю. Исторические взгляды Н. И. Костомарова. — К., 1984; Санин Г. А. Отношения России и Украины с Кр

ским ханством в середине XVII века. — М., 1987; Котляр М. Ф. Неспромо>Ки|сть сучасних буржуазно-нацїоналїстичних фальсифїкацїй воззеднання України з Росїєю. — УІЖ. — 1978. — № 12; История Украинской ССР; В 10 т. — К., 1983. — Т. 3.

• • Рцсует даровитий український письменник... Зарезавший свое славное имя...^ д М^рд^Вцев^ цитирует (с незначительными отклонениями) два отрывка из исторического очерка П. А. Кулиша (1819—1897) «Татарская Неволя» (Русская старина, 1877, т. XVIII, март, 391. 392), а также Дает Оценку позиции П. Кулиша, в конце 70-х годов укрепившегося на реакционно славянофильских, националистических позициях (подробнее охарактеризована в памфлете «За крашанку — писанка» (1882).

Ян III Собеский (1629—1696)— польский король (1674—1696) и полководец. Будучи великим коронным гетманом, разгромил в сражении у Котина (1673) турецкую армию. Войска Яна Собеского, в составе которых были отряды украинских казаков, разбили турецкую армию под Веной, заставили турок снять осаду города. Заключил с Россией «Вечный мир» 1686.

^ е 4ор Алексеевич (1661—1682) — русский царь (1676—1682). Обострение социальных противоречий в результате проведения ряда реформ привело к Московскому восстанию 1682 г. (Хованщине), когда восставшими стрельцами были убиты А. Матвеев, Г. Ромодановский и другие бояре, сторонники Милославских.

Виктор Беляев

## КРАТКИЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

*Аршав-город* — Варшава.

*Бакиши* — подарок, магарыч.

*Баша* — пата.

*Булатная сабля* — сабля из булата — особо прочной стали.

*Бунчук* — искусно украшенная короткая палка с конским хвостом на конце, знак военной власти.

*Бусурман (басурман)* — турок, татарин.

*Быдло* — скот.

*Вейзир* — визирь.

*Волошский* — молдавский, румынский.

*Воляночка* — воляняночка.

*Город Видно* — Вена.

*Гиля* — лысина, выбритая макушка.

*Джура* — казачий слуга; доверенное лицо военного руководителя.

*Дуки* — богачи.

*Завивало* — чалма.

*Златоглав* — разновидность парчевой ткани с золотой ниткой.

*Кадик* — Кодак.

*Каик* — небольшая весельная лодка.

*Кармазин* — старинное сукно малинового или темно-красного цвета.

*Киев* — Киев.

*Кафа* — город Кафа (теперь — Феодосия), в XV — XVI ст. — большой невольничий рынок.

*Кварцияне аойско* — наемное войско шляхетской Польши XV — XVI ст., использовалось преимущественно для охраны границ и подавления народных восстаний; значительная часть его была сосредоточена на Украине.

*Кызыкermen* — турецкая крепость того времени.

*Клейноды* — атрибуты власти.

*Козлов* — теперь — Евпатория.

*Комяка* — паром, плот.

*Кустодия* — специальная коробочка для хранения печатей (металлических, сургучных, восковых), привешенных на шелковых шнурках внизу древних грамот.

*Куитуш* — верхняя женская и мужская одежда зажиточного украинского и польского населения XVI—XVIII ст.

*Лестригоны* — мифический народ великанов и людоедов в Древней Греции.

*Ли* (*либо*) — или.

*Мана* — призрак.

*Нетяга* (*летяга*) — бедняк.

*Облавок* — борт корабля, галеры.

*Обушек щирозолотный* — разновидность оружия.

*Опачина* — большое весло на морском корабле, которым гребли несколько человек.

*Опанча* — старинная верхняя одежда в виде широкого плаща.

*Орарь* — часть облачения диякона.

*Оттоманка* — широкий мягкий диван с подушками, заменяющими спинку, и валиком по бокам.

*Остров Тендра* — так называемая Тендровская коса в северной части Черного моря.

*Очерт* — круг.

*Паликоп* (*Пантелеймон*) — православный святой.

*Пеласги* — древнейшее население Греции, жившее там до прихода ахейцев. Здесь: варвары, хлопы.

*Пицаль* — старинное огнестрельное оружие; ружье, которое заряжалось с дула.

*Подончики* — здесь: донские казаки.

*Пройдысвит* — бездельник, бродяга, мошенник.

*Сага* — речной залив.

*Саета* — разновидность тонкого английского сукна.

*Сердюки* — казаки наемных пехотных (сердюцких) полков на Левобережной Украине в конце XVII — первой четверти XVIII ст. Сердюки подчинялись непосредственно гетману, выполняли военную и полицейскую службу.

*Схизмат* — еретик, раскольник.

*Туркус* — бирюза.

*Трапезонт* — Трапезунт (теперь — Трөбзон) — город и порт на черноморском побережье Турции.

*Тягеля* — верхняя казачья одежда.

*Шарлатный* — багряный, пурпурный.

*Шкунта* — ялик.

*Чауш* — правительственное лицо в Османской империи, уполномоченный султана.

*Чердак* — возвышенность на корме большого корабля.

*Червоная таволга*—разновидность красной лозы, из которой делали канчуки и шомполы для ружей.

*Черкасы* — название украинских казаков в официальных актах и документах России XVI—I пол. XVII ст., до воссоединения Украины с Россией (1654)

*Черес* — пояс с калиткой для денег.

*Хвалыиское море* — древнерусское название Каспийского моря.

*Царьгород* (Константинополь) — теперь — Стамбул.

*Цецора* — местность в Румынии, недалеко от г. Яссы.

*Я риза* — слуга.

*Ясса* — салют, крик.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Данило Мордовец (Д. Л. Мордовцев)

*В. Беляев*

3

САГАЙДАЧНЫЙ

*Роман*

31

КРЫМСКАЯ НЕВОЛЯ

*Историческая повесть*

231

Примечания

276

Краткий пояснительный словарь

283

ДАНИИЛ ЛУКИЧ МОРДОВЕЦ

САГАЙДАЧНЫЙ

Роман

КРЫМСКАЯ НЕВОЛЯ

Историческая повесть

Подготовка текстов

*Виктора Григорьевича Беяева*

Редактор *Н. В. Сойко*

Художественное оформление *А. И. Клименко*

Художественный редактор *Г. Т. Конев*

Технические редакторы *И. М. Драгончук,*

*И. К. Достатия*

Корректор *Л. Г. Ляциско*

Информ. бланк № 4258.

Сдано в производство 24.07.87

Подписано к печати 18.11.87

Формат 84X108'/э2- Бумага типографская № 2

Гарнитура академическая. Печать высокая

Усл. печ. л. 15,12. Усл. кр.-отт. 15,12.

Уч.-изд. л. 17,024. Тираж 200 000 экз.

Заказ 7-2344. Цена 1 руб. 70 к.

Киев,

издательство художественной литературы

«Днипро», 1987. '

252601, Киев-ІСП, ул. Владимирская, 42.

Главное предприятие республиканского  
производственного объединения «Полиграфкнига»,  
252057, Киев, ул. Довженко, 3.

**Мордовец Д. Л.**  
**М 79 Сагайдачный. Роман. Крымская неволя. Повесть.**  
**(Вступит, ст., примеч., подготовка текстов В. Бе-  
ляева. — К.: Дишро, 1987. — 286 с.**

В книгу русского и украинского писателя Даниила Мордовца (Д. Л. Мордовцева) (1830 — 1905) вошли лучшие исторические произведения, написанные на русском языке, — «Сагайдачный» и «Крымская неволя».

В романе «Сагайдачный» показана деятельность украинского гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, описаны картины жизни запорожского казачества — их быт, обычаи, героизм и мужество в борьбе за свободу.

«Крымская неволя» повествует о трагической судьбе простого народа в те тяжелые времена, когда иноземные захватчики рвали на части украинские земли, брали в рабство украинское население.

ББК 84 Ук 1 - 44

